



1-2

СТРАНА И МИР

• das land und die welt • our country and the world • le pays et le monde • el pais y el mundo •

- НОВАЯ ПРОГРАММА ЛАТАНИЯ ДЫР
- ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛИГЕНТ С МУЗЫКАЛЬНЫМ СЛУХОМ
- МИРНАЯ МИЛИТАРИЗАЦИЯ КОСМОСА
- РАЗГОВОР С СОВЕТСКИМ КОЛЛЕГОЙ
- ПРЕСТУПЛЕНИЕ БЕЗ ЗАКОНА
- ПАТРИОТЫ УМИРАЮЩЕЙ РОДИНЫ
- ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО ИЗГНАНИЮ
- ЕВРОПЕЕЦ В БРАЗИЛИИ
- ХОРОШО БЫТЬ НИЧЬИМ
- ВТОРАЯ РЕФОРМАЦИЯ
- ТЕОЛОГИЯ ПАРТИЗАНСКОЙ ВОЙНЫ
- НЕ БУДЕМ ОБ ЭТОМ, ПАНИ ТЕРЕЗА
- ПРОРОЧЕСТВО, ОБРАЩЕННОЕ ВСПЯТЬ
- НАБОКОВ В ПЕРЕВОДЕ НА РОДНОЙ ЯЗЫК

1986

Ежемесячный общественно-политический, экономический и культурно-философский журнал "Страна и мир" издается в Мюнхене под редакцией Кронида Любарского, Бориса Хазанова и Вадима Меникера. Оформление Б.Рабиновича. Представитель журнала в США Марк Поповский, представитель в Израиле Рафаил Шапиро. Корреспонденты журнала: Е.Фишер (Бонн), В.Кучинский, Г.Ферон (Париж), М.Филлимор (Лондон), Б.Вайль (Копенгаген), Я.Руссакис (Афины), Б.Шрагин (Нью-Йорк), П.Ростин (Рабат). Стоимость годовой подписки в Европе 60 нем. марок (25 ам. долларов), в США, Канаде и Израиле – 35 ам. долларов, в Австралии, Новой Зеландии и на Тайване – 45 ам. долл. Стоимость доставки включена в подписную плату; в неевропейские страны журнал доставляется подписчикам авиапочтой. Цена одного номера – 6 нем.марок. Подписка принимается перечислением на банковский или почтовый счет, а также в виде чека, высылаемого в редакцию, с добавлением 2 ам. долл. Мнение, выраженное автором, может не совпадать с точкой зрения редакции. Все права сохраняются за авторами. Непринятые рукописи возвращаются с письменной мотивировкой.

СОДЕРЖАНИЕ

Политический дневник	1
<i>Р.Бахтамов.</i> Там, за чертой горизонта	22
<i>Ф.Кривин.</i> Извозчики города Глазго	39
Из газет: 50 лет назад	39
Вести из СССР	40
Дым Отечества	46
<i>М.Дейч.</i> Интеллигент с музыкальным слухом	48
<i>Р.Пайнс.</i> Узаконенное беззаконие	52
Из газет: 50 лет назад; 60 лет назад	62
<i>С.Максудов.</i> Демографические очерки. 3. Ждет ли Россию катастрофа?	63
<i>Б.Комаров.</i> Природа в идеальном социалистическом обществе	67
Из газет: 60 лет назад	74
<i>Дж.Оберг.</i> Двадцать пять вопросов о советской космонавтике	75
Из газет: 60 лет назад	86
<i>В.Флюссер.</i> Родина и чужбина	87
<i>Л.Колаковский.</i> Похвала изгнанию	93
<i>В.Мушг.</i> Разрушение немецкой литературы	96
<i>Б.Хазанов.</i> Письмо на родину	101
<i>С.Гафнер.</i> В тени истории	105
<i>И.-Б.Мец.</i> Вторая Реформация, или будущее христианства	109
<i>К.Любарский.</i> Теология освобождения	120
<i>Т.Тораньская.</i> Они	132
<i>Е.Эткинд.</i> Два письма из Парижа	143
Юрий Любимов глазами западного зрителя	148
<i>Б.Енсен.</i> После Москвы	150
<i>Э.Финкельштейн.</i> Летопись сопротивления	152
<i>Б.Х.</i> Сто граммов голландского сыра с землей	155
<i>Е.Юнг.</i> Независимый ад	162
Письма в редакцию	169

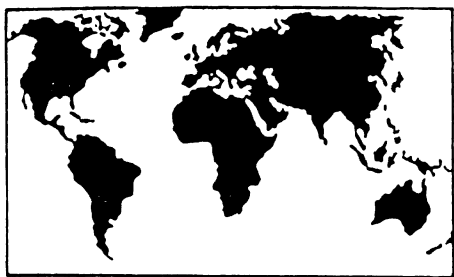
Das Land und die Welt e.V. Schellingstr. 48, 8000 München 40, BRD.

Tel. (089) 272 18 99; (089) 272 28 99; telex 5218017 unbt.

Deutsche Bank München, BLZ 700 700 10, Konto-Nr. 331 9613 (Das Land und die Welt e.V.).

Postgiroamt München, Postscheck-Konto-Nr. 223981-804.

СТРАНА И МИР



ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДНЕВНИК

Политическим деятелям Европы, которые при каждом удобном случае превозносят свои братские отношения с советскими лидерами, можно было бы напомнить слова Наполеона III: "Братьев приходится терпеть, друзей можно выбирать". Американцам, не хуже нас знающим, что в международной политике дружба — понятие относительное, поневоле приходится довольствоваться союзниками. Иные из них оказываются не совсем привлекательными, однако трудно найти "друга", менее скомпрометированного, чем президент Республики Филиппины мистер Фердинанд Маркос.

Семь тысяч сто островов, образующих Филиппинский архипелаг, получили независимость в июле 1946 г., но она не отменила американское присутствие в стране. Чем больше средств вкладывали США в военные базы на Филиппинах, тем значительней становилась стратегическая роль островов в этом регионе. Колониальное прошлое оставило следы и в экономике, и в культуре, и в политическом устройстве республики, население которой превышает ныне 50 млн. человек. Вскоре после провозглашения независимости власть в стране пытались захватить коммунисты. Разгорелась вооруженная борьба, которая закончилась разгромом прокоммунистического движения Хукбалахап в 1954 г. После этого островами правили президенты, делавшие все возможное, чтобы продлить срок своих полномочий и отодвинуть выборы. Поэтому движения за соблюдение законов стали рассматриваться как незаконные (или, что тоже самое, освободительные). В 1965 г. главой государства стал бывший председатель сената Маркос. Его правление неслы-

шанно обогатило членов президентского клана. Ширмой для махинаций Маркоса всегда служила защита демократического режима от угрозы коммунизма и мусульманского сепаратизма на некоторых островах (почти две трети населения Филиппин — католики). В 1972 г. было введено чрезвычайное положение, которое оставалось в силе до начала 80-х годов.

Американцы терпели Маркоса, пока его режим — диктатура с демократическим фасадом — гарантировал охрану стратегических и экономических интересов США. Но становилось все очевидней, что чем больше Америка помогает Филиппинам, тем больше золота течет, минуя казну, в личные сейфы правящего семейства. По весьма приблизительным оценкам, семья присвоила 10 миллиардов долларов. Постепенно клеветы Маркоса, догадываясь, что его могущество не вечно, стали переводить награбленные деньги в американские банки, чтобы обеспечить себе спокойную старость на случай дворцового переворота.

Началом кризиса власти Ф. Маркоса можно считать август 1983 г., когда в страну чуть было не вернулся лидер оппозиции Бениньо Акино. Он стал надеждой для той весьма значительной части населения, которая ненавидела Маркоса и его окружение, но и не питала симпатий к коммунизму. Акино мог рассчитывать также на поддержку католической церкви. Вождю оппозиции, в прошлом узнику филиппинского режима, готовилась в Маниле торжественная встреча. Но при выходе из самолета он был убит. Согласно официальной версии, убийца был подослан коммунистами. Президент США Рейган, которого эта

версия не убедила, отменил намеченный тогда визит на Филиппинские острова. Была назначена комиссия из высших офицеров с целью расследовать обвинение в том, что приказ об убийстве Акино отдал начальник генерального штаба и двоюродный брат президента генерал Ф. Вер. Комиссия, а затем и суд оправдали Вера.

Теперь Маркос пытается успокоить гнев и опасения американцев. Очередные президентские выборы должны были состояться в 1987 г., но проведены досрочно 7 февраля этого года. Пост главы государства оспаривала у Маркоса Корасон Акино, вдова погибшего оппозиционного лидера. Выборы прошли бурно, было и насилие, и прямая фальсификация данных. Обе стороны заявили о своей победе. Теперь парламент должен произвести окончательный подсчет и вынести решение об итогах выборов (или аннулировать их). Нужно сказать, что особого доверия к парламенту у филиппинской общественности нет: две трети депутатов — сторонники Маркоса. Как бы то ни было, можно сказать с уверенностью, что на Филиппинах уже началась постмаркосовская эра.



Мемориал Маркоса в г. Багио

Тревожной и неустойчивой представляется ситуация и в другой стране Третьего мира — Республике Перу. Эту страну, расположенную в западной части Южной Америки, с населением в 18–20 млн. человек, уже многие годы раздирает война, которую ведет против правительственных войск террористическая марксистско-маоистская организация "Светлый путь". В борьбе с террористами правительство само прибегает к террористическим мерам. С весны 1985 г. во главе страны стоит президент Алан Гарсия, лидер партии Союз американской революции, для которой характерно сочетание весьма умеренной политики с подчеркнуто радикальным лексиконом. Программу нового президента можно характеризовать как смесь социально-демократических и националистических идей.

Повстанческое движение в Перу подогревается не только идеологией, но и реальной экономической ситуацией в стране. Лишь треть трудоспособного населения Перу имеет постоянный заработок. Покупательная способность денег снизилась за пять лет (1980–1985) почти на 40%. Государственный долг Перу составляет 14 млрд. долларов, и только для того, чтобы выплачивать проценты, понадобилось бы экспортировать все, что производится в стране.

Международный валютный фонд вновь предложил перуанцам классический рецепт: затянуть потуже пояса, ввести режим строжайшей экономии, а после выплаты процентов — пересмотреть сроки уплаты основной суммы долга. В ответ Алан Гарсия заявил: "Мы не можем требовать от народа невыносимых жертв". Правительство согласилось выплачивать в счет погашения долга десятую часть стоимости экспорта. Тем не менее США — кредитор Перу — сочли неприемлемым предложение Гарсия. Конфликт обострился, когда в конце минувшего года президент Перу наложил руку на три нефтяные компании, эксплуатирующие треть нефтяных ресурсов страны. Две компании смирились с решением президента, третья — американская фирма Белко петролеум — воспротивилась. Правительство объявило, что деятельность фирмы "замораживается", — отсюда один шаг до национализации.

В политическом плане этот конфликт означает, что вашингтонской администрации вновь предстоит решить, готовы ли они терпеть союзника, желающего быть независимым от США, но при

этом сохраняющего верность демократии. Нужно сказать, что когда дело дошло до переговоров, особой уступчивости американский партнер не проявил. Это можно объяснить трудностями, с которыми сталкивается президент Рейган, стремясь выполнить обещания, данные в свое время избирателям. Еще в ходе своей первой избирательной кампании он заявил, что намерен сократить налоги. С другой стороны, все эти годы росли военные расходы США. Экономическая мощь Америки позволяет справиться со многими неприятностями, зеленая долларова банкнота имеет силу для любых сделок в любой стране свободного мира. Американские банки выплачивают вкладчикам высокие проценты, деньги текут к ним отовсюду. При всем том, однако, государственный долг Соединенных Штатов достиг двух триллионов долларов. Чтобы расплачиваться с кредиторами, США вынуждены постоянно повышать процент в системе государственных банков и поддерживать котировку акций на бирже.

Говоря о финансовых проблемах, нельзя не коснуться курса американской валюты, претерпевшего на наших глазах драматические перемены. Продолжавшийся с 1980 до начала 1985 года рост курса доллара был предметом гордости администрации и всего населения. Трезвые голоса предупреждали, что радость будет недолгой. В конце концов доллар стал не по карману некоторым торговым партнерам США, и они сократили закупки американских товаров. Развитие американской промышленности и сельского хозяйства замедлилось из-за застоя в делах. Курс доллара начал снижаться. Все это болезненно отражается на всей системе расчетов на международных рынках, где доллар остается универсальным платежным средством. В декабре прошлого года был утвержден закон, предписывающий правительству и конгрессу в течение пяти лет восстановить бюджетный баланс. В нынешнем бюджетном году (он истекает в июле 1986 г.) дефицит бюджета сохраняется на уровне 200 млрд. долларов. В дальнейшем он должен снижаться на 36 млрд. долларов в год. Как это осуществить? Президент объявил о своем решении сокращать военные расходы ежегодно на 3%. Обещание снизить налоги пока не выполнено.

Не пора ли попроситься с Муамаром Каддафи? Вопрос этот задают себе многие западные политики с тех пор, как стало ясно, что полковник

сеет в мире смерть. После террористических акций в аэропортах Рима и Вены вопрос стал, так сказать, еще актуальней. Ливийский диктатор, может быть, и не несет ответственности за деятельность всех террористических организаций, так или иначе дающих о себе знать, но среди вдохновителей и покровителей международного терроризма он самый главный. Можно понять и одобрить мотивы, побудившие президента США Рейгана обратиться к западным союзникам и в конечном счете ко всему цивилизованному миру с предложением прервать экономические отношения с Ливией. К несчастью, вопрос о том, не пора ли покончить с Каддафи, приходится замечать вопросом: можно ли с ним покончить?

Казалось бы, — независимо от моральных соображений, — момент для этого самый подходящий. После того, как началась успешная разработка нефтяных месторождений на дне Северного моря, после снижения цен на нефть, Ливия оказалась в трудном экономическом положении. Во время нефтяного процветания аппетиты полковника разгорелись до крайности, он не жалел денег на всевозможные авантюры и, конечно, на покупку оружия. Эта политика продолжается, как будто ничего не случилось. Экономическая блокада заставила бы Каддафи капитулировать.

Однако в эпоху чрезвычайно усложнившегося международного обмена экономические санкции, и это знает каждый, чаще всего не достигают цели. Примеров, начиная с Октябрьской революции в России и попыток изолировать большевистское правительство, можно привести достаточно много. Один из последних — Южная Африка. В итоге ответ, который получил Рейган от большинства европейских государств, звучит примерно так: мы не желаем сжигать мосты, соединяющие нас с Ливией, чтобы не оказаться в смешном положении; блокада — это холостой выстрел. При этом у некоторых стран есть свои особые причины реагировать на воззвание Рейгана более чем сдержанно.

Взять, к примеру, Италию. Когда-то Ливия была ее колонией. В Триполи не устают проклинать колониализм, однако это не препятствует весьма тесным отношениям между двумя странами. В Ливии работает 12 тысяч итальянцев. В Италии 13% капитала автомобильной компании Фиат принадлежит соотечественникам и подданным полковника Каддафи. Еще сложней обстоит дело с Федеративной республикой Германией, для ко-

торой Ливия — серьезный экономический партнер.

И все же министрам иностранных дел стран — членов Европейского сообщества пришлось более четко определить свою позицию в конце января, когда над Ливией сгустились тучи: американский флот начал маневры вблизи ливийских берегов. Полковник, который считает этот район моря собственностью своей Джамахирии, оригинальным образом принял вызов: он начал разъезжать неподалеку от маневров на морском катере. Была развернута крикливая кампания против "государственного терроризма", якобы возглавляемого Америкой, кампания, в которой, разумеется, не замедлил принять участие и Советский Союз. Двенадцать европейских министров иностранных дел должны были срочно решить, наложат ли они хотя бы эмбарго на поставки вооружения для Ливии. Страны Северной Европы готовы были объявить Ливии что-то вроде торжественного предупреждения. Но Греция, а за ней и другие средиземноморские страны — Италия, Франция и Испания — отказались подписать что-нибудь подобное. В конце концов был опубликован текст, состоящий из общих фраз; никакого реального значения он, конечно, не имеет.

Стоит упомянуть о реакции на обращение Рейгана так называемых умеренных арабских стран. Их антипатия к ливийскому режиму известна. Но сказать об этом вслух ни Мубарак, ни тунисский лидер Хабиб Бургиба не решаются: у полковника Каддафи слишком много поклонников в арабском, да и во всем Третьем мире. Можно понять, в частности, чем вызвана сдержанность Бургибы. После получения независимости Тунисская республика прошла полосу многих внутренних потрясений. Однако с трудом достигнутая стабильность грозит вновь пошатнуться. Президент стар и болен, им недовольны и члены его партии, и клан родственников, пользующийся большим влиянием в стране. Наконец, Бургибу перестали поддерживать профсоюзы, одна из опор режима. Между тем на юге Туниса активизировались ливийские агенты. У Каддафи — мы вновь вынуждены к нему вернуться — немалые аппетиты: он зарится на Чад, но его интересует также Верхняя Вольта (Буркина Фасо), а в последнее время и Северная Африка.

Империя, о которой грезит диктатор, должна быть мусульманской. Рассказывают о беседе, ко-

торую он вел с каким-то западным журналистом. Каддафи потратил целую ночь, чтобы обратиться к своему собеседнику в истинную веру. Он готов распространять ислам по всей Африке — разумеется, с помощью оружия. Братья, изменившие вере, не могут рассчитывать на его снисхождение. Вот почему полковник Каддафи, называющий себя борцом за прогресс и антиимпериалистом, охотно принимающий ухаживания Советского Союза, в то же время враждует с другими арабскими "прогрессистами" и союзниками СССР, например, с режимом Южного Йемена, который променял Мохаммеда на Маркса. Можно ли, однако, назвать правителей Южного Йемена ленинцами или чем-нибудь подобным? Недавние события в столице этой небольшой страны на юге Аравийского полуострова заставляют в этом усомниться.

История коммунистического движения знает немало всевозможных ересей, уклонов и отклонений от "правильной" линии. Назовем еще один уклон: трайбализм, племенное обособление, легко выливающееся в племенную рознь. Вспышка такой розни имела место в Адене 13 января, когда во время одного из особенно бурных заседаний политбюро ЦК правящей коммунистической партии группа членов пошла открытой войной на главу государства. Спустя короткое время в столице начались бои. В течение нескольких дней погибло не менее 15 тысяч человек (население всей страны — около двух миллионов), городу Адену грозило полное разрушение.

Южный Йемен получил политическую независимость в 1967 г., чтобы сразу же оказаться в объятиях Советского Союза. Это единственное арабское государство, провозгласившее марксизм-ленинизм официальной идеологией. Тем не менее прославленной ленинской дисциплиной местная компартия Национальный фронт похвастаться не может. В последней, наиболее кровавой расправе видную роль сыграли три фигуры из кожнойеменской правящей верхушки.

Это прежде всего Али Насер Мохаммед, политик умеренной ориентации, делавший ставку на компромисс с "реакционными" режимами. Соперником Али Насера Мохаммеда в развернувшейся борьбе стал Абдель Фатах Исмаил, бывший глава государства и партии, отсесненный в 1980 г. Мохаммедом. Исмаил — фанатик революционной непримиримости и верности Москве. Наконец, третья фигура в игре — полковник Али

Антар, смещенный три года назад с поста министра обороны за то, что он готовил государственный переворот. Правда, при этом он все же получил кресло вице-президента республики. Коммунистические убеждения этого полковника внушают сомнения, зато в его руках находилась армия, и вдобавок он пользовался поддержкой ряда племен. Собственно, он и был инициатором вооруженного столкновения в Адене.

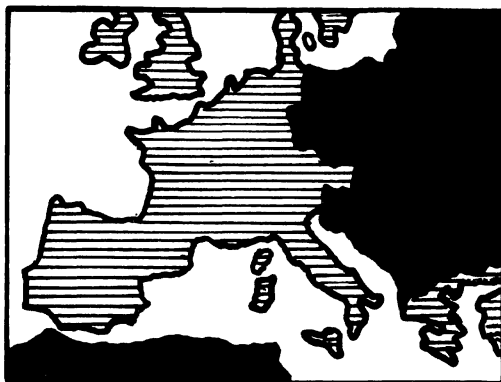
События в Народно-демократической республике Южный Йемен несколько озадачили московских шефов: неясно было, кого надо репрессировать, кого — поддерживать. Идеологически наиболее надежной фигурой представлялся Фатах Исмаил. Но именно человек такого типа мог бы стать впоследствии Йеменским Энвером Ходжей. В конце концов, как это часто бывает, оба главных антагониста исчезли с политического горизонта. По слухам, Али Насер Мохаммед скрывается в районе, где обитает его племя, а Абдель Фатах Исмаил погиб в перестрелке в комнате совещаний политбюро, после чего начались бои в Адене (так патриархально решались идейные разногласия на местной Старой площади). По последним сообщениям, президентом стал бывший премьер Хайдар абу-Бакр Аттас, в горячие дни сидевший в Москве. Пока страсти удалось кое-как успокоить. Надолго ли?

В Адене находятся крупные нефтеперегонные заводы. Однако за последние полгода перепроизводство нефти привело, как мы уже говорили, к снижению цен на черное золото. Робкие попытки Южного Йемена конкурировать с могущественными поставщиками нефти в арабском мире оказались парализованными. Тем более, что нефтяной клуб ныне пополнился новыми членами — Норвегией и Великобританией.

Добыча нефти в Северном море подхлестнула вялую английскую экономику и подкрепила довольно-таки анемичный фунт стерлингов. Под впечатлением этих успехов премьер-министр Соединенного королевства Маргарет Тэтчер обещала даже снизить весной налоги. Недавнее падение цен на нефть делает все это весьма проблематичным, усугубляя политический кризис, в котором британское правительство оказалось начиная с первых недель этого года.

Кризис возник из-за фирмы Уэстленд, производящей вертолеты. Некоторое время тому назад

выяснилось, что фирма, обремененная долгами, стоит перед угрозой банкротства. В качестве возможных спасителей выступили крупная американская вертолетостроительная компания "Сикорский", связанная с итальянским Фиатом, и консорциум западногерманской, итальянской, английской и французской фирм. Кого предпочесть? Вообще говоря, это должно было решить общее собрание акционеров, на котором решающий голос принадлежит наиболее крупным держателям акций. Силы, однако, разделились: президент "Уэстленда" выступил за американскую компанию, другой крупнейший держатель акций вместе со своими сторонниками — за европейский консорциум. Правительство наблюдало за всем этим, оставаясь в стороне. Тэтчер заявила, что она не вмешивается в дела частных предпринимателей. Но как сохранить невозмутимость, когда речь идет о крупном предприятии оборонного значения, на котором занято 7000 рабочих? Близко стоящий к Тэтчер министр промышленности высказался в пользу "Сикорского". Ему, в свою очередь, возразил министр обороны — сторонник консорциума. Смысл спора станет яснее, если вспомнить о том, что хотя Великобритания входит в Европейское экономическое сообщество, она не хотела бы отказаться от своего положения первого союзника США. С другой стороны, можно ли игнорировать интересы Общего рынка? Маргарет Тэтчер круто оборвала дискуссию: решать, по ее словам, будет она сама. В ответ министр обороны Хезелтайн демонстративно покинул заседание Совета министров и сообщил журналистам, что он уходит в отставку. Вместе с другими членами правящей консервативной партии Хезелтайн весьма резко критикует "авторитарные методы" правления первой дамы королевства. Вообще нужно сказать, что никогда еще М. Тэтчер, которая совсем недавно, после успешной Фолклендской войны, пользовалась безоговорочным доверием политиков и симпатиями народа, не подвергалась столь серьезным нападкам английской печати. Добавим, что и другой участник конфликта из-за фирмы "Уэстленд" — министр промышленности Бриттен, несмотря на поддержку Тэтчер, был вынужден уйти в отставку. Напряжение спало, однако многие в Лондоне задают себе вопрос, не близится ли закат "тэтчеризма". ●



КРИЗИС БРОДИТ ПО ЕВРОПЕ...

Западноевропейский коммунизм появился на свет почти одновременно во всех странах континента. Произошло это между 1920 и 1922 годами на волне экономического спада, поразившего Запад после Первой мировой войны, в атмосфере дискредитации социалистического движения, потерявшего себя в этой, в общем, бессмысленной войне. Немалую роль в укреплении коммунизма в Западной Европе сыграл Коминтерн и его вожди — Ленин и Зиновьев, умело и небрежливо работавшие на раскол европейской левой.

С тех пор коммунистическое движение Западной Европы переживало периоды подъема и спада. Есть в его летописи страницы, полные подвигов и благородства, идеализма и самопожертвования. Увы, гораздо обширнее летопись предательства, саботажа, подрывной деятельности, убийств, шпионажа... Теперь, через 30 лет после XX съезда и 18 лет после советского вторжения в Чехословакию, западноевропейское коммунистическое движение переходит в глухую защиту. Жан Элленстайн, в прошлом один из вождей французской коммунистической интеллигенции, сравнивая прошлое и настоящее движения, говорит: "... Это необратимый регресс. Тогда излечение было еще возможным, ныне — это рак с неизбежным летальным исходом."

Эрозия социальной базы коммунистического движения хорошо видна на примере Бельгии, где компартия — некогда третья сила по количеству собираемых на выборах голосов — в октябре прошлого года потеряла последнее место в парламенте. Центром ее влияния были уголь-

ные шахты и сталелитейные предприятия Валлонии — промышленная структура, унаследованная еще от XIX века. Ныне там царит запустение. Основная рабочая сила предприятий — иммигранты из развивающихся стран, не имеющие избирательных прав. Что же касается работников новых отраслей промышленности с высоким техническим уровнем и сферы обслуживания, то они мало интересуются марксистскими концепциями классовой борьбы.

Эрозия коммунистической идеологии — возможно, еще более важная причина кризиса. В левом лагере особенно выиграли на этом социалистические партии, занявшие позиции, с которых отступили коммунисты. Особенно быстро это произошло в Испании, Португалии и Греции, несколько медленнее — во Франции и Финляндии, но процесс этот был повсеместным.

Еще один фактор кризиса — компрометация политической доктрины коммунизма. Анри Фишбин, в прошлом также видный коммунист, ныне баллотирующийся в Национальное собрание Франции по списку социалистов, отмечает: "Основная и всеобщая причина упадка — это открытие того, что Советский Союз — не демократическая система." Значительная часть сторонников и избирателей разбрелись по "собственным квартирам", предпочитая национальные интересы "интернациональным" интересам "пролетариев" (мало кто сейчас понимает, что это такое).

В попытках сохранить лицо западноевропейские коммунисты ведут арьергардные бои на всех фронтах. Наибольшее влияние им удалось сохранить в странах с отсталой хозяйственной структурой (Греция, Португалия, Кипр). И в других странах они выступают как рьяные защитники трудящихся тех отраслей, которые в процессе технической революции и географических перемен в мировом хозяйстве приходят в Европе в упадок (сельское хозяйство, легкая промышленность, черная металлургия, добывающая промышленность).

В области идеологии и политики была выдвинута концепция еврокоммунизма, провозглашавшая согласие с принципами парламентской демократии (что исключало принцип диктатуры пролетариата) и независимость от Москвы. Возникновение еврокоммунизма было реакцией на "открытие" антидемократизма советской системы, а затем — на вторжение в Чехословакию.

Однако эта, казавшаяся блестящей, идея не выдержала испытания временем. С одной стороны, давление Москвы поставило под угрозу личные интересы и положение коммунистической верхушки большинства партий, оно перешло на средние, а в малых партиях – и на низшие партийные уровни. Это привело или к расколам (наиболее яркие примеры – Испания, Финляндия, (см. "Страна и мир", №№ 6, 11, 1985), или, как во Франции, – к капитуляции перед КПСС.

Во второй по численности в Западной Европе французской компартии положение непрерывно ухудшается. Когда нынешний генсек Ж.Марше в 1972 г. занял свой пост, ФКП собирала на выборах 20% голосов. Но уже на выборах в Европейский парламент 1984 г. процент голосующих за ФКП снизился до 11,4. После победы социалистов во Франции в 1981 г. президент Миттеран все же счел еще целесообразным предложить коммунистам четыре портфеля в новом правительстве, хотя сам он в их поддержке уже не нуждался. Однако вскоре акции коммунистов пали так низко, что с коммунистическими министрами попросту перестали считаться, и партия отозвала их из правительства. Хотя в марте этого года предстоят новые парламентские выборы и социалистам угрожает потеря большинства в Национальном собрании, они отнюдь не приглашают коммунистов обратно: такой союзник может их лишь скомпрометировать.

По мере приближения нового избирательного экзамена среди бывших и нынешних членов ФКП множатся попытки оценки и переоценки прошлого и будущего партии. Скорее в качестве курьеза можно упомянуть здесь о воспоминаниях Поля Тореза, сына многолетних руководителей ФКП Мориса Тореза и Жанетты Вермерш. Большая часть его книги посвящена описанию счастливого детства автора, проведенного в одном из инкубаторов для привилегированных семейств в СССР. Однако пишет он и о ФКП, в частности, о матери – пламенной коммунистке, вышедшей из Политбюро ФКП в 1968 г. в знак протеста против выступления тогдашнего руководства партии в защиту Чехословакии. Впрочем, Поль Торез, покинувший партию в 1979 г., одобряя уход матери в "рядовые бойцы", не оставляет иллюзий насчет мотивов ее действий. Оказывается, ее главной заботой

были не агрессивные действия Советского Союза, а последствия вторжения для мирового коммунистического движения. Мадам Торез-Вермерш, пишет ее сын, по-прежнему видела в СССР молодое пролетарское государство, замученное гражданской войной и иностранной интервенцией, а не мировую сверхдержаву, отстаивающую свои владения и жаждущую новых завоеваний. Ж.Торез-Вермерш не могла отрицать масштабов народного подъема в Чехословакии, однако считала это лишь примером того, как можно манипулировать народом, результатом заговора американского империализма и западногерманского реваншизма.

С более квалифицированной оценкой советской и французской компартий выступил в своей книге "Самокритика" Пьер Жюкен, бывший представитель партии по связям с прессой. Исключенный из Политбюро в марте 1984 г., он все же остался членом ЦК. Жюкен заявляет без обиняков, что вся система советского коммунизма устарела и зашла в тупик. Необходимо, по его словам, осознать исторические границы советской системы. Она не только неприложима к Франции но и "по-видимому препятствует социалистическим странам действительно принять вызов XXI века". Еврокоммунизм, по мнению П.Жюкена, серьезно беспокоит КПСС. Чтобы не допустить его в сферу своего влияния, КПСС готова организовать раскол в рядах компартий, как это было сделано, например, в Швеции и Испании.

Вслед за П.Жюкеном о капитуляции Ж.Марше перед Москвой подробно пишет Жан Фабьен (вероятно, псевдоним, может быть, даже групповой), автор книги "Война между товарищами". Марше долгое время был под прицелом правых членов Политбюро, вроде г-жи Вермерш. С другой стороны, ему кололи глаза коалицией с социалистами, которые, по мнению оппонентов Марше, принесли коммунистов в жертву своим целям. Противники Марше активно обсуждали и его собственную личность, в частности, вопрос о его добровольной вербовке на работу в Германию во время Второй мировой войны (в советских источниках говорится, что он был там на принудительных работах и бежал). В 1977 г. ЦК КПСС обратился к французскому политбюро с крайне резким письмом, которое впервые полностью приводится в книге Фабьена. В Москве попросту хотели головы Марше.

Чтобы сохранить свой пост, Ж.Марше подчинился, расторг союз с социалистами и дал указание о прекращении нападок на Советский Союз в коммунистической печати.

Полностью ФКП вернулась на проторенную дорогу на своем XXIII съезде 1979 г., признав в "целом положительный баланс социализма советского типа." Произошло это как раз в год советской интервенции в Афганистане. Вскоре после этого Марше прибыл в Москву за инструкциями в связи с разворачивавшейся кампанией против установки американских ракет в Западной Европе. П.Жюкен описывает встречу Ж.Марше с М.Сусловым и Б.Пономаревым, в ходе которой французский гость спросил, должна ли ФКП бороться за отмену решения НАТО. Пономарев посоветовал ему мыслить более реально и бороться против выполнения этого решения. Затем Марше, по словам Фабьена, поинтересовался, могут ли французские коммунисты после Афганистана по-прежнему говорить, что Советский Союз выступает за мир и разоружение. "Поймите меня правильно, я не хочу вас оскорбить, я не считаю, что вы изменились. Но наш ЦК спросит нас об этом".

П.Жюкен с сожалением вспоминает о том, как он организовал в 1980 г. знаменитое телеинтервью с Марше, в котором тот одобрил советское нападение на Афганистан. Интервью было встречено французской общественностью с негодованием. С тех пор руководство ФКП уже не испытывало трудностей в контактах с Москвой. Следующим его позорным деянием было одобрение военного переворота в Польше и контакты с режимом Ярузельского.

Еще более сурово критикует прошлое и настоящее компартии бывший генеральный секретарь коммунистического союза студентов Филипп Робрие в новой книге из публикуемой им серии, посвященной ФКП. В книге "Секта" он называет политику еврокоммунизма и союза левых сил проходным эпизодом в истории партии. Он считает, что партия полностью сохранила структуру и механизм, сложившиеся еще во времена Сталина.

Особняком на европейской коммунистической сцене стоит итальянская компартия. Партия эта, в числе создателей которой были такие крупные фигуры, как Грамши и Тольятти, имеет

богатое идейное и политическое наследие, позволяющее ей чувствовать себя в отношениях с Москвой независимо. Сейчас она сохраняет свои независимые позиции, эволюционируя в сторону социал-демократии. Лучано Пеллигани, редактор теоретического журнала итальянской социал-демократии *Mondoperaio*, пишет: "Это уже не коммунистическая партия, но и не социал-демократическая. Это — ни рыба, ни мясо." По его мнению, к концу этого века в Италии сложится союз левых сил, с участием социалистов и коммунистов. По-видимому, сейчас можно говорить о конце политики "исторического компромисса" — долговременного курса ИКП на создание коалиции с христианскими демократами.

Дж.Наполитано, руководитель парламентской фракции коммунистов недавно заявил: "Чтобы избежать опасности упадка, мы должны мыслить в терминах левой, и меньше — в терминах коммунистической политики. Нас не должна преследовать мысль об отставании собственного лица. Мы не должны быть лишь партийей проповедников и оппозиционеров." Эта внутри-итальянская политика ИКП ныне переносится ею и в отношении с партиями других стран. ИКП поддерживает интенсивные контакты с западно-германскими, голландскими и скандинавскими социал-демократами, с английскими лейбористами. Формируется идея "евролевой", которая должна прийти на смену "еврокоммунизму".

"Как итальянские коммунисты мы видим наше будущее в контексте европейской левой, — пишет Джузеппе Боффа, комментатор партийной газеты *L'Unita*. — Если компартии находятся в кризисе, то это потому, что они не смогли преодолеть старые, потерявшие всякий смысл разногласия".

Сейчас ИКП, все еще вторая по значению партия в стране, накануне больших испытаний. Ее руководство стареет. Нынешний лидер, Алессандро Натта многими рассматривается как весьма бледная, явно переходная фигура. Молодежь медленно пополняет ряды партии. Оставаясь коммунистической, партия рискует разделить общую судьбу компартий — потерю популярности. Сохраняя популярность, приходится жертвовать своей коммунистической сущностью.



ГРЕКО-ТУРЕЦКАЯ ВСТРЕЧА

В Давосе состоялся ежегодный международный симпозиум, созываемый частной швейцарской организацией "Европейский форум управления". На этих симпозиумах, которые проводятся уже 16 лет, присутствуют виднейшие политики, бизнесмены и финансисты Запада — своего рода "мозговой трест" западного мира. Обмен идеями, происходящий в Давосе, обычно весьма плодотворен. Выводы и решения этих встреч не имеют никакой формальной силы, но они во многом определяют развитие мировой экономики.

Однако несмотря на важность этой встречи, она не привлекла бы к себе особого внимания прессы, если бы ее организаторам не удалось свести между собой глав правительств Турции и Греции. Сложная история отношений этих двух государств уходит в далекое прошлое, и здесь не место ее рассматривать. Однако конфликт между двумя соседями выходит за рамки местных разногласий и споров, обычных для восточного Средиземноморья. Турция и Греция защищают южный фланг НАТО и находятся в опасной близости от Советского Союза. Споры между ними наносят ущерб стратегическим интересам всего блока.

Последняя встреча греческого и турецкого премьер-министров состоялась в 1978 г. в другом швейцарском городе Монтре. Константин Караманлис и Бюлент Эджевит попытались тогда, правда безрезультатно, нащупать решение проблем, разделяющих две страны.

Туркут Озал и Андреас Папандреу по-разному подошли к нынешней встрече.

Турецкий премьер при каждом удобном случае демонстрирует готовность Турции "начать диалог с Грецией на любом уровне, любым путем и когда будет угодно противной стороне". Он настойчиво повторяет, что "существующие разногласия могут быть разрешены только путем переговоров". Туркам сейчас очень важно достичь какого-либо, хотя бы видимого, прогресса в нормализации отношений с Грецией. Это позволило бы им надеяться на размораживание соглашения, регулирующего отношения Турции с Европейским Экономическим Сообществом. Выполнение этого соглашения было временно приостановлено в связи с введением военного режима и нарушениями

прав человека в Турции. Турецкие руководители считают, видимо, не без оснований, что сопротивление Греции может блокировать их усилия, направленные на сближение с ЕЭС, и в конечном итоге — вступление Турции в Общий рынок.

Греческий премьер, со своей стороны, неоднократно заявлял, что он "не позволит, чтобы оспаривалась хотя бы пядь греческой территории" и что "никакие переговоры немыслимы, пока Турция не выведет свои войска с Кипра, не откажется от своих претензий в Эгейском море и не заявит, что она признает все международные соглашения и договоры, касающиеся статуса Эгейского моря" (Турция оспаривает право Греции на 12-километровый прибрежный шельф вокруг греческих островов, находящихся у самых берегов Турции, и считает, что оперативная защита близких к ней островов должна быть в рамках НАТО возложена на нее, что гораздо эффективнее).

Нужно сказать, что в Греции практически все считают, что турецкая сторона ведет себя агрессивно, вынашивает коварные планы и выступает со всякого рода необоснованными претензиями. (Немногие тут вспоминают, что турецкая армия высадилась на Кипре лишь после того, как военная хунта, правившая тогда в Греции, устроила беспорядки на острове, свергнув законное правительство Кипра. Забыто также, что возникновение разногласий в связи с Эгейским морем вызвано выходом Греции из военной организации НАТО в знак протеста против оккупации части Кипра турками: тогда забота о защите восточной части Эгейского моря в рамках НАТО, которая до тех пор возлагалась на греков, была переключена на турок. Когда же Греция вернулась в военную организацию НАТО и стала требовать восстановления прежнего положения, турки на это уже не соглашались.)

Ранее среди греческих политиков всех направлений царило поразительное единодушие: с турками надо вести себя твердо. Самую непримиримую позицию занимали социалисты во главе с А.Папандреу. Однако со временем греки стали ощущать, что увековечение проблем идет отнюдь не в пользу им самим. Стали раздаваться голоса в пользу переговоров. Первыми открыто заговорили о необходимости диалога с турками консерваторы (за что Папандреу немедленно обвинил их в "национальном предательстве"). Теперь встреча в Давосе показывает, что социа-

листы тоже делают первые робкие шаги в этом направлении. Правда, Папандреу подчеркнул в беседе с журналистами, что "мы приехали сюда, обсудить экономические проблемы... а не для обсуждения двусторонних отношений и положения на Кипре". Но правые греческие газеты утверждают, что Папандреу лишь "применяет свою излюбленную тактику двойной дипломатии и двоямыслия", так как не хочет признаться в отказе от прежней непримиримости по отношению к Турции.

Собственно, важно не то, что в действительности говорили премьер-министры, а то, что, как сказал тот же Папандреу, им "представилась отличная возможность для знакомства".

По-видимому, эта фраза выражает основной смысл давосской встречи двух государственных деятелей, и в этом аспекте замысел организаторов симпозиума удался. Теперь, как сказал Папандреу, "не исключено, что состоятся и более существенные встречи."



ПОЛОЖЕНИЕ В ПОЛЬШЕ

Только в декабре 1985 г. официальные средства информации сообщили о десяти случаях крупных катастроф, аварий и отравлений в Польше. Особенно трагичным был случай в больнице в Кошалине, где 50 новорожденных заболели тяжелой формой поноса. Семеро из них скончались. С некоторых пор число подобных несчастий резко возросло: экономический кризис сказывается во всех областях жизни. В Польше много лет не ремонтируют и не чистят как следовало бы. В результате лавиной нарастает количество аварий при подаче тепла и электроэнергии, в канализационной сети. Из-за нехватки гигиенических средств насекомые расплодилось

А что же с экономическими проблемами?..

Турецкий министр, известный сторонник открытой экономики и свободного предпринимательства, обратился в ходе встречи к промышленным странам Запада с призывом вкладывать свои капиталы в Турции. Он утверждал, что экономический протекционизм представляет угрозу для мировой экономики в целом и в частности — для экономики Турции.

Греческий премьер выступал на более теоретическом, академическом уровне и говорил о взаимозависимости экономик различных стран и о необходимости совместных координированных усилий для преодоления трудностей. Папандреу много внимания уделил значению современной научно-технической революции и роли государства. Обозреватели отмечают, что в его выступлении практически отсутствовала социалистическая фразеология.

Я.Руссакис (Афины)

в квартирах и даже в больницах. Происходит отравление почвы и воды на большей части территории страны.

К сожалению, хозяйственная ситуация не дает оснований надеяться, что эти процессы удастся быстро остановить. Экономические итоги 1985 г. значительно хуже, чем в предшествующие два года. Промышленное производство возросло всего на 3,8% (в 1984 г. — на 5,3%, а в 1983 г. — на 6,4%). Впрочем, к опубликованному показателю роста (который и ранее особого доверия не вызывал) в нынешнем году следует относиться с особым подозрением. Дело в том, что властям чрезвычайно важно, чтобы итоги этого года выглядели бы сносно: идут переговоры о принятии Польши в Международный валютный фонд. Однако даже ослабление темпов роста производства и национального дохода не столь беспокоит, как положение во внешней торговле. Отрицательный баланс в торговле со странами СЭВ вырос с 500 млн. руб. в 1983 г. до 700 млн. в истекшем году. Что значительно важнее для экономики страны — положительное сальдо в торговле с Западом составило немногим более миллиарда долларов по сравнению с полутора миллиардами в 1984 г. Поскольку для оплаты процентов по долгам сальдо должно составлять не менее 3 миллиардов, задолженность Польши увеличилась в 1985 г. еще на 2 млрд. долларов, зна-

чительно больше, чем в предыдущие два года. Значит, страна по-прежнему тонет в долгах, и возникают трудности с выплатой даже по обязательствам, которые уже ранее были отсрочены. Переговоры о дополнительной отсрочке должны начаться в марте.

Прошедший год был значительно хуже предыдущих и с точки зрения баланса спроса и предложения. Правда, были отменены карточки на хлеб и сахар, однако существенно возросли денежные доходы населения. Товарного же покрытия этот рост доходов не получил. Соответственно, выросли цены, а некоторые товары, в особенности промышленные, стало труднее достать. Прошедший год был годом отступления к классическим административным методам управления экономикой и отхода даже от ограниченного применения механизма рынка, введенного в 1982 г.

В целом можно сказать, что хотя польская экономика не переживает сейчас такого краха, как это было в начале десятилетия, ее ослабление по-прежнему продолжается. В конце нынешнего десятилетия наступит время новых повышенных выплат по долгам. Поэтому уже сейчас можно сказать, что самое позднее через четыре года хозяйство Польши вновь окажется в драматическом положении: потребуются резко ограничить импорт, чтобы иметь возможность выплатить хотя бы часть долгов. Перспектива эта правящей группе явно не по плечу. На все хозяйственные трудности у нее есть только один, но неэффективный рецепт: усиление контроля, нажима, бюрократии.

* * *

В "Тыгоднике Мазовше" от 3 января 1986 г. член Временной координационной комиссии (ВКК) "Солидарности" Эбигнев Буяк подвел итоги оппозиционной деятельности в Польше в 1985 г. В истекшем году проводились акции против повышений цен, за бойкот выборов и за проверку участия в них. Но это, по мнению Буяка, лишь тактические действия. Стратегическая же задача — построение демократического общества, независимого в государственном отношении и обладающего здоровой рыночной экономикой.

Главные задачи нынешнего года, считает Буяк, — это освобождение политзаключенных и введение статуса политзаключенного. Необходимо

создать атмосферу, в которой аресты людей за убеждения стали бы для властей неудобными и невыгодными. Нужно организовать борьбу против намеченных изменений законов о труде. Эти изменения не только увеличивают продолжительность рабочего времени, но и приписывают рабочего к предприятию.

Важная задача "Солидарности" — продолжение сотрудничества с заграницей. Хотелось бы подписать с другими профсоюзными объединениями такое же соглашение, какое заключено с Французской демократической конфедерацией труда. Большое значение имеет налаживание сотрудничества с возникшим в США фондом "Солидарности". Серьезные трудности возникли в отношении сотрудничества с объединением профсоюзов ФРГ. Трудности эти вызваны тем, что руководящая объединением социал-демократическая партия и ее председатель Вилли Брандт взяли, по мнению Буяка, курс на сотрудничество с правительственными кругами Польши и почти полностью игнорируют польское общество с его развитой независимой жизнью. Во время визита в Польшу Брандт даже не настоял на встрече с Валенсой. Правда, он пытался оправдать этот свой промах, но суровой критики и в Польше, и у себя на родине избежать ему не удалось.

Подводя итоги прошлого года, Буяк пишет: "Солидарность" остается организацией, за костяком остается моральный авторитет, а за властями — власть. "Выборы" показали, что позиция общества стабильна. Поставленных целей не достиг никто. Нам не удалось остановить массовые аресты, и это наиболее болезненная неудача. Не удалось осуществить возможность, наметившуюся в конце 1984 г., — создать легально действующее руководство союза. Но и власти понесли потери. Эффект от встречи Ярузельского с Миттераном сведен к нулю реакцией французской общественности. Брандт покинул Варшаву, убежденный в том, что "Солидарность" существует и имеет влияние. Усмирение вузов — лишь пиррова победа... Власть добивается результатов только там, где она употребляет насилие. Это не способ управления. Так можно лишь прийти к новому потрясению".

Как видим, оценка Буяка далека от эйфории. Скорее в ней ощущается даже некоторый пессимизм. И действительно, в истекшем году оппозиция не добила ярких побед. Забастовки и

манифестации или не удавались, или размах их был меньше, чем в предшествующие годы.

Начало года ознаменовалось тяжелым ударом для оппозиции: случайно был арестован Богдан Борусевич – уполномоченный ВКК для района Варшавы, назначенный на этот пост после ареста Богдана Лиса. Борусевичу 37 лет, он историк, выпускник Католического университета в Люблине. Впервые был арестован еще в 1968 г., когда учился в последнем классе гимназии. Во второй половине 70-х гг. – член Комитета защиты рабочих (КОР), видный деятель оппозиции в Гданьске, участник создания Оргкомитета свободных профсоюзов в 1978 г. Борусевич – один из редакторов варшавского журнала "Роботник" и гданьского журнала "Роботник Выбжежа" ("Рабочий Побережья"). Он был в числе инициаторов забастовки на гданьских верфях 14 августа 1980 г., положившей начало "Солидарности", принимал участие в составлении знаменитого списка 21 требования к властям. Борусевич был в подполье со дня переворота – 13 декабря 1981 г.

* * *

В январе должны были состояться два важных политических процесса: апелляционный суд Михника, Фрасынюка и Лиса, а также суд над членами Конфедерации независимой Польши во главе с ее создателем Лешеком Мочульским. Однако оба суда были отложены с связи с организованным властями Конгрессом интеллигенции в защиту мира. Власти надеялись, что он станет повторением подобного же спектакля, состоявшегося в 1948 г. во Вроцлаве. На этот раз история повторилась как фарс. Мировая интеллигентская элита попросту игнорировала варшавский конгресс, хотя приглашения рассылались очень широко. На конгрессе присутствовало менее 250 человек, в основном – присяжные интеллигалы реального социализма. То, что на нем говорилось, не вызывает ни малейшего интереса. Интересно, что происходило вокруг.

Дело в том, что конгресс стал явным успехом для... оппозиции, которая подготовила несколько внушительных акций. Из тюрьмы к участникам обратились Фрасынюк, Михник и Лис. В открытом письме они заявили, что, приехав на спектакль в Варшаву, участники конгресса тем самым как бы оправдывают тех, кто четыре года назад вывел на улицы танки против безоруж-

ных людей и с тех пор ведет холодную войну против своего народа. Авторы письма предложили следующий конгресс провести в Афганистане или Южной Африке.

Свыше двухсот виднейших представителей польской науки и культуры также обратились с письмом к конгрессу, призвав его участников просить власти об освобождении еще находящихся в тюрьмах политических заключенных. Среди участников распространялся специальный номер (в переводе на английский язык) подпольного журнала Комитетов общественного сопротивления (КОС).

Другим событием конгресса стал налет полиции на квартиру Яцека Куроня, где он вместе с Янушем Онышкевичем, бывшим представителем "Солидарности" по связи с прессой должен был дать пресс-конференцию. Из квартиры были удалены 25 западных журналистов и двое участников конгресса. Все эти события привели к тому, что в сообщениях иностранной печати сам конгресс отошел на второй план. Главное место заняли сообщения о действиях оппозиции и полиции. ●

В. Кучинский



ЛИВАН В ОГНЕ

Я побывал первый раз в Ливане в 1982 г. Мы, журналисты, осмотрели Сидон (Сайду) и Бейрут, проехали по приморскому шоссе через прилепившиеся на зеленых склонах гор друзские, шиитские и христианские деревни, беседовали с крестьянами, горожанами, солдатами ливанской армии.

Здесь, на месте событий, ситуация выглядела и запутаннее и проще, чем на взгляд издалека. Волею судеб люди, принадлежащие к разным ре-

лигиозным и этническим общинам, оказались соседями, а волею Франции, разделившей после победы в Первой мировой войне свои заморские территории на отдельные государства, — и гражданами одной страны.

Уже несколько поколений эти люди живут здесь рядом, но межобщинные противоречия не утихли. Последняя гражданская война, вспыхнувшая в 1975 г., привела к самым многочисленным за всю историю Ливана жертвам и небывалому хозяйственному запустению. Я видел безлюдные улицы, разрушенные магазины, заброшенные дома. Посетители сидонского кафе рассказывали журналистам о выстрелах из засады, о постоянной опасности. Пуля снайпера могла оборвать жизнь человека, идущего в лавку за продуктами. Катающийся на мопеде мальчишка мог стать жертвой похищения "иноверцев". Все, с кем я беседовал, с надеждой говорили о времени, когда не нужно будет бояться снарядов, снайперов, похищений, смерти.

Этот день не наступил. Телевидение и сейчас показывает жуткие кадры. От взрывов заминированных машин рушатся многоэтажные дома, горят супермаркеты с застрявшими там покупателями, из-под обломков зданий выкапывают людей в военном и гражданском, шииты прямой наводкой громят лагеря палестинских беженцев, не давая выйти из домов женщинам и детям. Тихая бейрутская улица вдруг становится смертельно опасной. Транспортные пробки выбиваются с помощью автоматных очередей. В перерывах убирают трупы. Все воюют против всех.

...Ливан всегда кто-нибудь завоевывал: Рим, арабы, Османская Турция; с 1920 г. он стал французской подмандатной территорией и только в 1943 г. получил независимость. Вся его история — непрерывная и отчаянная попытка сплотить в единое целое страну, измученную междоусобицами и расколами, превратить географическое понятие в государственное.

Однако и сейчас страна соблюдающая внешние формы XX века — партии, парламент, пресса, — по сути осталась "племенной". Ливанский политик должен обладать двумя качествами: богатством и знатностью. Первое необходимо, чтобы одаривать сторонников и содержать личную армию. Второе — обеспечивает власть в своем "фамильном" районе. Отличие от прошлых времен лишь в том, что феодальное воинство дрались саблями и кинжалами, а у "милиций" — вполне современное оружие.

В Ливане 17 религиозных и этнических групп. В период единственной за всю историю переписи населения, проводившейся в 1932 г., христиане составляли 52 % населения. Христиане разделены на несвязанные (и часто враждующие между собой) кланы: марониты, католики, православные, армяне-грегорианцы... Большинство принадлежало маронитам, и в соответствии с "Национальным соглашением" 1943 г. им было обеспечено президентское кресло, высшие посты в армии и большинство в парламенте. Следующие за ними по численности мусульмане-сунниты получили должность главы правительства, а шииты — председателя парламента.

Кажется, в мире нет парламента, подобного ливанскому. Последние выборы в него состоялись в 1972 г. В 1984 г. депутаты проголосовали за продление собственных полномочий до конца 1986 г. В Бейруте льется кровь, а парламент продолжает заседать, хотя все понимают, что его решения никак не влияют на события.

В начале 70-х гг. в стране возникла новая демографическая ситуация. Правда, из-за сопротивления христиан, провести перепись населения не удастся, но всем и так ясно, что большинство — в пропорции примерно 6:4 — перешло к мусульманам. Основной же этнической группой стали шииты, всегда находившиеся на низших ступенях социальной и экономической лестницы. Если раньше они составляли третью (после христиан и суннитов) группу, то теперь их 900 тысяч (40% населения) — много больше, чем христиан, и вдвое больше, чем суннитов. Хотя шиитские вооруженные отряды "Аль-Амаль" ("Надежда") появились лишь в 1975 г., в военном отношении они довольно сильны.

Друзов в Ливане 200 тысяч. Их тысячелетняя история мало изучена, до сих пор не известно даже, арабы ли они. Они верят в странствия и переселение душ; у друзов нет мечетей, и их молитвенный ритуал для посторонних засекречен, стать друзом невозможно — им нужно родиться, переход в другую веру для них полностью исключен. Зато известно, что друзы — хорошие бойцы, отчаянные, свято верящие в правоту своего дела. Их ненависть к христианам традиционна — бедняки-христиане Ливанских гор не раз восставали против друзов-феодалов.

Во времена французского мандата друзы занимали антиарабскую позицию, но в 1958 г., когда в Ливане вспыхнула первая гражданская война между мусульманами и христианами, друзы кру-

то изменили ориентацию и поддержали так называемую "линию Насера" – воинствующий арабский национализм. Их глава Валид Джумблат – самый непримиримый из ливанских лидеров, упорно требует предать президента Амина Жмайеля суду "за преступления перед ливанским народом".

Идея разделить Страну Кедров по швейцарскому образцу на кантоны (с учетом религиозно-этнических групп), но с единым парламентом, правительством и президентом, вряд ли осуществима. Перераспределение государственных постов и мест в парламенте приведет к тому, что христиане-марониты лишатся власти, а значит и места у государственного пирога. За этот пирог, за власть и территории и идет гражданская война. Каждая группировка стремится укрепить свои вооруженные силы, отхватить как можно больший кусок земли, включить в свои владения железную дорогу и морские порты, обеспечить себе как можно больше ассигнований.

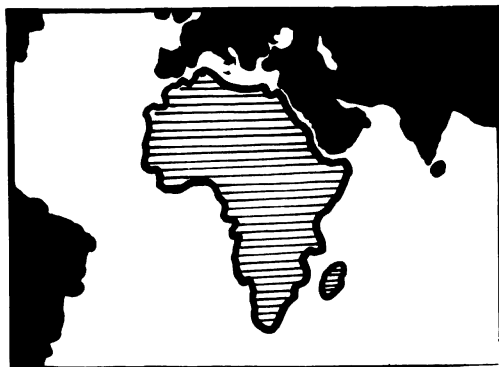
Например, друзья, сконцентрированные в одном районе, стремятся создать свое "государство", охватывающее район гор Шуф, предместье Бейрута Алейх и участок приморского шоссе от городка Дамур до реки Авали. Они убеждены, что только автономия обеспечит им традиционный образ жизни и позволит собрать рассеянных по миру единоверцев.

Анклав мусульман-суннитов простирается от Сайды на юге до Триполи на севере. Шииты, разбросанные по всему Ливану, хотели бы отхватить свою часть: от израильской границы до южных районов Бейрута. Это связало бы их с мусульманским Западным Бейрутом, дало бы контроль над международным аэропортом и позволило бы влиять на весь механизм государственной власти.

Все группировки также добиваются более широкого представительства в парламенте и правительстве.

При таком распределении сил христианам, зажатым между друзским молотом и шиитской наковальней, остались бы Восточной Бейрут и приморская полоса от города Дженин на севере и до израильской границы на юге. Напомним, что территории вдоль самой границы контролирует армия Южного Ливана под командованием генерала христианина Антуана Лахада, пользующаяся открытой поддержкой Израиля. ●

С. Черток



ВТОРАЯ РЕСПУБЛИКА ГВИНЕЯ – ТЯЖЕСТЬ НАСЛЕДИЯ ДИКТАТУРЫ

Волну радости, которая затопила Гвинею после смерти Секу Туре (см. "Страна и мир" № 9, 1985), сменило чувство отрезвления и депрессии. Наступил тяжелый переходный период. Политические и экономические последствия диктатуры оказались губительными. За последний год цены на черном рынке поднялись на 100–120%.

Господствует хаос, некомпетентность, лихоимство и нежелание работать. Многие чиновники после переворота остались на руководящих постах и препятствуют переменам. Организация и инфраструктура торговли хромают на обе ноги. Телефон и телекс большей частью не работают, в столице постоянно не хватает электроэнергии, ночью город не освещен, дороги опасны, а в сезон дождей они вообще становятся непроезжими. В стране насчитывается 600 тыс. функционеров, обязанности которых неясны нередко им самим. Трудовая мораль в учреждениях низка. Чиновник является к своему столу в середине рабочего дня, кладет на стол очки и отправляется добывать надбавку к своему жалованию – на черный рынок. Многие приходят в учреждения только в день зарплаты. Правительство планирует вдвое сократить число чиновников, но это грозит резким ростом безработицы. Однако еще более тяжелое препятствие улучшению положения в стране создает глубоко укоренившаяся коррупция. Кражи и взятки, без которых ничего нельзя "продвинуть", вошли в повседневный быт.

К опасным моральным последствиям диктатуры можно отнести атмосферу жестокости, страха и недоверия между людьми. Она дала

себя знать после неудачного путча 4 июля 1985 г. В этот день некоторые министры нового правительства во главе с бывшим премьер-министром и в союзе со сторонниками прежнего режима выступили против президента Лансаны Конте. Когда руководитель путчистов Диарра Траоре объявил по захваченному правительственному радио, что его революционный совет берет власть в свои руки, на улицы столицы вышли взбешенные жители и принялись разрушать дома и машины соседей, принадлежавших к племени малинке: покойный Секу Туре, его окружение и предводители путча — выходцы из этого племени.

При подавлении путча жертв было сравнительно немного, однако реакция на него была панической. В частности, были тайно казнены несколько путчистов и бывших министров прежнего режима, которым ранее был обещан законный суд. Западная печать и Amnesty International выступили с обвинениями в том, что новая власть пользуется старыми методами — бессудными казнями. Впрочем, самих гвинейцев это не взволновало. Многие говорили: "Их и так нельзя было освобождать из заключения — люди бы их линчевали. Мы почувствовали сладкий вкус свободы и не дадим ее отобрать."

Однако произошли и другие события, которые волнуют гвинейцев гораздо больше. После путча в городе исчез оптимистический настрой, приобретенный за предшествующие 15 месяцев. Столица стала выглядеть негостеприимно, атмосфера стала нервной, напряженной. Каждую ночь на перекрестках Конакри устанавливаются танки советского производства (как и во времена Секу Туре), около них расхаживают солдаты с заряженными "калашниковыми" и проверяют пропуск. Проходя через город ночью, приходится предъявлять пропуск 6—8 раз. У кого пропуска нет (а в стране, где 80% населения неграмотны, таких людей много), тому заламывают руки и ведут на допрос.

Как и при Секу Туре, власти оправдывают ночные проверки происками врага и ростом преступности. Последнее, впрочем, справедливо. При старом режиме Конакри был городом безопасным: грабежом занимались власти. Сейчас, с первой зарей свободы, преступность увеличилась. Патрули также используют свою власть для вымогательства и избивают людей прямо на улицах. На зарплату и на солдатское жалование не проживешь. Поэтому беззаконие процветает.

Хотя первая волна массовых арестов членов племени малинке уже спала и большинство задержанных отпущены, говорят, что в тесных камерах политической тюрьмы еще сидят около 300 заключенных, которых подвергают мучительным допросам по старым методам.

Только через полгода после путча достигнуто соглашение относительно вакантных мест в правительстве. Хорошим признаком можно считать то, что большинством в нем обладают ныне гражданские лица. Военных — лишь треть, а раньше было две трети. Военные, в основном выпускники академий в Советском Союзе или Болгарии, за два года, прошедшие после смерти Секу Туре, обнаружили свою полную неспособность управлять страной, но набить свои карманы они смогли неплохо. Еще один положительный факт — наличие в правительстве пяти бывших эмигрантов. Это говорит о серьезности намерений правительства Лансаны Конте начать работать с беженцами, покинувшими страну во времена Секу Туре. Менее приятно то, что целый ряд министерских постов остался в руках Лансаны Конте, что наводит на мысли о возможности новой диктатуры. Тенденции к ней в обществе сохранились. Гвинейцы любят повторять: "В Африке может быть только один хозяин". В отличие от Секу Туре новый президент не отличается импозантностью вождя и красноречием. Поэтому в нем находят некую "скрытую магическую силу."

Впрочем, все эти вопросы мало волнуют среднего гвинейца. Он озабочен поисками продуктов: многие семьи недоедают. При Секу Туре из-за высоких поборов крестьяне бросали рисовые поля: Гвинея, в прошлом — экспортер риса, вынуждена теперь пользоваться подачками из-за границы. Теперь надо возвращаться к работе. Однако в период засухи усилилась эрозия почвы, ухудшились урожаи. Все ждут от правительства обещанной земельной реформы. Надеются, что в результате ее крестьяне получат настоящую свободу в обработке своих участков.

Только что правительство провело денежную реформу, заменив быстро обесценивавшийся силу гвинейским франком. В этом усматривают готовность новой власти вернуться к сотрудничеству с Францией, бывшей метрополией. Пока сотрудничество с Западом налаживается плохо.

Помощь "социалистических стран" Гвинее полностью дискредитировала себя. Гвинейцы верят,

что капитализм может спасти страну. Они высказываются за передачу государственных предприятий в частные руки. И действительно, Гвинее необходима финансовая и моральная поддержка Запада. Только это может спасти ее от новой диктатуры, которая с неизбежностью принесет с собой и голод. ●

И.Брежна



КОНГРЕСС ПЕН-КЛУБА: ПИСАТЕЛЬ И ГОСУДАРСТВО

В середине января в Нью-Йорке состоялся конгресс Международного ПЕН-клуба. Из 45 стран съехалось около тысячи прозаиков, поэтов, литературных критиков и редакторов. Тема конгресса – "Воображение писателя и воображение государства".

Уже сама эта формула вызвала сомнения. Израильский писатель Амос Oz считает ее бессмысленной: государство неспособно ни к какому воображению. Проживающая в Южно-Африканской республике англичанка Нэдин Гордимер возразила, что воображения государственным деятелям, может быть, и не хватает, но в умении создавать фантомы им не откажешь. Например, ЮАР называет себя демократией, несмотря на то что большинство населения лишено избирательных прав. Джон Апдайк заявил, что государственные интересы в принципе противоположны интересам писателя в любом государстве. Эта маленькая дискуссия послужила зачином для другой, более серьезной.

Собственно, все началось с того, что президент американского ПЕН-клуба Норман Мейлер (более десяти лет назад в СССР был опубликован с сокращениями его роман о Второй мировой

войне "Нагие и мертвые") пригласил выступить на открытии конгресса государственного секретаря США Дж. Шульца. Некоторые члены ПЕН-клуба запротестовали, говоря, что выступление госсекретаря придаст съезду официальный характер и будет истолковано как признание зависимости литературы от правительства. Однако в протестах против политизации писательского съезда не последнюю роль играли именно поли-

тические соображения. Американский романист Э. Л. Доктороу, чьи выступления всегда отличаются антиамериканской направленностью, заявил, что пригласив Шульца, ПЕН-клуб "поклонился в ножки самой правой в идеологическом отношении администрации, какую только видела наша страна" и "поставил себя в положение компании литераторов из какого-нибудь восточно-европейского союза писателей, собравшихся, чтобы их погладил по головке министр культуры". Заметим, что свою статью Доктороу поместил в самой влиятельной американской газете "Нью-Йорк таймс". После этого к нему присоединились 65 участников конгресса, подписавших протест против приглашения Шульца. Литераторам из Восточной Европы остается только позавидовать такой отваге.

Этим, однако, политические распри писателей не ограничились. На одной из сессий разгорелся спор между нобелевским лауреатом Солом Беллоу и крупнейшим прозаиком ФРГ, идеологом западногерманских левых Гюнтером Грассом. Беллоу разгневал Грасса, сказав, что американская демократия дала своему народу не только политическую свободу, но и материальное благополучие. Немец возразил: а как же бедняки? Американец пояснил, что он имел в виду положение большинства и не утверждал, что в Америке господствует абсолютная справедливость. Под впечатлением этого спора даже некоторые писатели, принадлежащие к левому лагерю, сочли своим долгом вступить за Америку. Курт Воннегут, хорошо известный в СССР, – от его сатирического пера не раз доставалось и правительству США, и особенно тем, кого советская пресса именует "американской военщиной", – заявил, что Соединенные Штаты – "лучшая страна в мире". Так или иначе, но трезвость одержала верх: практически все участники конференции готовы были признать, что в Америке писатель пользуется неизмеримо большей свободой,

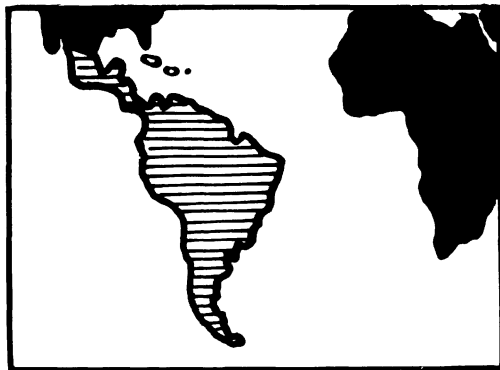
чем в Советском Союзе. Амос Oz напомнил о том, что между демократией и тоталитаризмом "все-таки" есть большая разница и писателям неплохо было бы время от времени об этом вспоминать: "Тот, кто игнорирует разные степени плохого, неминуемо становится прислужником зла", — сказал он. Весьма горячо выступили в защиту Америки и вообще западной демократии писатели-эмигранты из стран советского блока: В. Аксенов из СССР, А. Загаевский из Польши, Д. Конрад из Венгрии, кубинский поэт Э. Падилья, просидевший 22 года в тюрьме за разногласия с Фиделем Кастро.

Много говорилось на конгрессе о цензуре. Защита писателей, преследуемых за свое творчество, каковы бы ни были их убеждения и где бы это ни происходило: в СССР, в других странах восточного блока, в Чили или на Филиппинах, — давняя традиция ПЕН-клуба. На входившей в программу конгресса пресс-конференции председатель комиссии, которая занимается судьбой писателей, находящихся в заключении, Майкл Скэмвелл (автор недавно вышедшего тысячестраничного исследования об А. Солженицыне) выступил с докладом об ухудшающемся положении писателей во многих странах. ПЕН-клуб располагает сведениями о 445 писателях и журналистах, заключенных по политическим мотивам в тюрьмы, трудовые лагеря, психиатрические учреждения, находящихся в ссылке или даже пропавших без вести. Четверть этого списка — 105 имен писателей, которые живут в СССР и государствах Восточной Европы. Члены ПЕН-клуба говорили о 32-летней поэтессе Ирине Ратушинской, приговоренной к семи годам лагерей за стихи, которые она писала и распространяла среди друзей. Артур Миллер, один из самых популярных в СССР современных западных драматургов, рассказал о том, как в разговоре с группой деятелей Союза писателей СССР он упомянул об Ирине Ратушинской, — в ответ ему было сказано, что такой поэтессы не существует.

На конгресс Международного ПЕН-клуба были приглашены и советские литераторы — в их числе В. Распутин, Ч. Айтматов, А. Кушнер, А. Вознесенский, Е. Евтушенко. Никто не приехал. Вместо этого генеральный секретарь ССП Георгий Марков прислал письмо, где говорилось, что "мы" приняли бы приглашение, если бы на конгрессе не присутствовали "бывшие советские

граждане, чья деятельность на протяжении ряда лет направлена на разжигание вражды и ненависти между народами". Недурная иллюстрация к теме конгресса — о государстве, воображающем, что литература — это его собственность. ●

Е. Ю.



СТРАНА БЕЗ СПРАВЕДЛИВОСТИ

7 февраля один из самых ненавидимых и презираемых диктаторов нашего времени президент Гаити Жан Клод Дювалье, он же Бэби Док, под давлением народного возмущения был вынужден покинуть страну, из которой он пил соки в течение 15 лет.

Сейчас легко говорить, что такого исхода следовало ожидать, но в январе 1971 г., когда Бэби Док был провозглашен президентом, мало кто предвидел его бесславный конец. Народу было объявлено, что к власти пришел молодой, энергичный президент, который поведет страну по новому пути. Новый лидер обещал покончить с наследством своего отца и предшественника на президентском посту, превратившего страну в царство террора, где никто не был застрахован от ночного стука в дверь, ареста и казни. Было также провозглашено, что в стране будет проведена экономическая революция. Она должна быстро вывести Гаити из нищеты, в которую ее вверг престарелый Франсуа Дювалье, Папа Док.

Все красивые обещания так и остались словами. Разве что прекратились убийства политических противников — теперь их стали только сажать в тюрьмы, да и то в меньшем количестве. Другой приметой нового времени стала хорошенькая и хорошо одевающаяся жена, которую

не стыдно было показать миру. Все прочее осталось по-старому.

В июле 1985 г., когда американцы пригрозили урезать экономическую помощь, если не будут прекращены нарушения прав человека в Гаити, Ж.К.Дювалье ответил на это всенародным референдумом. 99,98% гаитян отдали свой голос в подтверждение того, что Бэби Док является пожизненным президентом, продемонстрировав тем самым, что народ и Дювалье едины.

А всего через полгода наступил крах, разразился бунт, "бессмысленный и беспощадный", последствия которого для страны пока трудно предсказать.



Бэби Док с первой леди

Тирания отца и сына Дювалье — не первая печальная страница в истории Гаити. Назвать эту страну многострадальной — это не сказать ничего. Вряд ли можно найти в истории другого столь малого государства так много жестоких деспотов, казнокрадов, наглых узурпаторов. Хроника Гаити пестрит переворотами и контрпереворотами — дойдя до девятого десятка, можно сбиться в счете. Началось это, пожалуй, еще с национального героя Гаити Туссена-Лувртуря, известного советскому читателю по роману А.Виноградова "Черный консул", полуграмотного раба, прославившегося редкими способностями к политической интриге, предательствами и жестокостью. Добившись в результате возглавленного им восстания против французов отмены рабства, он сам ввел принудительный труд на плантациях. Не лучше был и его преемник Жан Жак Дессалин, который 1 января 1804 г. провозгласил независимость Гаити — первого в новое время независимого негритянского государства. Дессалин почти сразу же

оставил игры в демократию и объявил себя императором. Через два года в результате засады на дороге император был убит. Так и завертелся этот унылый круг: зверствующий правитель — кровавый переворот — новый зверствующий правитель... Справедливость всегда приходила на Гаити лишь в маске разнузданной жестокости. Так, когда один из президентов распорядился убить в тюрьме 165 политических противников, на следующий день после побоища разъяренная толпа разгромила охрану президентского дворца и разорвала на куски его обитателя.

Кажется, однако, что в сентябре 1957 г. справедливость вообще оставила Гаити. Франсуа Дювалье, который пришел к власти после серии выборов и военного переворота, лихорадивших страну на протяжении девяти первых месяцев этого года, вначале внушал некоторые надежды. Врач по профессии, один из немногих образованных представителей негритянского большинства Гаити (основную часть образованного слоя этой страны составляют мулаты, которых на острове всего 5%), он обещал покончить с господством богатой мулатской элиты и передать власть в руки черных масс. Некоторое опасение внушало то, что в отличие от прежних правителей, которые независимо от этнической принадлежности придерживались благопристойного католицизма, новый президент активно упражнялся в исполнении таинственных и страшноватых водуистских обрядов с их черной магией, движущимися трупами — зомби и т.п. Но тогда, в 1957 г., Дювалье обещаний не жалел, и прозвище Папа Док, которое он получил, было скорее знаком одобрения.

Отрезвление наступило быстро. Через короткое время Дювалье организовал избиение мулатской интеллигенции и деловых людей. Дело было обычным для правителя Гаити, но масштабы, жестокость погрома, наглость в ограблении жертв поразили даже привыкшее ко всему население. Через год Папа Док сделал то, до чего не додумался ни один из его предшественников: он создал вооруженную силу, противостоящую армии и обязанную всем лично ему, прежде всего — безнаказанностью и широкими возможностями мародерства. Эта гвардия, официально именуемая добровольцами национальной безопасности, в народе получила прозвище тонтон-макуты — люди-привидения — образ, происходящий из анимистического культа *воду*.

Заодно была проведена децимация армейского командования — чтобы неповадно было бунтовать. С тех пор банды тонтон-макутов, отличительная форма которых — синие джинсовые костюмы, красные галстуки и солнцезащитные очки особого фасона, наводили ужас на народ. Тонтон-макуты получали жалование, но основные средства к существованию, особенно в провинции, они добывали путем "самоснабжения", грабя местных жителей.

Точную картину повседневной жизни Гаити при Папе Доке нарисовал Грэм Грин в своем знаменитом романе "Комедианты". Страницы романа подчас производят впечатление гротеска, но страшная правда состоит в том, что это — суровый реализм. После опубликования романа писателю был закрыт въезд на Гаити.



Папа Док

В 1964 г. Франсуа Дювалье провел всенародный опрос, давший ему пост пожизненного президента, а в 1971 г., за три месяца до смерти передал этот пост по наследству сыну Жану Клоду, который немедленно получил прозвище Бэби Док. Передача была оформлена плебисцитом: "за" голосовали 2391916 человек, против — ноль. Первая половина прозвища нового президента была отчасти справедлива: парню еще не исполнилось тогда 19 лет, и специально ради него возрастной ценз для занятия "выборных" должностей был на время снижен (потом, когда он вошел в возраст, ценз повысили до прежнего уровня — 21 года). Однако по образованию новый Дювалье был уже не врачом, а законоведом.

При Бэби, как и при Папе, Гаити как была так и осталась самой бедной страной западного полушария и одной из самых бедных в мире. По уровню национального дохода Гаити находится в

замыкающем десятке среди примерно 160 стран и территорий, для которых ведется статистика ООН (около 63 долларов на душу населения). Официально средний годовой заработок составляет 280 долл., но на практике 80% работающих получают менее 130 долл. Однако более половины населения — безработны или частично безработны. Из каждых 10 человек — 8 или 9 неграмотны.

Плотность населения в Гаити — самая высокая в Латинской Америке (свыше 260 человек на кв.км), однако средний показатель не отражает крайнего малоземелья гаитянского крестьянства, то есть трех четвертей жителей страны. Государство занимает западную треть острова Гаити, густо пересеченную горами. Деревни теснятся в узких горных долинах, и обрабатываемой земли немного. Почти по всей стране царит настоящий голод. Медицина в зачаточном состоянии. Средняя продолжительность жизни — 45 лет. К традиционному набору классических болезней, в том числе и тропических, добавилась новая болезнь — СПИД, происхождение которой связывали именно с Гаити. Иностранцы туристы не желали более ездить на остров, что подкосило один из главных источников дохода — туризм. Число туристов со 139 тысяч в год упало до 40 тысяч. Почти два века понадобилось правителям страны, чтобы привести в полный упадок некогда процветавшую колонию — мирового поставщика кофе, сизаля, тропических фруктов. И тут семейство Дювалье внесло свой вклад: были хищнически вырублены тропические леса, дававшие экспортную древесину.

Бэби Док внес и свой вклад в стиль правления гаитянских президентов. Если его отец доминировал реальной властью и не придавал значения кичливым демонстрациям богатства, то сын оказался склонен к роскошной жизни. Президент умирающей от голода страны накопил на своих счетах в иностранных банках от 400 до 800 миллионов долларов (точных данных нет). Свадьба Жана Клода и Мишель Беннет, бывшей нью-йоркской секретарши, обошлась в три миллиона долларов, только на фейерверк ушло сто тысяч. Но и после свадьбы "мадам президент" обходилась стране недешево: ей ничего не стоило слетать на день в Париж на специальном самолете, чтобы закупить коллекцию мехов — вещь в гаитянском влажном тро-

пическом климате наиважнейшая. Предметом гордости самого Бэби Дока была прекрасная коллекция яхт и автомобилей.

Волнения начались почти сразу после июльского (99%) референдума. Сначала правительство не придавало им особого значения. Репрессии обрушились на католическую церковь: считалось, что за беспорядками стоит именно она (особенно нелюбовь диктатора к церкви усилилась после визита папы римского на Гаити, когда он резко осудил режим и обратился к народу со словами: "Я с вами!"). Несколько священников было избито, католическое радио "Солей" было закрыто, и его директор выслан из страны.

Но волнения не утихали. После убийства трех студентов во время антиправительственной демонстрации 28 ноября 1985 г. в гор.Гонаив они приобрели особо широкий размах, распространившись на полтора десятка городов и поселков. Накал протестов нарастал день ото дня. Такого не было за все 29 лет существования династии Дювалье. Сам Бэби Док, по-видимому, еще не сознавал, что часы отбивают уже последние удары, но военные и тонтон-макуты, надо полагать, уже поняли серьезность положения. Во всяком случае, действовали они относительно вяло, явно опасаясь вызвать ярость толпы. Лишь время от времени — как например, в конце января в Кап-Аитьен — войска решались на расстрел толпы.

Число жертв с обеих сторон было приблизительно равным. Толпы, вышедшие на улицы, были полны решимости. Как сказал один из наблюдателей: "Страх перед Дювалье уступил место страху перед тем, что Дювалье может еще остаться у власти". Похоже, что начиналась не революция, а бунт: никакие оппозиционные лидеры, никакая партия не заявили своей претензии на руководство восстанием (впрочем, некоторые дипломаты усматривают чью-то организованную руку в хорошо составленных неподписанных коммюнике, распространенных по стране в течение последних месяцев). "Долой Дювалье!" — главный и, пожалуй, единственный лозунг демонстрантов. В городах жгли дома, грабили магазины, вылавливали и убивали на улицах ненавистных тонтон-макутов. Стало

ясно, что Дювалье и его окружение более не контролируют ситуацию.

31 января представитель Белого дома объявил, что президент Дювалье покинул страну. Сообщение оказалось не ложным, но преждевременным. На следующий день Дювалье появился на телеэкранах с сообщением, что он "силен и тверд, как обезьяний хвост" (так гласит старое креольское присловье).

Между тем, в то время уже началось выкручивание хвоста. Вашингтон заявил, что положение с правами человека на Гаити таково, что сокращение финансовой помощи этой стране неизбежно. Посол США на Гаити К.Макманавей встретился с Дювалье и убеждал его уйти. Уговоры длились неделю.

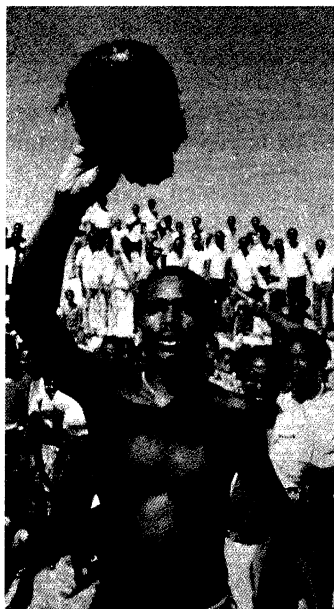
7 февраля Бэби Док понял, что игра проиграна. В два часа ночи в аэропорт столицы Порт-о-Пренс прибыли машины и грузовики с багажом президентской четы, а затем и автомобиль президента, где, кроме него, находилась "первая леди" Мишель и их малолетняя дочка Таня. В аэропорту уже ждал наготове самолет ВВС США, специально присланный в качестве одной из мер давления на колеблющегося президента. Мишель устроила перед самолетом последнюю истерику, когда ей разрешили взять с собой всего два чемодана. А затем Дювалье навсегда покинул пределы Гаити.



Диктатор сбежал!

Греция, Испания и Швейцария одна за другой отказали Дювалье в убежище. Франция решила пустить Бэби Дока с семьей лишь на неделю — пока кто-либо не согласится его подобрать: об этом Миттерана специально просили США, чтобы не затягивать удаление Дювалье.

На самом Гаити сообщение об уходе Дювалье было оглашено лишь спустя 4 часа после того, как самолет взлетел. В заявлении, записанном на пленку, Бэби Док провозгласил, что он "решил передать судьбу страны в руки военных." Сообщение это вызвало взрыв энтузиазма. Вспыхнула новая волна грабежей и поджогов — теперь уже на радостях. С новой энергией ловили и убивали тонтон-макутов. По неполным данным, число растерзанных составляет, примерно, 75 человек. Бросились к могиле старого Дювалье, разрыли ее, но она оказалась пустой (не бродит ли где-нибудь в виде зомби старый колдун?).



Останки близких и приспешников диктатора выброшены из могил

Тогда вытащили останки родных и приближенных Дювалье, разбили молотками черепа и кости и разбросали их по улицам. Военные, получившие из рук Дювалье власть, в отличие от тонтон-макутов, очень популярны — их обнимают на улицах, приветствуют как спасителей.

Военные немедленно создали Национальный правящий совет из 6 человек — типичную военную хунту. Во главе ее стал 53-летний генерал Анри Намфи, близкий друг Дювалье-отца. В число других вошли члены хунты — полковник Проспер Авриль, бывший адъютант бежавшего президента, Алекс Синеас — гражданское лицо, министр общественных работ при Дювалье, полковник Макс Валлес, бывший командующий президентской гвардией.

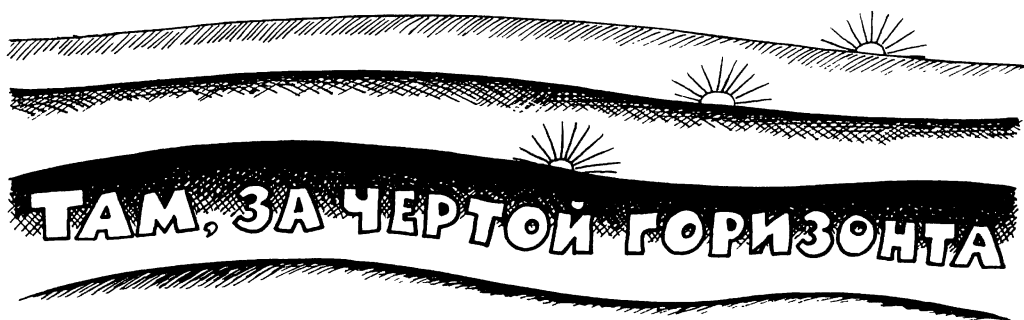
Вскоре было объявлено о создании кабинета министров из 19 человек — все они более или менее тесно были связаны с павшим режимом. Впрочем — что было делать? Грустная правда состоит в том, что едва ли не единственный гаитянин, обладающий качествами, достаточными для занятия правительственного поста, и в то же время не запятнавший себя коллаборантством, — это президент гаитянской лиги прав человека 60-летний Жерар Гург. Он тоже вошел в правящую хунту.

Пока хунта заявила о роспуске тонтон-макутов и об освобождении политзаключенных. Намфи сказал также, что сама хунта не имеет политических амбиций и скоро проведет выборы. Однако дата их пока не назначена.

Никто не может сказать сегодня, появилась ли у страны надежда, или спираль насилия просто начала новый виток.



Церемония воду



Комментирует Р. Бахтамов

I.

Одряхлевший призрак. – Роковая связь. – Когда понимающие люди вздрогнули. – Буря бесклассовой борьбы. – Никита Сергеевич и мальчик. – Такая у него натура. – Грустно, но интересно. – Когда и при каких обстоятельствах. – К вопросу о материализации духов. – Неоправданная конкретизация.

Давно ушли в прошлое времена, когда призрак коммунизма бродил по Европе. Потом призрак состарился, одряхлел и был переправлен на воображаемую границу земли и неба, к горизонту. Первыми обнаружили это анонимные авторы анекдотов, самые оперативные и чуткие историографы нашей эпохи.

Перемещение совершилось не сразу, не вдруг. Еще в 1918 году Ленин верил, что коммунизм рядом. Транспорт бесплатный, деньги ничего не стоят, вместо торговли – распределение по талонам. Прошло всего три года, и Владимир Ильич с печалью констатировал, что "на экономическом фронте, с попыткой перейти к коммунизму, мы к весне 1921 года потерпели поражение, гораздо более серьезное, чем какие бы то ни было поражения, нанесенные нам Деникиным и Пилсудским, поражение, гораздо более серьезное, более существенное и опасное".

Тут интересен не самый финал – он закономерен. Интересно другое: как Ленин, человек практического склада, мог верить в призрак через год после революции? Видимо, какую-то роль сыграл характер вождя, при всей своей гибкости весьма неэластичный. Но гораздо важнее другое. Мировая война, революция, национализация



привели к тому, что экономические *возможности* страны снизились до предела. Естественным следствием этого стало сокращение *потребностей*. Люди поверили, что хлеб, жилье, какая-то одежонка — вот все, что нужно человеку для счастья. Удовлетворить эти нехитрые потребности было и в самом деле нетрудно. Так что коммунизм вполне мог наступить, если бы цель не была роковым образом связана со средствами. А средства — национализация, рабочий контроль на предприятиях, замена торговли прямым распределением, продразверстка, — увы, не способствовали достижению даже той минимальной производительности, которая была необходима для великой цели.

Замечательно, что к этому выводу пришел сам Ленин: "Наша хозяйственная политика, — сетовал он, — в своих верхах оказалась оторванной от низов и не создала такого подъема производительных сил (точнее: создала такой провал. — Р. Б.), который в нашей программе признан основной и неотложной задачей. Разверстка в деревне, этот непосредственный коммунистический подход к задачам строительства в городе, мешала подъему производительных сил и оказалась причиной глубокого экономического и политического кризиса, на который мы натолкнулись весной 1921 года".

Покойный Иосиф Виссарионович учел ошибки предыдущего вождя и учителя. Голод 1933 года способствовал формированию у граждан разумных потребностей. Коллективизация, судебные процессы, концлагеря обеспечили необходимый подъем производительных сил и устранили опасность кризиса. Предпосылки для осуществления вековой мечты человечества были, таким образом, созданы.

Трудно сказать, почему ожидаемый марш-бросок не совершился. Когда после войны Иосиф Виссарионович, мягко улыбаясь в усы, сообщил одному рабочему, своему ровеснику, что надеется вместе с ним дожить до коммунизма, понимающие люди вздрогнули. Формальности особого значения не имели: можно было, например, просто объявить бесплатными соль и спички. Зато стало ясно, что если уже приближение к коммунизму сопровождалось ужесточением классовой борьбы, то пришествие коммунизма вызовет такую бурю борьбы бесклассовой, что тридцать седьмой год покажется освежающим ветерком.

Как-то я читал рассказ о городском мальчишке, который где-то на далеком полуострове впервые в жизни увидел горизонт. С трех сторон станцию окружала тайга, но впереди лес был вырублен, и там была отчетливо видна сопка, откуда дорога шла прямо в небо. Мальчик взобрался на сопку — небо отодвинулось. Спустился, поднялся на соседнюю... Спасла его случайность.

О Хрущеве много написано. Но до сих пор не создан психологический портрет этого удивительного человека. Прожженный партийный делец, переживший все процессы и чистки, опытный интриган, сумевший подняться к вершинам власти, он, видимо, сохранил в душе крестьянскую (или детскую?) веру в реальности. Он, например, знал, что на



пенсию в шесть рублей прожить невозможно; что коммунальная квартира на двадцать жильцов формирует не столько высокие идеалы коллективизма, сколько склоки; что исправительные лагеря не столько исправляют, сколько истребляют.

И коммунизм представлялся ему делом живым и слегка будничным. Ну там, сначала будет вдоволь хлеба и мяса; у каждого своя комнатка — пусть маленькая; лишние штаны — пусть москвошвеевские. Можно все это дать бесплатно? Можно. Ясное



дело, сперва нужно обогнать империалистов по стали и нефти — укрепить безопасность, создать фундамент, а там и начнем. Тем более, что эти, империалисты, никуда не идут, можно сказать, топчутся на месте. Если мы, к примеру, построим комбинат, даст он сталь? Хоть не самую легированную, а даст. И заводы построим, чтоб побольше тракторов и удобрений. А мужик, дай ему тракторы, удобрения, ну и малость зарплаты, вырастит хлеб — такая у него неистребимая натура. А хлеб, известно, всему голова: и мясу, и молоку, и маслу.

Грустно, но интересно и поучительно читать Программу КПСС, принятую на XXII съезде партии. Грустно потому, что на тебя рушится водопад слов — пустых, как консервные банки, блестящих, как стеклянные бриллианты. Слова эти, надо думать, Никита Сергеевич одобрил: без них с народом никак

невозможно. Но и настоял, чтобы в Программу включить факты и цифры. Должен же человек знать, когда и при каких обстоятельствах наступит коммунизм. Сколько же можно морочить людям голову и плодить анекдоты. Хоть бы и вот этот, про горизонт...

К самой идее материализации духов можно относиться по-разному. Но результаты процесса материализации — цифры и даты — в любом случае заслуживают внимания. Во-первых, хотя сама идея, несомненно, принадлежала Хрущеву, показатели определялись специалистами, а затем многократно обсуждались и проверялись. Иначе говоря, включенные в Программу цифры были *реальными* или, по крайней мере, казались реальными в начале шестидесятых годов.

Во-вторых, существовали, по-видимому, расчеты, которые давали основание думать, что достижение этих показателей позволит удовлетворить пусть и не все, но самые насущные потребности людей. А так как усилиями пропаганды гражданам СССР удалось внушить смутный ужас перед нищетой, в которой пребывает большая часть населения Запада, то наличие жилья, еды и одежды вполне можно было расценить как зримое свидетельство коммунизма.

Наконец, в-третьих (по счету, но не по значению), с момента падения Хрущева эти цифры в советской печати ни разу не упоминались. Их никто никогда не анализировал, хотя бы для того, чтобы доказать, что они ошибочны, или, напротив, порадоваться тому, что они достигнуты. Советская пропаганда сделала все, чтобы просто заставить о них забыть. Единственное обвинение, которое предъявлялось в этой связи Хрущеву, —

”излишняя (или неоправданная) конкретизация”. Иными словами, главный недостаток той Программы состоял в том, что она рассматривала коммунизм как нечто конкретное и осязаемое, имеющее временные границы и физические параметры. А следовательно нечто, поддающееся проверке.

II.

Мнимости и реальности. — Не станем сотрясать воздух. — Блага, которые нам угрожали. — Благородное искусство фокуса. — А ну, догони! — Неужто он заколдован? — Исторические корни частной собственности. — К негодной цели негодными средствами. — Победители явные и неявные. — А все-таки она развивается. — Сделав из нужды добродетель. — Будем справедливы.

В хрущевской Программе отчетливо различимы два элемента: показатели, описывающие уровень производства, с которого начнется коммунизм, и блага, которые в связи с этим обрушатся на граждан. Итак, к чему мы должны были прийти? Привожу сразу данные за два десятилетия, то есть к 1980 году:

общий объем промышленной продукции увеличится не менее чем в шесть раз и оставит далеко позади нынешний (1960 года. — Р. Б.) объем производства США; производительность труда вырастет в 4—4,5 раза и вдвое превысит этот показатель в США;

производство электроэнергии составит 2700—3000 миллиардов киловатт-часов; выплавка стали — 250 миллионов тонн в год;

общий объем продукции сельского хозяйства повысится в три с половиной раза, Советский Союз уже в первом десятилетии (1960—1970 гг.) перегонит Соединенные Штаты по производству основных сельскохозяйственных продуктов на душу населения;

валовое производство зерновых культур увеличится более чем в два раза, а их урожайность удвоится;

производство мяса возрастет почти в четыре раза, молока — почти в три раза;

производительность труда в сельском хозяйстве повысится в пять-шесть раз;

будет создана материально-техническая база коммунизма, обеспечивающая избыток материальных и культурных благ для всего населения.

Со времени принятия Программы 1960 г. прошло не двадцать, а двадцать пять лет. Этого достаточно, чтобы сделать некоторые выводы.

И в 1985 году Советский Союз по объему промышленной продукции значительно отстает от США, а производительность труда в советской промышленности примерно вдвое ниже американской. Производство электроэнергии составило в 1985 г. около 1400 миллиардов киловатт-часов; выплавка стали — примерно 153 миллиона тонн в год. Сведения о продукции сельского хозяйства туманны, но вполне очевидно, что и в этой области Советскому Союзу весьма далеко до США даже по валовым показателям. С некоторых пор данные о производстве зерновых в Советском Союзе не публикуются; известно, однако, что страна ежегодно закупает за границей (прежде всего в той же Америке) крупные партии зерна. Производство мяса и молока растет крайне медленно — если вообще растет. Производительность труда в сельском хозяйстве в четыре-пять раз ниже, чем в Соединенных Штатах. Иначе говоря, материально-техническая база, обеспечивающая избыток материальных и культурных благ, не создана, и на ближайшие пятнадцать лет такая задача не ставится.

Этот перечень достижений, сам по себе достаточно внушительный, легко пополнить. Из докладов М. С. Горбачева в апреле и июне следует, что уровень технического оснащения всех отраслей народного хозяйства крайне низок, что сроки создания и освоения новой техники и сейчас недопустимо высоки, что качество продукции ужасно, что руководство хозяйством и планирование все еще требуют коренного совершенствования, что

эффективность капитальных вложений не растет, а падает, что советской науке так и не удалось занять ведущее положение в мире.

Каждому объективному наблюдателю ясно, что речь идет не о частных неудачах и небольших отклонениях от планов, а о полном провале. Не станем сотрясать воздух стенаниями, не будем ломиться в открытую дверь, доказывая, что партии, которая не смогла выполнить ни *одного* пункта своей Программы, полагалось бы незаметно исчезнуть, уйти в небытие. Выразимся деликатнее: ей надлежало хотя бы *публично* признать неудачу, проанализировать ее причины и объяснить, почему, вопреки торжественному обещанию партии, *нынешнее поколение советских людей так и не дожидо до коммунизма*.

Боюсь, что ссылка на волюнтаризм Хрущева не поможет. Самое словечко это давно вышло из моды. Да и не он один разрабатывал и принимал Программу, и уж вовсе не он ее выполнял. После его падения прошло двадцать лет, сменилось три вождя. А коммунизм не только не приблизился, но как будто даже отдалился. Недавно мы с прискорбием узнали, что путь к нему преграждает "исторически длительный период развитого социализма". Час от часу не легче.

Впрочем, стоит ли горевать? Давайте посмотрим, что ожидало нас в том славном 1980-м, когда коммунистическому далеко, куда так рвался поэт, надлежало стать явью. Итак:

рост реальных доходов на душу населения в 3,5 раза, в результате чего будет достигнут самый высокий жизненный уровень по сравнению с любой страной капитализма;
 благоустроенная квартира для каждой семьи;
 бесплатное пользование коммунальным транспортом;
 сокращение рабочего времени до 35 часов в неделю и меньше;
 оплачиваемый месячный отпуск для всех рабочих и служащих;
 ликвидация ночных смен;
 переход к бесплатному общественному питанию на предприятиях;
 бесплатное обеспечение медикаментами и санаторным лечением;
 бесплатные квартиры и коммунальные услуги;
 бесплатное пользование некоторыми видами бытового обслуживания.

О том, в какой мере выполнены эти пункты Программы, пусть судит читатель. Коснемся лишь того, о чем читатель может и не знать. Насколько выросли за 20 лет реальные доходы населения СССР, вопрос темный, — по официальным данным, средняя зарплата составляет сейчас 190 рублей в месяц. Для сравнения: средняя месячная зарплата в США — 1200—1500 долларов, то есть в пять—семь раз выше. Никакие фонды "общественного потребления" (включая оплату жилья и медицинское обслуживание) этой разницы не покрывают. Благоустроенную квартиру на Западе имеет практически каждая семья. Рабочая неделя продолжительностью в 35 часов и месячный отпуск приняты во многих странах. Работа в ночную смену (там, где она практикуется) — дело добровольное и оплачивается очень высоко. Бесплатное общественное питание на предприятиях — явление обычное. Пользование лекарствами бесплатно (или за символическую плату) тоже достаточно распространено. В целом ряде стран (например, в Израиле) поездка на работу и с работы, — а часто и содержание собственной машины, — возмещается предприятием.

Что же остается? Бесплатное жилье, коммунальные услуги, "некоторые виды бытового обслуживания". Бесплатная квартира — вещь, конечно, неплохая. И все же — не густо. Похоже, что советским гражданам с самого начала обещали блага, которыми в общем-то уже давно обладают люди, стонущие под игмом капитала.

Но дело даже не в этом. Гораздо важнее, что победный рефрен "бесплатно" лишен экономического смысла. Советское государство само ничего не производит, источник

его богатства, как и всякого богатства (это убедительно показал Маркс), — прибавочная стоимость, то есть часть стоимости продукта, которую работодатель удерживает у тех, кто этот продукт производит. Если государство дает человеку что-то, например, квартиру, "бесплатно", то это значит, что предварительно оно изъяло стоимость его квартиры из того, что он заработал. Фокусы такого типа — из кармана в карман — охотно демонстрируют в цирке.



Однако и это не главное. Умение советских пропагандистов показывать несложные, но эффектные экономические фокусы хорошо известно. Суть в другом: если тот уровень производства и благосостояния, который прежняя Программа именвала коммунизмом, достигнут на Западе, значит, он достижим и на Востоке, — тем более, что природными ресурсами Советский Союз богаче, чем любая другая страна в мире. Что же в очередной раз помешало партии выполнить свои торжественные обещания и решить в общем-то реальную задачу — догнать Соединенные Штаты по уровню производства и благосостояния?

Казалось бы, чего проще: догони, объяви этот уровень матбазой коммунизма, и на всех парах дальше — к сияющим вершинам. Не получилось. Подумать, так это, пожалуй, даже странно. Великая цель, самое пере-

довое учение, партия, чьи помыслы целиком отданы, энтузиазм масс и все такое; а догнать не удается. Черная магия. Неужто он заколдован, этот коммунизм?

Похоже, да. Неслучайно, видимо, единственным в истории воплощением идеалов коммунизма остается первобытно-общинный строй: предельно низкий уровень производства — предельно низкие (на границе жизни и смерти) возможности — предельно низкие потребности. Общая (общинная, общенародная) собственность была в тех условиях вынужденной. И перестала быть таковой, едва уровень производства перешел некую границу, и у людей появились потребности, не сводимые к простому поддержанию жизненных функций организма.

С этого момента возникает сложная функциональная игра возможностей и потребностей, где оба участника постоянно меняются местами:



потребности стимулируют расширение возможностей, рост возможностей формирует новые потребности. Экономическим отражением этой игры стал свободный рынок с его изменчивой структурой спроса и предложения, конкурентной борьбой, зигзагами цен.

Позволим себе маленький ученый экскурс в прошлое. Одна из первых потребностей человека, вышедшего из состояния стадности, — потребность в частной собственности. Исторические корни этой потребности можно усмотреть в стремлении обезопасить *себя* от голода и жажды, скопив какие-то запасы на черный день, или в инстинкте продолжения *своего* рода, или, наконец, в желании хоть как-то выделиться из массы, утвердить *свое*, отличное от других "я". Факт, однако, что потребность иметь нечто *свое* — дерево, кусок земли, одежду, орудие труда, оружие — проявилась очень рано: с того момента, как человек научился добывать или производить больше того, что абсолютно необходимо для жизни.

Но, однажды возникнув, эта потребность сделалась одним из важнейших стимулов прогресса человечества, ибо определила многообразие его целей и путей их достижения. Общество, где все люди имели бы одинаковые и раз навсегда фиксированные потребности, было бы обречено на вырождение; во всяком случае, оно не могло бы развиваться.

Провозгласив принцип "от каждого — по способностям, каждому — по потребностям" и одновременно ликвидировав частную собственность, корифеи коммунизма предприняли попытку достичь, как сказал бы юрист, негодной цели негодными средствами. Мало того, что потребности разных людей различны, изменчивы, подчас взаимно противоречивы. Дело еще и в том, что присвоив себе право определять эти потребности и заранее исключив из перечня все, что не соответствует их теоретическим представлениям (потребность крестьянина иметь свою землю; хорошего работника — зарабатывать больше, чем плохой; покупателя — выбирать товары; капиталиста — их производить и получать прибыль; писателя — писать, что он хочет; читателя — читать, что ему нравится; ученого — выдвигать "сумасшедшие идеи"; всех людей — иметь свое мнение), отменив все эти потребности, вожди подорвали самый механизм прогресса. Не уничтожили, нет, — это им не под силу, ибо стимулы — деформированные, искореженные, загнанные в подполье — все-таки действуют, проявляясь и во второй экономике, и в коррупции, и в системе секретного распределения благ и привилегий для верхушки.

Понятно, однако, что этот многоликий коммунистический уродец не может заменить механизм свободного рынка — механизм открытый, всеобъемлющий, питаемый игрой возможностей и потребностей, спроса и предложения, так же как другой недоносок — социалистическое соревнование — не в силах заменить конкуренции, этого безостановочного поиска новых путей, новых средств, новых методов.

Скажут, что механизм этот небезопасен, что в конкурентной борьбе есть не только победители, но и жертвы. Это правда. Но, кажется, еще Чернышевский сказал, что история — не Невский проспект. Да, мы не забыли классическую критику капитализма; да, развитие экономики в условиях свободного рынка — процесс жестокий, но *естественный*. И не стоит забывать, что в конкурентной борьбе, кроме явных победителей, есть скрытые — мы с вами. Ведь борьба ведется за нас, и это мы, покупая один товар и отвергая другой, расставляем оценки конкурентам. И это наши потребности — свои у каждого — вынуждают конкурентов искать новые возможности, которые в свою очередь порождают наши новые потребности. Все это, вместе взятое, и образует прогресс.

Западные специалисты, стараясь постичь загадочный механизм советской экономики, с изумлением и даже восторгом констатируют: а все-таки она развивается. Смотрите: построили электростанцию — и, как ни странно, она дает ток; проложили железную дорогу — по рельсам ходят поезда; пробурили скважину — ударил нефтяной фонтан. Чудо! Для специалиста само собой разумеется, что любое такое предприятие экономически оправдано, выгодно. Специалист не в состоянии вообразить исследовательские

институты, где тысячи сотрудников изнывают от безделия; представить себе заводы минеральных удобрений, чью продукцию колхозники выбрасывают в канавы; фабрики, которые заняты превращением сырья в брак.

Мне уже случилось цитировать отрывки из статьи академика В. А. Трапезникова "Еще раз о качестве, техническом прогрессе и стимулах"; основная мысль ученого настолько интересна, что я хочу привести этот кусок полностью: "...Развивая экономическое соревнование двух систем, не следует забывать и о стимулах, действующих в капиталистической системе. Там мощный стимул, ускоряющий научно-технический прогресс, — это конкуренция как внутри страны, так и между странами на мировых рынках. Она ведет к "волчьему закону" — праву сильного. Она усиливает эксплуатацию трудящихся. Но с точки зрения научно-технического прогресса стимулы здесь крайне сильны: перед каждой фирмой стоит вопрос "быть или не быть". Если фирма не использует достижения науки и техники, не выдерживает сроков поставки или выпускает недоброкачественную продукцию, покупатель от нее отворачивается, и фирма разоряется. Действие это автоматическое. Стимул "быть или не быть" заставляет фирму интенсивно думать о новых видах продукции, новых технологиях, стремиться обогнать другую фирму."

В нашей стране стимул "быть или не быть" в полную силу для всего народа действовал в период Великой Отечественной войны. В настоящее время он действует у нас в оборонной промышленности... В результате этого технология и качество нашей оборонной промышленности оказываются более высокими, чем в гражданских областях". (Правда, 20 октября 1985 г.)

Конечно, акценты в статье смещены. Легко догадаться, что стимул "быть или не быть" и в оборонной промышленности не слишком органичен, ибо навязан ей сверху — теми, чья власть держится на оружии. Столь же очевидно, что "гражданские области" их мало волнуют, — сами-то они потребляют другую продукцию. В условиях частной собственности и свободного рынка это не имело бы особого значения, ибо здесь производитель зависит не от власти, а от потребителя. Но узурпировав монополию на средства производства,

советское государство создало новую ситуацию; ситуацию, при которой потребитель зависит от производителя, а производитель — от вышестоящих инстанций. Эта противостественная система связей позволила создать экономику нового типа: расхитительную, замкнутую на себя и своих хозяев. Машину, перемальвающую максимальное количество сырья и трудовых ресурсов и производящую минимум полезной работы; машину, чей КПД примерно соответствует атмосферной машине Ползунова. И все-таки машина работает? Конечно. Двигатель Ползунова тоже работал.



Парадоксально, что строй, объявивший себя историческим преемником капитализма на том основании, что он один способен удовлетворить *все* потребности человека, — вот уже почти семь десятилетий не в состоянии справиться с неизмеримо более простой задачей — накормить и одеть людей, обеспечить их нормальным жильем. Замечательно, впрочем, и то, что советская пропаганда даже из нужды сделала добродетель. Из программы в программу, из пятилетки в пятилетку кочует величественный лозунг: накормить, одеть, дать крышу над головой. Другие народы просто живут — им не к чему стремиться, у них нет цели, нет перспективы. Это ужасно. Нам повезло: у нас есть цель, есть *задача*. И похоже, что задана она нам на вечные времена, ибо система построена так, что в ее рамках задача неразрешима.

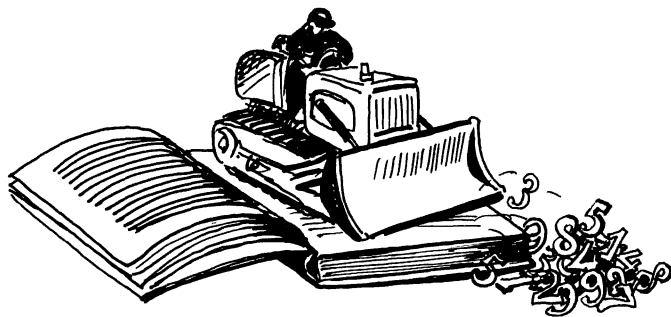
Будущие историки станут ломать себе голову, пытаясь постичь, как во второй половине XX века, в эпоху атомной энергии, освоения космоса, компьютеров, научно-технической революции самая богатая природными ресурсами страна умудрилась обеспечить своему народу полунищенское существование. Но парадокс здесь кажущийся. Экономика, построенная с таким расчетом, чтобы удовлетворить потребности тех, кто был ничем и вдруг стал всем, — со своим назначением справляется. А что касается удовлетворения наших с вами потребностей, то будем справедливы: подобная задача никогда всерьез и не ставилась.

III.

Два очередных исторических. — Программа без программы. — Число посадочных мест на острие иглолки. — Беда с капитализмом. — Зачем Иосиф Виссарионович разглаживал усы? — Победное крикание. — Не там и не так. — Получается ерунда. — Исчез кризис капитализма. — А вдруг станет еще лучше? — Пора переходить на рысцу.

В октябре и ноябре центральные газеты напечатали один за другим два очередных исторических документа: проект Программы Коммунистической партии Советского Союза (новая редакция) и проект "Основных направлений экономического и социального развития СССР на 1986—1990 годы и на период до 2000 года".

Первое впечатление: названия (не говоря уже о самих документах) могли бы быть покороче. Но первое впечатление не всегда самое правильное. И это как раз тот случай. Составители этих документов именно потому столь утомительно многословны, что им давно уже нечего сказать по существу.



Что, например, отличает новую Программу КПСС? Только то, что это вовсе *не программа*, ибо никакого плана действий она не содержит. Программа в прежней редакции была нереальной. О новой этого не скажешь: из старой Программы аккуратно выскоблено все мало-мальски конкретное, все, что поддавалось проверке временем. Уцелели лишь две цифры: производственный потенциал

страны уже до конца 2000 года должен быть удвоен, а производительность труда должна увеличиться за пятнадцать лет в 2,3—2,5 раза.

Производственный потенциал — понятие расплывчатое, особенно в наш век стремительной смены того, чем этот потенциал определяется. С производительностью проще: повысив нормы в соответствующее число раз, можно объявить это "важным рубежом на пути к высшей производительности труда... без чего, — как учил В. И. Ленин, — окончательный переход к коммунизму невозможен".

Не следует думать, что цифры, изгнанные из новой Программы КПСС, вовсе исчезли. Нет, они несколько усохли и в этом виде перекочевали в "Основные направления..." Резон тут двойной. Во-первых, небольшой прирост производства картошки как-то не совсем вяжется с величественной поступью коммунизма. Во-вторых, Программа — штука ответственная, в ней все на виду. Хватит того, что с прежней Программой наших вождей без конца хватили за руки; с этой — не схватишь. А "Основные положения" — документ технический. Где-то перебрали, где-то недобрали — дело житейское...

Итак, очень легко сказать, чего в новой Программе нет: нет программы. Труднее определить, что в ней есть. Разумеется, слова; слов более чем достаточно. Но должны же эти слова что-то обозначать, какую-то, если не программу, то хотя бы позицию?

Специалисты по советской словесности найдут в новой редакции немало любопытного. Сравнив ее со старой, они, несомненно, обнаружат различия: такие-то слова исчезли, а такие-то, наоборот, появились. Программа модернизирована.

Я тоже мог бы проделать эту работу, но не уверен, что стоит. Когда Программа пишется не для того, чтобы ее выполнять, а только затем, чтобы произвести запланированное впечатление, так ли уж важно, какие для этого выбраны



слова? Программа усовершенствована в том же смысле, в каком совершенствовались позиции участников средневековых диспутов о количестве чертей, могущих разместиться на острие иголки.

Одно время считалось, что число посадочных мест на острие безгранично. Затем, однако, специалисты установили, что площадь, занимаемая каждым чертом, — величина хоть и малая, но конечная. А поскольку поверхность острия тоже ограничена, то даже теоретически число чертей на каждом острие не может превышать такое-то шестизначное число. Вывод, в принципе убедительный, если, конечно, принять исходные постулаты...

Так вот, в рамках примерно тех же постулатов подверглись модернизации два основных словесных пласта: рассуждения о капитализме и социализме.

С капитализмом — беда. Полностью, как казалось, загнивший уже в эпоху Маркса, он в конце XIX—начале XX века перескочил в высшую (эх, лучше бы Владимир Ильич сказал: низшую, последнюю) свою стадию — империализм. К середине столетия он загнил так, что Иосиф Виссарионович, беседуя в Ялте с Черчиллем и Рузвельтом, вынужден был зажимать нос — делая вид, что разглаживает усы. Во времена же Никиты Сергеевича капитализм буквально смердил. Естественно, что эта его главная отличительная черта надлежащим образом отражена в Программе шестидесятого года.

Послушаем:

”Если XX век — век колоссального роста производительных сил и развития науки — еще не покончил с нищетой сотен миллионов людей, не принес изобилия материальных и духовных благ всем людям на Земле, то в этом повинен только капитализм...”

”Империализм вступил в период заката и гибели. Неотвратимый процесс разложения охватил капитализм от основания до вершины: его экономический и государственный строй, политику и идеологию...”

”Производственные отношения капитализма слишком узки для научно-технической революции...”

”Его закономерностью является отставание платежеспособного спроса трудящихся от роста производства...”

”Жизнь полностью подтвердила марксистское положение об усилении пролетаризации в капиталистическом обществе...”

”Углубляются противоречия между главными империалистическими державами...”

”Человечество не хочет и не будет мириться с изживающей себя системой капитализма...”

”Мировая капиталистическая система в целом созрела для социальной революции”.

По-моему, хватит. Читаешь Программу в той редакции и прямо-таки слышишь треск разваливающейся капиталистической хибары и победное крикание возносящихся ввысь небоскребов социализма. Подвела авторов любовь к наглядности. Требовалось показать, какое же это будет изобилие через 20 лет. Представляете, всего будет больше, чем в Америке. И вот прошло четверть века, но больше, чем в Америке не стало. Есть даже основания подозревать, что некоторых вещей стало меньше, чем в шестидесятом.

И страшный голод обрушился почему-то не на капиталистический мир, а на новую социалистическую Эфиопию. И с научно-технической революцией сплошные неувязки: она происходит где-то не там и как-то не так. Не сразу и поймешь, рамки какого общественного строя для нее узки. И с закономерностью капитализма неясно: то ли платежеспособный спрос отстает от роста производства, то ли, напротив, капиталистическое производство — не в пример социалистическому — развивается такими темпами, что опережает спрос. Если так, хорошо это или плохо? А главное — похоже, что человечество намерено еще долго мириться с изживающей себя системой капитализма, и, следовательно, означенная система не созрела для социальной революции. Печально, но факт: взгляните, с какими муками ограниченный контингент человечества одолевает капитализм в Афганистане...

В трудном положении оказались авторы новой редакции. Разумеется, если факты противоречат теории, тем хуже для фактов. И все-таки нынешнему генсеку, человеку современному (возраст, два вуза, жена — доктор философии), дремучее невежество не пристало. А тут еще, недели за две до Программы, ”Литературная газета” напечатала



В трудном положении оказались авторы новой редакции. Разумеется, если факты противоречат теории, тем хуже для фактов. И все-таки нынешнему генсеку, человеку современному (возраст, два вуза, жена — доктор философии), дремучее невежество не пристало. А тут еще, недели за две до Программы, ”Литературная газета” напечатала

статью своего политического обозревателя Федора Бурлацкого, если не ошибаюсь, тоже доктора наук. Бурлацкий пишет: "Если научно-технический прогресс является целью, а не средством, тогда Запад действительно создает совершенную "электронную" цивилизацию". И дальше: "Конечно, технологический прогресс многократно увеличивает производительность труда, разнообразие товаров потребления, коренным образом меняет материальные основы человеческого существования". И еще: "При растущем изобилии товаров будет нетрудно бросать куски с пиршественного стола всем слоям, даже париям".

Что же получается? Ерунда какая-то. С одной стороны, строй, который развивает производительные силы столь быстро, что может себе позволить "бросать куски" даже париям; с другой — система, которая вынуждена ограничивать доступ в закрытые распределители даже избранным, ибо и на них не хватает, вынуждена из Программы в Программу клясться ускорить прогресс, обеспечить рост производства, повысить производительность труда... потому что в натуре ничего этого не происходит.

Хочешь не хочешь, а обстоятельства вынуждают умерить красноречие. Скажем, вот странность: в новой Программе исчез кризис капитализма. То есть, конечно, исчез не сам кризис (без него никак невозможно), а исчез раздел четвертый прежней Программы — "Кризис мирового капитализма".

Опытный человек поймет, что причина тут не в редакционных пристрастиях авторов. Причина в том, что, "пытаясь приспособиться к изменившейся обстановке, капитализм постоянно маневрирует", что "буржуазное государство... стремится поставить себе на службу новейшие научно-технические достижения", что "механизм эксплуатации стал сложнее, изощреннее", что "классовая борьба трудящихся временами вынуждает капитализм идти на частичные уступки, на определенные улучшения условий труда, его оплаты, социального обеспечения", что "империализм оказывает жестокое сопротивление общественному прогрессу, предпринимает попытки остановить ход истории, подорвать позиции социализма, взять социальный реванш во всемирном масштабе", что, наконец, "перед лицом грозящей катастрофы есть единственно разумный, единственно приемлемый выход — мирное сосуществование государств с различным общественным строем".



Едва ли тут нужны пояснения. Впечатление такое, что советские руководители готовы слегка притормозить "ход истории", если империализм в свою очередь откажется от идеи взять социальный реванш и согласится признать, что в мире могут существовать государства с различным общественным строем.

Несколько приглушенно звучит в новой редакции другая важная музыкальная тема — марш-броска к коммунизму. Вроде бы все привычные мелодические обороты на месте, а аранжировка иная, с упором на светлое настоящее. Социализм — полный, развитой — отныне станет цельным (один мой знакомый заметил, что тут больше подошел бы термин *сепарированный*, поскольку если одним социализм дает сливки, то другим — слегка подкрашенную молоком воду, обрат). И этот цельный социализм обладает столь замечательными качествами, что не совсем ясно, стоит ли менять его на светлое, но сомнительное будущее. А вдруг станет еще лучше?

Соответственно и тема перехода к коммунизму трактуется по-другому. Старая Программа рублила с плеча: в течение двух десятилетий создадим маттехбазу коммунизма — и никаких гвоздей. Нынешняя куда деликатнее: между социализмом и коммунизмом нет резкой грани, развитие социализма, все более полное раскрытие... укрепление, то да се... вот это и означает "действительное движение общества к коммунизму". Значит, особого оповещения не ждите, его не будет. Появится в магазинах вареная колбаса — важная веха, а уж копченая или, к примеру, масло — целый этап. Так помаленьку, веха за вехой, этап за этапом, и дошагаем.

Зато весьма отчетливо звучит в нынешней редакции Программы несколько неожиданый мотив: необходимость ускорения социально-экономического развития. Это еще что такое? Шагали, шагали, вдруг выяснилось, что надобно переходить на рысцу. Оказывается, "в 70-е — начале 80-х годов в развитии страны наряду с достигнутыми и бесспорными успехами имели место определенные неблагоприятные тенденции и трудности. В значительной мере они связаны с тем, что не были своевременно и должным образом оценены изменения экономической ситуации, необходимость глубоких сдвигов во всех сферах жизни, не проявлялось должной настойчивости в их осуществлении".

Советский официальный жаргон давно уже стал предметом специальных филологических исследований. Советский язык увертлив и извилист, как уж. Требуется усилие, чтобы оценить значение этого пассажа. Экономика социализма — скажем прямо — с самого начала была ужасающе неэффективна. Но если раньше это ее имманентное свойство как-то маскировалось высокими темпами развития ("раньше у нас не было авиации, теперь она у нас есть"), то в 70-е годы упали и темпы.

Велик соблазн порассуждать о том, почему "определенные неблагоприятные тенденции" требовали *сдвигов во всех сферах жизни* и о каких именно сдвигах идет речь. Однако центр тяжести всего этого пассажа не здесь, а в неприметной фразе о *должной настойчивости*, которая своевременно не была проявлена.

Почему не была? Ведь в чем другом, а в настойчивости вождям социализма не откажешь — вспомним коллективизацию. Но уничтожение крестьянства и подрыв самих основ сельского хозяйства волновали их мало, ибо были направлены в конечном счете на *усиление* власти партийной олигархии; и, напротив, те реформы в экономике, которые давно напрашиваются, связаны с *ослаблением* этой власти. Отличие решающее. Потому-то Горбачев, заявивший себя при вступлении на партийный престол поборником новой экономической политики, вдруг скис и начал бормотать нечто невразумительное о ведущей роли партийных организаций и неисчислимых благостных последствиях станхановского движения.

Мне возразят, что слова о необходимости перемен остались, вошли в новую редакцию Программы. Слова — да. Их очень много, этих слов: об ускорении научно-технического прогресса, перестройке структуры производства, расширении самостоятельности предприятий, хозрасчете, качестве продукции...

На тех, кто не читал (или успел забыть) Программу в прежней редакции, эти слова, может быть, и произведут впечатление. Ведь они, в сущности, рассчитаны на тех, кто по молодости лет не знает, что все это уже было. И почти в тех же самых выражениях.

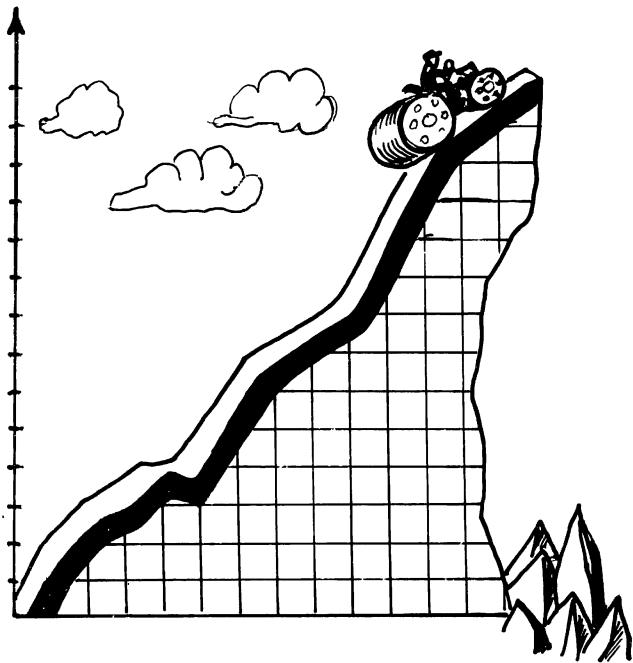
Вам нужны примеры? Пожалуйста. "Максимальное ускорение научно-технического прогресса — важнейшая общенародная задача...". "Партия будет всемерно содействовать дальнейшему усилению роли науки...". "Систематическое повышение качества продукции является обязательным требованием...". "В рамках единого народнохозяйственного плана будут и дальше расширяться хозяйственная самостоятельность и права местных органов и предприятий...". "Необходимо всемерно усиливать хозяйственный расчет..."

Все это — цитаты не из новой, а из старой Программы. Верно, при проведении всех этих мер в жизнь не было проявлено должной настойчивости. Но, боюсь, и не будет.

И все-таки должно же быть что-то хоть формально новое (ведь прошло 25 лет) в нынешней экономической политике партии? Конечно. Таких новинок — в Программе и в "Основных положениях" — я насчитал три.

Первая. "Будет... усиливаться воздействие потребителя на технический уровень и качество продукции". Расшифровать эту загадочную фразу я затрудняюсь. Известно, что во всем несоциалистическом мире технический уровень и качество продукции определяет потребитель — и никто иной. Так что новая формула сродни другой (тоже, кстати, достаточно актуальной): "Будет усиливаться воздействие судей на выносимый ими приговор".

Вторая: "Перевести в двенадцатой пятилетке все отрасли экономики на новые методы хозяйствования". Об этих новых методах говорено достаточно. Суть их в том, что предприятию предоставлено право самому разрабатывать план, а вышестоящим инстанциям, начиная с объединения, — право менять этот план по своему усмотрению.



Вначале, когда экспериментальных предприятий было мало, эта сомнительная честь подкреплялась кое-какими неофициальными привилегиями: планы таких предприятий менялись в последнюю очередь, а сырьем и материалами их обеспечивали в первую. Естественно, что с расширением круга экспериментальных объектов блюсти их особое положение становилось все труднее, ведь привилегии — удел немногих. Возникла конфузная ситуация, описанная в газетной статье под названием "Что высветил "Сириус": "Самый благодатный 1984 год эксперимента остался далеко поза-

ди. Более реальный, а главное — по сырью и материалам хорошо сбалансированный тот план оказался коллективу под силу. Но теперь ситуация изменилась: все входит снова в обычные рамки недоработок. Вот этот этап эксперимента и высветил "Сириус" (*Правда*, 17 октября 1985). Можно себе представить, что высветится, когда на новые условия переведут все предприятия...

Третье и последнее новшество: "Деятельность предприятий и объединений будет все более регулироваться экономическими нормативами длительного действия..." Проще говоря, будет установлен предел той части прибыли предприятия, которую государство изымает в свою пользу. Ныне этого потолка нет, так что "инстанции" строят свои отношения с предприятием на принципах чистого грабежа и разбоя.

Вроде бы и разбойнику должно быть ясно, что всякий раз обирать жертву до нитки невыгодно ему самому: жертва потеряет вкус к накоплениям и перестанет трудиться. Так-то оно так, но инстинкт сильнее. Самое большее, на что пока решился М. С. Горбачев, — установить постоянный норматив для одного ведомства: министерства лесного хозяйства Белорусской ССР...

IV.

И еще раз цифры. — Государственная тайна. — Вызывающе нежизнеспособна. — Дорога в никуда. — Проклятый перекресток. — Открытие. — От чего зависит человеческий фактор. — Экскурс в сферу лингвистики. — В защиту Богомолова. — Тяжелая рука судьи. — Случайность или закономерность? — Побочный продукт жизнедеятельности, или несколько слов о халве.

Если Программа КПСС витает в эмпириях цельного социализма и светлого коммунистического завтра, то "Основные направления" подчеркнута сухи, конкретны, деловиты. Цифры, цифры и еще раз цифры. Предполагается, видимо, что напора всех этих миллионов и миллиардов не выдержит никакой скептицизм.

Посмотрим, однако, что это за напор. Анализ естественно начать с сельского хозяйства: от его состояния зависит уровень жизни народа, работа многих отраслей промышленности. "Осуществить", "усилить", "улучшать", "последовательно укреплять" — все это привычно. Но вот, наконец, конкретная задача: "Довести в 1990 году валовой сбор зерна до 250—255 млн. тонн". Странно, но цифры не впечатляют. Ба, да ведь почти тот же уровень (238—243 млн. тонн) был запланирован на предшествующую пятилетку, 1980—1985 годы.

Запланирован — и не достигнут. А каков же валовой сбор зерна сейчас: в прошлом или нынешнем году? Государственная тайна. Никто не знает. По расчетам западных специалистов, все последние годы он колеблется в пределах 160—195 млн. тонн. Если так, то предусмотренные планом показатели роста — чистая фантастика. Одно из двух: либо партруководство изобрело принципиально новый способ выращивания злаков, который оно пока держит в секрете, либо в план включена цифра, ниже которой планировать было просто неловко — получилось бы, что предусмотрен не подъем, а спад.

Вообще из всех тупиков советской экономики сельскохозяйственный — самый глухой, самый безнадежный. Один из журналов, выходящих на Западе, сравнил реальное производство основных продуктов питания на душу населения в 1978 году с гипотетическими показателями 1990 года. Получилось вот что (в кг):

	1978	1990
Зерно	901	886
Сахарная свекла	359	328
Картофель	347	319
Овощи	105	143
Мясо	60	74
Молоко	364	379
Яйца (шт.)	250	230

Из таблицы следует, что не только улучшить положение, но даже *планировать* улучшение власти уже не могут. Но мы этому уже давно не удивляемся. Из тех же "Основных направлений" следует, что в одиннадцатой пятилетке "на укрепление материально-технической базы колхозов и совхозов, всего агропромышленного комплекса направлена третья часть всех капитальных вложений". Ясно, что если бухнуть туда оставшиеся две трети, результат будет тот же. Система, как кто-то выразился, вызывающе нежизнеспособна.

В промышленности тупик не столь очевиден. Выпуск промышленной продукции намечено увеличить за 15 лет в два раза. Людям, не знакомым с механикой сложных процентов, этот рост покажется ошеломительным: около семи процентов в год. На самом деле он много скромнее — 4,7 процента, что близко к нынешним темпам. Но и этот показатель сомнителен: вспомним, что первоначальный вариант "Основных направлений" Горбачев вернул на доработку.

К сожалению, и в "доработанном" виде рубежи двенадцатой пятилетки никак не способны поразить воображение. Особенно ощутимо топтание на месте в так называемых базовых отраслях промышленности. Если сейчас добыча нефти составляет пример-

но 600 млн. тонн в год, то план 1990 года — 630—640 млн. тонн; те же данные для угля: 1985 год — 723, 1990-й — 780—800 млн. тонн. Выпуск чугуна и стали должен, видимо, поддерживаться на нынешнем уровне; об этом свидетельствует такая, например, фраза: "довести в 1990 году выпуск готового проката до 116—119 млн. тонн без роста производства чугуна". Даже выпуск вечно дефицитного цемента предполагается увеличить всего на 10—11 млн. тонн — рывок не слишком значительный.

Короче, магия больших цифр ушла в прошлое. Уровень производства одних видов продукции (скажем, нефти) достиг потолка; увеличение выпуска других (чугуна, стали) связано с чрезмерными затратами. Вообще-то ничего необычного тут нет: в любой стране рано или поздно наступает период *насыщения*. К примеру, производство черных металлов в США и Западной Европе уже давно не растет, даже снижается. Правда, в промышленно развитых странах насыщение определяется *потребностями*, а в СССР — *возможностями*. Разница.

Но дело не только в этом. Все страны Запада давно перешли на интенсивный путь развития, при котором рост идет главным образом за счет улучшения *качественных* показателей (повышения производительности труда, снижения энерго- и материалоемкости, увеличения долговечности изделий и т. д.). Советский Союз все еще бредет экстенсивным путем.

По-видимому, советские вожди понимают, что это дорога в никуда. Поэтому призывы изменить ориентацию, осуществить решительней поворот к качественным показателям звучат все громче, я бы сказал, все истеричнее. Но экономика — не военный плац, где достаточно скомандовать "Кру-угом!", и все войско повернется. Для экономического поворота нужно изменить систему производственных отношений. А это именно

тот перекресток, на котором интересы экономики и политики (или иначе: населения и аппарата) кардинально расходятся. Нетрудно сообразить, чьим интересам отдается предпочтение.

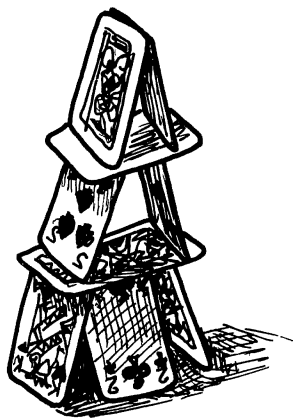
И Программа, и "Основные направления", конечно же, продиктованы исключительно заботой о благе народа. Но с трудом преодолев лозунговый барьер, стучаешься лбом о такое вот открытие: "Успешное решение намеченных задач партия связывает с повышением роли человеческого фактора".

Не станем удивляться, что только на шестьдесят девятом году советской власти партия вдруг пришла к этой смелой мысли. Но почему она все-таки к ней пришла? Оказывается, потому, что иначе никак невозможно успешное решение намеченных партией задач!

Беда, однако, в том, что человеческий фактор тоже от чего-то зависит — например, от стимулов. По стран-

ной иронии судьбы стимулы в проклятом капиталистическом обществе действуют так, что побуждают рабочего работать, торговца — торговать, изобретателя — изобретать, а руководителя — руководить. А вот при социализме они почему-то действуют так, что не только не побуждают, но прямо-таки мешают. Мешают до такой степени, что в официальном советском лексиконе прочно утвердился новый языковой термин — *антистимулы*.

Из множества примеров того, как антистимулы превращают крестьянина в бездельника, а строителя — в халтурщика и рвача, возьмем два — с разных, так сказать, полюсов. 26 сентября "Известия" напечатали очередную статью в защиту Богомолова: "Слава тебя найдет". Геннадий Александрович Богомолов — не ученый-первооткрыватель и не художник, работающий в манере позднего кубизма. Богомолов — рабочий, фрезеровщик. Превосходный фрезеровщик, виртуоз своего дела. Стахановец? Э, нет, стахановец



— это другое, символ, маяк. А Геннадий Александрович просто человек с особыми, может быть, даже необыкновенными способностями в своей узкой области — фрезерования.

От кого же его нужно защищать, да еще не в первый раз? Если верить газете, от администрации предприятия. Администрация недовольна тем, что Богомоллов слишком хорошо работает, то есть много делает и много (по советским понятиям, конечно) зарабатывает. Но ведь существуют нормы, существуют расценки? Да. Но есть еще *фонд зарплаты*, специфически советский способ контроля за деятельностью предприятия, метод регулирования доходов. Высокая зарплата человека, занимающего, как ни крути, одну из нижних ступеней иерархической лестницы, подрывает основы, нарушает всю четкую архитектуру того, кто есть кто в советском обществе.

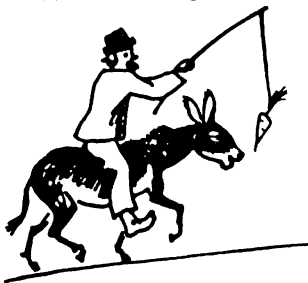
Народный судья рассматривает дело о вознаграждении за изобретение. Параграф закона прост: автору полагается два процента от полученного государством экономического эффекта, но не более 20 тысяч рублей. В данном случае речь идет о сумме порядка 12 тысяч, значит, государство уже заработало на изобретении добрых 600 тысяч. Но судья медлит. Сумма, сумма... "Рука не поднимается, — объясняет "Правда", — принять решение о выплате таких больших денег".

Автор статьи "Тяжба о вознаграждении" видит тут проблему прежде всего психологическую. Это верно в той мере, в какой сознание отражает бытие. Экономические выгоды государства — нечто не только абстрактное, но и *провинциальное*, ибо глубоко провинциальна вся эта сфера — "народного" хозяйства. А вот заработок — сфера архиважнейшая, политическая, затрагивающая святая святых социализма — *распределение благ*.

Наивные люди верят, что система антистимулов возникла случайно, по недоразумению, как результат просчетов и недоработок. Неужто секретари райкомов, обкомов и ЦК не заинтересованы, чтобы фрезеровщик фрезеровал, пахарь пахал, а изобретатель изобретал — хотя бы военную технику? Конечно, заинтересованы. Но больше, неизмеримо больше они заинтересованы в сохранении системы и ее фундамента, иерархической шкалы ценностей. Ведь рабовладельцы и феодалы тоже добивались, чтобы раб или крепостной крестьянин трудился хорошо. Антистимулы вырабатывались сами собой как *побочный продукт* жизнедеятельности системы.

Я вовсе не хочу сказать, что величественные в своей скромности планы двенадцатой пятилетки не будут выполнены. По собственному инженерному опыту я знаю, что станок, который работает, непременно что-то вырабатывает. Но никак не более того. Ожидать, что от разговоров о халве (хотя бы и в новой редакции) во рту станет сладко, — занятие бесперспективное.

"Выдвигаемая партией задача ускорения социально-экономического развития страны, — сказано в новой Программе, — требует глубоких сдвигов прежде всего в решающей сфере человеческой деятельности — экономике". Золотые слова. Но как быть, если решающая сфера наглухо прикована к нерешающей — к политике сохранения власти? Похоже, тут есть всего две возможности: либо рвать цепи, либо менять политику. Думаю, читатель догадался, что это одно и то же. ●



ИЗВОЗЧИКИ ГОРОДА ГЛАЗГО

Извозчики города Глазго съезжались на свой очередной сбор...

Стояла зябкая, слякотная погода. В такую погоду хорошо иметь за спиной веселого седока, потому что ничто так не согревает, как разговор, — это отлично знают извозчики.

Но веселые седоки брели в этот день пешком, возложив на транспорт только свои надежды. На городской транспорт возлагались сегодня очень большие надежды, и, возможно, поэтому он подвигался так тяжело.

Слет проходил на центральной торговой площади. Первые ряды занимали многоконные дилижансы, за ними шли двуконные кареты, одноконные пролетки, а в самом конце толпилась безлошадная публика.

Среди этой публики находился и Джеймс Уатт.

Разговор шел на уровне дилижансов. Там, наверху, говорилось о том, что лошади — наше будущее, что если мы хотим быстрее прийти к нашему будущему, то, конечно, лучше к нему приехать на лошадях.

Одноконные пролетки подавали унылые реплики. Дескать, не в коня корм. Дескать, конь о четырех ногах и то спотыкается.

Но эти реплики не достигли высокого уровня дилижансов.

— Дайте мне сказать! — крикнул безлошадный Уатт. — У меня есть идея!

— Где ваша лошадь, сэр? — спросили с передних козел.

— У меня нет лошади... У меня идея...

На него прищурились десятки насмешливых глаз. Десятки ртов скривились в брезгливой гримасе:

— Нам не нужны идеи, сэр. Нам нужны лошади. Потому что, — продолжали они, — лошади — наше будущее, и если мы хотим быстрее прийти к нашему будущему, то, конечно, лучше к нему приехать на лошадях.

Собрание проходило успешно. Отмечалось, что за истекший год городской транспорт увеличился на несколько лошадиных сил, а за текущий год он увеличится еще на несколько лошадиных сил, а за будущий год — еще на несколько...

Потому что лошади — наше будущее, и если мы хотим быстрее прийти к нашему будущему, то, конечно, лучше к нему приехать на лошадях.

— Дайте мне сказать!

Стояла зябкая, слякотная погода. Моросил дождь, и Уатт прятал под плащом модель своего паровоза. Он прятал ее не от дождя, а от этих десятков глаз, которым ни к чему паровоз, когда идет такой серьезный разговор о транспорте.

Настоящий, большой разговор о транспорте. О будущем нашего транспорта.

Об огромных его перспективах.

...Разъезжались на лошадях.

Феликс Кривин (Москва, 1971)

ИЗ ГАЗЕТ: 50 ЛЕТ НАЗАД

ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ

Лярд — свиное сало — это один из многих продуктов, производство которых начато пищевыми предприятиями за последнее время. Можно привести названия десятков и сотен продуктов, которых либо никогда, либо уже давно не было на нашем внутреннем рынке. Механически распиленное (без прикосновения человеческих рук) и упакованное в пакеты мясо, десятки новых сортов колбас, мясные паштеты, консервированное куриное рагу и почки-соте. Рыбное филе, очищенное от костей и чешуи, приготовленное к обжариванию мясо леща, судака, осетра, севрюги и других рыб. Крабовые и лососевые консервы, рыбные маринады. Балыки, приготовленные в заводской обстановке. Копченая минога и сельдь в масле. Пастеризованная икра и консервы из печени сома. Десятки новых сортов шоколадных конфет и карамели, сгущенное молоко и молоко в порошке, консервы-какао. Замороженные с сахаром клубника, малина, персики и т. п. — все это лишь незначительная часть новых и возобновленных производством продуктов, появившихся в продаже в наших магазинах за последний год. Ассортимент продуктов, продаваемых московским "Гастрономом" № 1, расширен в 1935 году на 500 названий!

"Известия", 10 января 1936 г.



Перестройка – вот ключевое слово сегодняшних московских газет. Перестраиваются стройные ряды партийных, советских и хозяйственных ответработников, стиль и методы руководства, добыча нефти, театральные репертуар, даже такие понятия, как, например, социальная справедливость...

Число перестроенных из верхних рядов в нижние или, хуже того, в пенсионеры ныне так велико, что лишь избранные удастаиваются индивидуального некролога – “освобожден в связи...” Последними удостоены этой чести два секретаря ЦК восточных республик, непопулярный Гришин, “хозяин Москвы” Промыслов, министры внутренних дел, внешней торговли, финансов. Что до простых смертных – секретарей обкомов, то их имена перечисляют оптом: попробуй угадай, кто сохранил свое место, а кто канул и заменен. Пожалуй, ни один из советских вождей, даже волонтерист Хрущев, не производил перестройку такими темпами и с таким размахом.

Еще недавно считалось, что возвышению первого среди равных должен предшествовать период “коллективного руководства”. Михаил Сергеевич Горбачев убедительно доказал, что это вовсе не обязательно. Период борьбы и феодальной раздробленности остался за кадром, в кадре же сразу возник абсолютный монарх, для которого нет князей и герцогов, все – подданные.

Простейшее объяснение этого руководящего погроста – стремление заменить чужих людей своими, лично известными и лично обязанными – вряд ли убедительно и уж во всяком случае не исчерпывает темы. На смену старым, заевшимся, потерявшим зубы и азарт приходят новые люди – сравнительно молодые, деятельные, честолюбивые.

Но меняются не только люди в креслах, ме-

няется и стиль помазания на должность. Похоже, времена удельных князей кончатся. На место князей приходят чиновники, во всем подотчетные и подконтрольные центральной власти. Не слишком громко, но вполне отчетливо им внушают, что высокое положение – отнюдь не эквивалент стабильности. Отступление от курса, злоупотребление должностью, даже просто недостаточно энергичное выполнение обязанностей – и вынырнувший из небытия чиновник окупается в него снова, на сей раз навсегда. Подобные превращения совершаются ныне с легкостью – примеры перед глазами.

Ладно, это еще можно пережить: в смысле снять и упеть Хозяин тоже был крут. Но что, собственно, от тебя требуется, в чем смысл нового курса? Слов говорено много: прогресс, новые методы руководства, дальнейшая централизация, дальнейшее расширение самостоятельности, социальная справедливость. А все-таки?

Объединение, разъединение, создание сверхминистерств – было. Расширение, сужение, хозрасчет, самостоятельность – тоже было. Справедливость – для кого и против кого? Если против спекулянтов и торгашей – допустим. А что если Михаил Сергеевич замахивается на самое святое, на Порядок?

Все смешалось в доме Облонских. В отчетах о съездах и конференциях журналисты позволяют себе журить и наставлять первых секретарей. Оказывается, плохо, если первого секретаря не критиковали. Тот неуклюже оправдывается: “Как же, критиковали... Слабовато, конечно. Опять же, войдите в наше положение. Без привычки, нет опыта. Живуч, ох живуч прежний стиль...” Редакции газет требуют объяснений у министров: прошло уже три недели нового года, а план по добыче, выплавке, переработке не вы-

полнен, и предупреждают, что в феврале снова потребуют отчета. Совет министров СССР создаст не более и не менее как комиссию по совершенствованию управления, планирования и хозяйственного механизма, но публику об этом извещают почему-то на второй странице мелким шрифтом. Интересно, чем будет заниматься эта таинственная комиссия...

Судя по всему, особого подъема в стране не ощущается, граждане с вялым любопытством взирают на перетасовку карт в колоде, на новых валетов и королей, на новые программы ускоренного развития. Не вызывает чрезмерных надежд и грядущая эра социальной справедливости. В чем дело?

Устали? Конечно, устали. От слов, от обещаний, от уверений, что "это даже хорошо, что сейчас нам плохо". Но, думается, дело не только в этом. Ныне даже очень наивный человек понимает (а кто не понимает — чувствует кожей), что главная беда совсем не в том, что руководящий Иван Иванович — неуч, взяточник или бездельник. В конце концов, неучи, взяточники, болваны есть и на Западе. Главная беда — в системе, при которой вновь назначенный Петр Петрович, милый, вежливый, образованный и даже честный, призван решать все вопросы: от прогрессивности кибернетики до рисунка на рубашке, от использования биотехнологии до тональности музыки, от засыпки угля в бункеры до проблем сравнительного языкознания.

Ясно, что при таком диапазоне прав и обязанностей самый способный человек не может не спотыкаться. И, что еще опаснее, у него возникает естественное стремление "упорядочить" жизнь — ввести ее в строгие, раз навсегда заданные рамки. Рамки для крестьян и писателей, для педагогов и инженеров-электронщиков, для врачей и рыбаков. Главное тут даже не в том, что рамки непременно плохи, главное, что это — рамки.

Тоталитаризм связывают прежде всего с несвободой политической: от такой несвободы страдает каждый. Однако тоталитарный строй называется тоталитарным еще и потому, что сфера его распространения, сфера несвободы практически безгранична. Атмосферу частной несвободы (своей — для производства; своей — для науки, техники, литературы, искусства и т. д.) каждый из нас ощущает, может быть, и не так явно, но ее последствия — вечную нехватку продуктов

и товаров, низкое качество изделий, застой в науке, отставание в технике, деградацию искусства и многое другое — ощущают все.

Намерен ли нынешний генеральный секретарь что-то менять в этом царстве несвободы? Если и намерен, то никаких признаков подобных перемен пока не видно. ●

А. Б.

СУДЬБА АНАТОЛИЯ КОРЯГИНА

Пришли вести — пока смутные и без подробностей, что в Чистопольской тюрьме (а может быть, уже по пути из нее в лагерь) вновь арестован политзаключенный Анатолий Корягин.

В первый раз, еще "на воле", врача-психиатра А. Корягина арестовали в 1981 г. Позднее, в открытом письме коллегам, посланном в обход цензуры из пермского лагеря № 37, А. Корягин четко сформулировал истинные причины этого ареста. Корягина посадили за решетку "по стандартному и совершенно нелепому обвинению в антисоветской агитации и пропаганде. Будучи далек от намерений, которые произвольно приписал мне суд, не могу расценивать эту расправу иначе как акт мести специалисту, кто исполнял свой долг врача, повинаясь голосу совети, а не ставил его в зависимость от целей КГБ. Только за то, что я обследовал диссидентов, подвергавшихся психиатрическому преследованию, и ознакомил с результатами своих исследований мировую общественность, меня приговорили к 7 годам заключения с последующей высылкой на 5 лет в отдаленные места страны". Дело в том, что Анатолий Корягин согласился стать врачом-консультантом Рабочей комиссии по расследованию использования психиатрии в политических целях. Все другие члены этой общественной неофициальной комиссии тоже были арестованы.

А. Корягин родился в 1938 г. в г. Канске Красноярского края. Окончил в 1963 г. Красноярский медицинский институт и получил диплом врача-психиатра. Был направлен врачом-психиатром в г. Абакан, главный административный центр Хакасской автономной области.

В Абакане Анатолий Корягин, по его собственным словам, "не задумывался глубоко над окружающим, хотя, конечно, кое-какие раздумья появлялись. Задавал, конечно, вопросы "почему", но удовлетворялся любым ответом, кото-

рый подсовывали мне со стороны или который складывался сам по себе на основе ранее полученных наблюдений: плохо именно здесь, потому что отдаленность, общая отсталость, Богом забытый край, где и кадры хуже, и люди спиваются и т. п. Но всякий анализ общественных явлений подавлялся доминантой – желанием учиться в аспирантуре, хотя какие-то мысли, безусловно, шевелились”.

Свое желание он удовлетворил: поступил в аспирантуру Харьковского НИИ неврологии и психиатрии, окончил ее, получил степень кандидата медицинских наук (темой его диссертации была шизофрения – кстати, диагноз, который очень любят ставить диссидентам: “шизоинакомыслие”, как выразился один днепропетровский врач в погонах).

Аспирантура была для Корягина не только годами становления ученого, но и годами становления гражданина.

”Я понял, что глубоко ошибался, представляя себе научный мир психиатров ранее. Никому из них ничего не было нужно. Люди науки копались в навозе ничтожных фактов, сводили престижные подсчеты, а при все этом старались занять местечко с приличной зарплатой и привилегиями. Условия жизни подрастающей ”научной поросли” были отвратительны: низкая стипендия, крайне плохое жилье, никаких условий для ведения научной работы, рутинные методики, отсутствие даже постоянного и удовлетворительного рабочего места и пр. Профессора стремились создать вокруг себя ”вакуум”, избавляясь от способных аспирантов и приближая ограниченных угодников, чтобы на фоне своего окружения выглядеть фигурой как можно более значительной. Поскольку все это наблюдалось повсеместно, становилось ясно, что причина – в механизме управления научным миром, отсюда идут все модели отношений и спускаются ниже по уровням. А привязка вашего выбора темы работы к проблематике вашего научного учреждения! А возможность публикации! За пониманием всего этого последовало глубокое разочарование и вопрос: ”Почему государство не старается развивать психиатрическую науку?” Ему нужны здоровые, работоспособные члены общества, а психическая болезнь чаще всего ограничивает или лишает человека трудоспособности без определенной надежды на будущее. Психиатрическая служба не может эффективно восстанавливать

здоровье своих пациентов. Так на кой она нужна государству? Другое дело – хирургия, например, где после операции эффект налицо: или в ящик, или к станку. А психбольной как заболел, так и садится государству на шею: с больничного – на пенсию. Отсюда произошло мое убеждение в антигуманизме нашего государства, поскольку я твердо помнил, что, как сказал один из известных психиатров, о гуманности общества можно судить по тому, как оно относится к своим психическим больным. Совместив с этим положением некоторые прежние наблюдения, я понял, что правителям нашей страны наплевать на какой-то там гуманизм, когда нужно все больше и больше рабочей силы, а потому оно не живет ради подданных, его интересует только военно-экономическая мощь государства, в котором им принадлежит власть. Появилась потребность разобраться в этом до конца”.

Молодой ученый был направлен на работу заместителем главного врача по лечебной части Красноярской краевой психиатрической больницы в г. Кызыл (Тувинская АССР). ”Руководящая должность, – пишет А. Корягин, – позволила мне соприкасаться с представителями различных слоев нашего общества. Это значительно расширило мой кругозор. Я еще глубже понял значение и роль номенклатуры как паразитического класса, чуждость интересов народа ее представителям. Лозунги, плакаты, болтовня по радио, телевизионная блевотина – все туфта, средство оболванивания масс. Негодование и здравый смысл, диктующие необходимость неприятия узаконенного общественного безобразия. Я боролся, как мог, сопротивлялся их глупым приказам и указаниям перстом в никуда, не позволял обкатать себя: не давал им взятки, не делал подарков, не поил, не угождал, отказался вступить в их партию. Это был протест, пассивный негативизм своего рода, проявлявшийся в неприятии. Они мстили мне за то, что я не признал за ними силы морально-этического идола”.

Переезд в Кызыл был для А. Корягина попыткой уйти от прессы, который давит на каждого человека в обществе с тоталитарным режимом. ”Думалось: ...станем себе потихоньку жить, охотиться будем, ни во что не лезть. Ничего из этого не получилось – характер не тот. И министерство, и партийная верхушка Тувы – все обрушились на нашу семерку врачей и хотя не сло-

мали нас, но рассеяли, разогнали по всем концам Союза. Вместе с этим у меня появилось твердое убеждение, что с этой гадостью нужно бороться. И лучшим методом борьбы является обличение. Вслух кричать о всех беззакониях, преподносящих как блага "развитого социализма". Кричать на весь мир, в котором паразитирует такая гадость, как советский бюрократизм, строящий свою политику на голом насилии",

В 1978 г. А. Корягин вернулся в Харьков.

Именно здесь, в Харькове, он вступил в контакт с московскими правозащитниками, в первую очередь — с Рабочей комиссией по расследованию использования психиатрии в политических целях. После отъезда за рубеж врача-консультанта этой комиссии А. Волошановича Корягин в 1979 г. начал давать комиссии консультации, а затем стал ее членом.

Перед А. Корягиным прошли десятки лиц, которых официальные эксперты с готовностью признали психически больными — "шизоиннакомыслящими". То, что он узнал, потрясло его. В начале 1981 г., незадолго до своего ареста, Корягин обратился к своим коллегам-психиатрам с письмом:

"Обратиться к вам побуждает меня голос немолимой совести, не позволяющей видеть, знать и молчать.

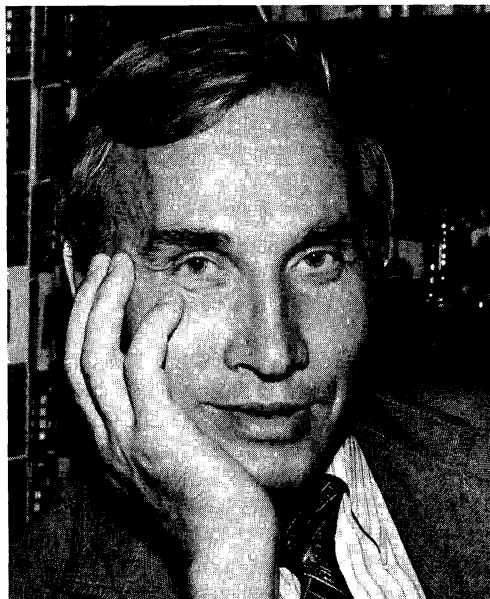
Всему миру известны вопиющие по своей антигуманности факты злоупотребления психиатрией в политических целях в нашей стране. Скандальные случаи госпитализации в психиатрические стационары известных инакомыслящих: генерала Григоренко, Леонида Плюща, Владимира Буковского, Юрия Белова и др., разоблачительные выступления перед общественностью мира работников советской психиатрии Семена Глузмана и Александра Подрабинека, всемирные конференции в Торонто и Гонолулу, где ведущих советских психиатров заклеили как пособников репрессивных органов, стали уже историей борьбы советского режима с диссидентским движением.

В последние годы позорное, грязное пятно не только не смыто с белого халата советской медицины, но расплодилось еще шире.

Как врач-психиатр я обследовал лиц, находившихся в психбольницах в связи с их критическими высказываниями в адрес существующего в нашей стране порядка. И я свидетельствую. Да! В нашей стране помещают в психиатрические ста-

ционары психически здоровых людей, часто длительно содержат там и применяют к ним различные виды воздействия активными методами лечения...

Психиатрия как часть медицины призвана стоять на страже здоровья человека, но не общественного строя государства. Превращение психиатрии в инструмент политики следует рассматривать как попытку изуродовать природу этой гуманной науки, самую сущность этого понятия".



Последствия для А. Корягина не замедлили наступить. Арест, суд, лагерь. "Сидел" Корягин тяжело: голодовки, карцеры, забастовки, внутрилагерная тюрьма. Наконец, возмутителя лагерного спокойствия переводят в Чистопольскую тюрьму, где можно еще ту же завинтить пресс.

Сообщения о судьбе Корягина в Чистополе стали глуше и трагичнее. Известно, что его неоднократно избивали. Известно, что он неоднократно голодал и это не были символические голодовки. Общий срок его голодовок, наверное, не меньше года. По меньшей мере дважды он был на грани смерти.

И вот теперь — это тревожное сообщение о новом аресте. Сообщают, что новое "преступление" А. Корягина — "сопротивление представителю власти". Чему сопротивлялся А. Корягин — не очередному ли избиению? Сообщают и новый, добавочный срок: еще два года лагерей... ●

РЕЖИМ НАИМЕНЬШЕГО БЛАГОПРИЯТСТВОВАНИЯ

Шум вокруг давно запланированного совещания по вопросам торговли между СССР и США (АСТЭС) явно имел целью преподнести советской публике победительный образ Горбачева — устроителя советско-американских отношений. Девятая сессия АСТЭС удачно стыковывалась с менее удачной встречей в Женеве, несомненно связанной с политикой Горбачева. Поэтому явление генсека народу на телеэкране в окружении четырехсот американских гостей должно было символизировать динамизм новой внешней политики СССР.

Однако именно с динамизмом дело обстоит плохо. Казалось бы, за чем остановка? Америка жаждет продавать, а советские фирмы, предприятия и отдельные граждане — покупать. Между тем США — крупнейший экспортер в мире — в списке торговых партнеров СССР занимает лишь 13-е место, где-то между Ливией и Финляндией.

Советская пресса объясняет это американской политикой эмбарго и ограничений на экспорт в СССР, а также лишением Советского Союза статуса наиболее благоприятствуемой нации. Такое решение (в соответствии с известной поправкой Джексона—Ваника) действительно было принято Конгрессом США в 1974 г., и причины его хорошо известны. Медленно, но верно закрываются и многообразные лазейки для законного приобретения американских военных и экономических секретов.

Но все это никак не меняет того очевидного факта, что Америка никогда не ограничивала вывоз в СССР потребительских товаров, медикаментов и оборудования для их производства, сельхозтехники, машин для горнодобывающей промышленности, торговли и общественного питания. Почему-то, однако, именно эти жизненно важные для народа товары Советский Союз покупает мало и неохотно. Если не считать зерна, все остальное приобретает либо в рекламных целях, либо для изготовления собственных "цельностанутых" конструкций.

Нет, истинные причины застоя в советско-американской торговле следует искать глубже. Тут можно выделить три главных причины. Прежде всего, это важнейшая советская идеологическая установка — полная монополия

внешней торговли. На практике это означает, что только высшие инстанции (Госплан, Министерство внешней торговли, аппарат ЦК) знают, что необходимо советскому хозяйству в целом, каждому заводу и каждому гражданину. Поэтому на советском рынке иностранная фирма встречается не с потребителем, а с его "полпредом" — более или менее безразличным работником внешнеторгового ведомства. В принципе он может оказаться и хорошим специалистом, если случайно будет соответствовать кадровым требованиям. Но того интереса к делу, который естественно существует у непосредственного потребителя, от него ждать нельзя. Кроме того, действует он в рамках жестких ограничений, не имеющих ничего общего с интересами потребителя. Главное из таких ограничений — скудость валютных ресурсов страны.

Здесь мы подходим ко второй причине печального состояния советско-американской торговли — неконвертируемости советского рубля. Это обусловлено отсутствием в Советском Союзе рынка в обычном значении слова и соответственно — всей фиктивной структурой цен, отражающей что угодно, но только не отношения спроса и предложения. Как-то представитель Чехословакии в СЭВ ехидно заметил: "Когда произойдет мировая революция, нам придется оставить хотя бы одну страну капиталистической, чтобы знать, по каким ценам торговать друг с другом".

Пока же, до наступления революции, большинство некоммунистических государств торгуют с СССР лишь на твердую валюту. А ее запасы в СССР (по крайней мере те, что расходуются на мирные цели) крайне малы для такой большой страны. По западным оценкам (других нет), они не превышают 28 млрд. долл. Так что если бы Советский Союз бросил все свои валютные ресурсы только на закупки в США, он поглотил бы лишь 10–12% американского экспорта (в 1983 г. — 260 млрд. долл.) Кстати сказать, эта колоссальная сумма — отнюдь не предел: в последние годы американские товары нередко уступают в конкурентной борьбе японским и европейским изделиям. Дефицит внешней торговли и растущий внешний долг США побуждают американские фирмы искать покупателей. Понятно, что в отсутствии желания торговать американцев не упрекнешь.

Но за товары надо платить. И если валюты не хватает, то по сути остается лишь одна альтернатива – бартерная сделка, то есть обмен типа "товар против товара". Сделку такого типа заключила, например, фирма "Пепси-кола", получив за поставленный ею завод монополию на продажу в США советской водки.

Однако беда в том, что отсталой советской экономике нечего предложить Соединенным Штатам. Большинство советских машин находится на допотопном уровне, в сырье же Америка не нуждается. Основная часть советского экспорта в США – хромовая руда. Любопытно, что именно Советский Союз может выиграть от американских санкций против ЮАР – основного поставщика хрома в некоммунистическом мире.

К этим трем главным причинам можно добавить и другие: слабость организационной базы (американским фирмам, работающим в Москве, приходится месяцами ждать подключения телефонов), бюрократизм, безразличие чиновников, материальная "антизаинтересованность" предприятий в экспорте.

О последней стоит сказать особо. Причина "антизаинтересованности" – так называемое экспортное исполнение. Термин этот, совершенно дикий для нормальной экономики, хорошо знаком советскому потребителю: какой советский автомобилист не мечтает об экспортных "Жигулях". Но для предприятия экспортное, то есть, по советским стандартам, хорошее исполнение оборачивается дополнительными хлопотами, затратами, неприятностями.

Известно, что валютный курс рубля существенно отличается от внутреннего. На этом проигрывает и экономика в целом, и каждый отдельный изготовитель. Принцип "не доедим, но вывезем" обходится дорого. Поэтому важнейший итоговый показатель внешней торговли, именуемый в системе МВТ "результативным курсом", – относится к числу самых закрытых, засекреченных в СССР. Известно, что в начале 70-х гг. каждый доллар валютной выручки МВТ требовал на приобретение и сбыт затраты 1,6 руб., что почти вдвое превышало официальный валютный курс доллара в те годы. Примерно 5–8% этих расходов составляли собственно затраты на торговлю (содержание аппарата МВТ, реклама и т.п.), еще 10–12% – расходы по перевозке товара. Но даже с учетом этих затрат ясно, что

фикция валютных курсов приводит к ощутимым потерям для национальной экономики.

Было бы весьма интересно сравнить "результативные курсы" по группам стран и товаров. Подробными сведениями мы, к сожалению, не располагаем. Известно лишь, что по группе машин и потребительских товаров курс составлял 47 копеек за доллар, а по сырью – свыше двух с половиной рублей (данные на начало 70-х гг.). Понятно, что товары первой группы вывозились преимущественно в развивающиеся страны, а второй – в развитые. Столь резкое расхождение курсов по этим товарным группам вполне соответствовало пропорциям мировых цен на сырье и готовые изделия, сложившимся до 1973 г.: торговать готовыми изделиями было куда выгоднее, чем экспортировать сырье. Так что специализация советского хозяйства была естественной, хотя и вызывала некоторое стеснение у доктринеров, воспитанных на "Капитализме как высшей стадии..." Быть "сырьевым придатком" Запада, согласитесь, как-то неэлегантно.

Взлет цен на нефть и другое сырье в 1973 – 1981 гг., вероятно, улучшил показатели советского экспорта. Не следует, однако, забывать, что в 70-х гг. началось и резкое увеличение затрат на добычу сырья. Между тем положение и раньше не было блестящим. Результативный курс по нефти с учетом капитальных затрат и обустройства превышал 10 рублей за доллар выручки, а по цветным и редким металлам – доходил до 50 рублей за доллар.

Все, что касается золота, – строжайший секрет. Но по отрывочным оценкам, появившимся на Западе, в 70-е гг. СССР продал (в основном – на биржах Цюриха и Лондона) около полутора тысяч тонн золота. Во сколько это обошлось? Работник отдела внешней торговли Госплана в ответ на вопрос хмуро отшучивался: "Дороже золота..."

Возвращаясь к советско-американской торговле, отметим, что Советский Союз хоть немного, но поможет покрыть огромный дефицит американской торговли с внешним миром: при общем дефиците внешнеторгового баланса США в сумме примерно 60 млрд. долл. на торговле с Советским Союзом Соединенные Штаты зарабатывают "чистыми" 2,7 млрд. долл. Такова цена политической экономики во внешней торговле – бедные помогают богатым. ●



ПРАВДА

Орган Центрального Комитета КПСС

1991 (24448)

Цена 4 коп.

НОВОЕ ВРЕМЯ —
НОВЫЕ ПЕСНИ

О чем писали отечественные газеты в только что закончившемся году? Конечно, прежде всего о дальнейшем совершенствовании, о "необходимости коренным образом улучшить организацию дела". А чем они были особенно озабочены? Тем, что "некоторые руководители, произнося с трибун правильные речи, продолжают использовать неприемлемые в современных условиях, дискредитировавшие себя стиль и методы работы".

Вот этим самым руководителям, продолжающим использовать стиль и методы, несмотря на правильные речи, "Правда" посвятила (в номере от 24 ноября) основополагающую статью. Называется эта статья "Перестроились..." и на всякий случай снабжена подзаголовком: "Юмореска". Юмора, как можно понять, в ней немного: название районного центра, где происходит действие, — Обрадовск, гоголевские имена деятелей и мыслителей местного масштаба — Суслопаров, Худяков, Спиносов; все остальное сугубо серьезно и, конечно, относится не только к полумифическому Обрадовску.

В самом деле. Только ли в этом Обрадовске привыкли, как пишет журналист, "держать нос по ветру"? Бодро докладывать, что "пожелание за №... воспринято всем сердцем и выполнено с опережением графика на 100,8%", а также "приурочено к ближайшей знаменательной дате", так что уже через неделю "стало возможным собрать научно-практическую конференцию, чтобы обменяться опытом, подбить первые итоги, наметить мобилизующие ориентиры..." Замечаете ли вы, читатель, удивительное свойство этих словес: совершенно безразлично, о чем, о какой работе идет речь, — пустоту и никчемность всей этой деятельности, бесплодность "опыта", лживость "итогов", идиотизм "ориентиров", какую-то всеобщую призрачность государственно-партийной жизни они, эти слова, демонстрируют необычайно ярко. Не это ли хотел сказать автор статьи?

Послушаем, однако, как проявляют себя во всесоюзном Обрадовске новые веяния. Конференция (на какую тему, не имеет значения) происходит во Дворце культуры. Беломраморные стены срочно заделаны кирпичом — символ борьбы с парадностью. Ярко-алые дорожки заменены более скромными цвета бордо. Под аплодисменты присутствующих тов. Суслопаров "предложил отменить фанфары и барабанный бой и впредь принимать дутые обязательства под перезвон гуслей и пение пастушьего рожка". Острый, однако, язык у этого журналиста! Горячее одобрение вызвало и другое предложение докладчика: прилагательные "грандиозный" и "стремительный" заменить в речах и докладах определениями "широкий", "зримый" и "поступательный", наиболее отвечающими, по данным руководящих товарищей, текущему моменту. Слово "вал" надлежит употреблять с эпитетом "пресловутый", а словами "количество" и "качество" пользоваться в соотношении 1 : 3.

Следующий оратор, директор чего-то Худяков, говорил о научно-техническом прогрессе. Тоже слово чрезвычайно современное. Внедрение новой установки для непрерывной разливки стали позволило выпустить дополнительно десять тысяч тоннпельменей "без увеличения расхода сырья хотя бы на один грамм". Важна не суть, а важен стиль. Именно стиль говорит об отсутствии сути. Новые веяния проникли и в коммунальную службу. Теперь работники сферы обслуживания без запинки выговаривают слова "интенсификация" и "компьютеризация". Дворники в считанные секунды составляют графики выхода доцентов на подметание улиц. Слесари-водопроводчики наблюдают за утечкой воды из кранов на экранах дисплеев. Оказывается, утечка велика. Стало быть, вполне обоснован грандиозный проект поворота вспять всех ручьев бассейна реки Обрадовки. Дивные дела творятся в городе Обрадовске.



ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,
СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

**ИДЕЙНАЯ БОРЬБА
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПАРИКМАХЕРА**

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Вижу тебя из моего прекрасного далека. Все кажется, что там, в дальнем нашем Отечестве, жизнь такая же, какая была при нас, а если что меняется, так уж непременно к лучшему. Вспомнишь, к примеру, войну с тлетворным влиянием Запада в одежде — и сам себя одернешь: ведь это даже не вчерашний, а позавчерашний день. Раскрываю, однако, "Комсомолку" от 14 декабря, и вот-те раз: "Нет ничего на свете изменчивей моды. И нет ничего постоянной борьбы с последними ее проявлениями." "Это из статьи П.Семенова "Брить или не брить — в том ли вопрос?"

"С чем только не боролись!" — продолжает Гамлет-журналист. Человек он, судя по всему, молодой, но помнит кордоны учителей с линейками: измерять длину мини-юбок у школьниц. Или гонения на длинные волосы у мальчиков. Помнит, как учителя приходили на урок с ножницами. Наивный человек: он думает, что если мода меняется, то должно измениться и отношение к моде. Нет, дорогой товарищ, платье и прическа — вопрос не личный, а общественный. Вопрос отношения к чуждому нам образу жизни и к чуждым идеям. Дело не в том, какой длины юбка, а в том, что за ней, за этой юбкой, скрывается. А он еще удивляется, почему прическу под бокс, которая всегда считалась абсолютно советской, теперь начали запрещать. "Дело в том, что такая прическа кому-то показалась несущей чуждую нагрузку." Правильный подход! Ведь идейный враг не дремлет и всегда найдет для себя лазейку. Не ту, так эту.

А.Б.

**ЗАКОН, ПО КОТОРОМУ
РАДОСТЬ ПРИХОДИТ**

Ежемесячный научно-популярный журнал Министерства юстиции СССР	ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
--	--------------------

В новогоднем номере журнала некто по имени Николай Бывалый рассказывает о небывалом случае. Он купил жене в подарок красную сумочку, но оказалось, что нужна серая. "Продай кому-нибудь," — посоветовал сосед Михалыч. "Что ж я, буду стоять на улице и продавать?" — возмутился Бывалый. Не к лицу советскому человеку торговать барахлом из-под полы — тем более, что барахло не импортное. Удрученный Бывалый направился в комиссионку. И тут произошло чудо. "Объясняю приемщику ситуацию, — рассказывает автор статьи, — а тот улыбается в ответ. Идите, говорит, в тот же магазин и обменяйте..."

Оказывается, о радости, существуют Правила обмена промышленных товаров, утвержденные Министерством торговли, Министерством бытового обслуживания, Управлением Госстандарта, еще кем-то, согласованные с Роспотребсоюзом и введенные в действие приказом министра торговли от такого-то числа за номером таким-то. Сколько инстанций трудились над этим новым проявлением заботы о простом человеке, о нем, Бывалом! Обливаясь благодарными слезами, он читает § 13 замечательных Правил:

"Покупателю предоставляется право... обменять в магазине на аналогичный товар... швейные и трикотажные изделия, штучный текстиль... женские сумки!" Нет, не в скромной ведомственной инструкции место этому гуманному закону — а в Конституции страны. Читайте, завидуйте. Граждане СССР имеют право на труд, на отдых, на жилплощадь, на очередь в магазине и право обменять красную сумочку на серую.

Валентин Катаев

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА

РЕДАКТОР С. ИВАНОВ
УПРАВЛЕНИЕ ПО СРЕДСТВАМ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ



*Интеллигентность —
понятие живое
Развивающееся во
времени, чутко реагирующее
на изменяющуюся жизнь.
На все оттенки
душевного настроения общества*

ОБ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Марк ДЕЙЧ (Москва)

ИНТЕЛЛИГЕНТ С МУЗЫКАЛЬНЫМ СЛУХОМ

Товарищу
Катаеву Валентину Петровичу

Многоуважаемый товарищ Катаев!

В первом номере "Литературной газеты" за 1986 год я прочитал Вашу беседу с читателями — значит, в том числе и со мной — "Об интеллигенции". Беседа большая, на целую газетную страницу, и удовольствие от нее я получил тоже большое. Каковым и хочу с Вами поделиться.

Начинаете Вы свои размышления с признания в том, что понятие "интеллигентность" определить невозможно. Но сразу же, с первых строк, приводите пример, который должен нам все объяснить, не оставляя места для вопросов и сомнений. "Ленин, — пишете Вы, — эталон интеллигента".

Спорить с этим утверждением трудно. И где-то даже опасно. Ибо в системе наших представлений Ленин — эталон всего, в том числе, конечно, и интеллигентности. Можно было бы, правда, вспомнить кое-какие высказывания Владимира Ильича в адрес русской интеллигенции. Что-то вроде того, что это вовсе не мозг нации, как утверждали некоторые, а говно. Ну, это, наверное, у Ильича сгоряча сорвалось, в запарке классовой борьбы.

Далее Вы вспоминаете декабристов и Герцена. (Точно по эталону: "Декабристы разбудили Герцена".) Другие, всем нам известные имена Вы тоже вспоминаете, рассказывая о своей недавней поездке в Ленинград. "Идешь по Ленинграду как через

память”, — пишете Вы. Красиво сказано. Только память Ваша как-то слишком уж избирательна. Свою прогулку по Ленинграду Вы иллюстрируете прекрасными строками Мандельштама:

Тяжка обуза северного сноба —
Онегина старинная тоска;
На площади Сената — вал сугроба,
Дымок костра и холодок штыка...

А ведь у Мандельштама есть и другие, не менее прекрасные, щемящие строки: “Петербург, я еще не хочу умирать...” Вы, конечно, их помните. Но э т о т Мандельштам — затравленный, ссыльный и в конце концов уничтоженный — Вам не нужен. Как и большая часть нашей новейшей истории. И поэтому, идя по Ленинграду “как через память”, Вы вдруг — после Фовизина и Карамзина, Пушкина и Гоголя — одним прыжком оказывается в самой что ни на есть современности: на встрече М.С.Горбачева с ленинградцами. “Мне услышалось, — пишете Вы, — в его выступлении то, что Блок называл музыкой революции”.

Ну, это уж, Валентин Петрович, чересчур. Конечно, все мы — перепуганные лизоблюды, но не до такой же степени! Неинтеллигентно как-то.

Вообще на Блока Вы ссылаетесь часто. Оно и понятно: больше сослаться не на кого. Но ведь и с Александром Александровичем все не так просто. Романтик до мозга костей, Блок действительно пытался услышать “музыку революции”. А вернее — музыку в революции. Но услышал лишь сухую дробь выстрелов, коей скорбно внимал Спаситель “в белом венчике из роз”. Белое — цвет непорочности, но и смерти. Грань эта в любой революции зыбка, одно в другое переходит незаметно, но непременно.

А уж Ваше желание перечитать статьи Блока “Россия и интеллигенция” обязательно по изданию “Алконост” 1923 года, которое Вы небрежно берете со своей полки, отчетливо отдает мелким пижонством. И без того мы догадываемся, что библиотека у Вас вполне приличная. Ее ведь не реквизируют, не топили ею печку в блокадном Ленинграде, не растащили во время обысков. То ли просто повезло Вам, то ли еще что, но только кичиться этим совсем не обязательно. Да еще при нынешнем книжном голоде и фантастических ценах на книги на черном рынке.

А потом Вы пишете о тех русских писателях, кто после 17 года оказался в эмиграции. Вспоминаете свою встречу с Куприным после его возвращения на родину: как восхищался он Москвой и расспрашивал Вас “обо всем”.

Давайте, Валентин Петрович, попробуем обратить внимание на даты, которые у Вас почему-то отсутствуют. Куприн приехал в СССР в 1937 году. А умер в 1938. Не знаю, предчувствовал ли он свою смерть. Но похоже, что вернулся он, чтобы умереть на родине. Был он человеком очень добрым и необыкновенно восторженным. Нет ничего удивительного в благожелательном любопытстве такого человека, воротившегося в дом после долгой с ним разлуки. А вот выдавать этот восторг за восхищение “первым в мире государством рабочих и крестьян” — негоже, Валентин Петрович.

“Вернулся А.Толстой”.

Короткая фраза, после которой к Алексею Толстому Вы более не возвращаетесь. И правильно. Слишком многим памятна его поездка за границу (уже после его окончательного переселения в Страну Советов), во время которых он сманивал живших в эмиграции русских деятелей культуры, уговаривал их вернуться, сулил им золотые горы, в подтверждение чего хвастался своей виллой и машиной с шофером. В частности, сманивал и Бунина, однако в ответ получил лишь сухое презрение. А уж как хотелось Толстому заполучить Бунина в Союз советских писателей! Небось, награда была обещана немалая. Потому как задаром Алексей Толстой ничего не делал. Не любил просто так, бесплатно интеллигентность свою выказывать.

Говоря о Бунине, Вы сокрушаетесь по поводу "непоправимой ошибки большого русского писателя", который "так и не принял революции". В немногих Ваших строках, посвященных Бунину, отчетливо слышны ноты снисходительной жалости. В другой ситуации Вы не осмелились бы снисходить к Бунину. Но Бунин — всего лишь жалкий эмигрант, а Вы — истинно пролетарский писатель, за спиной которого — вся мощь "страны победившего социализма"...

Бунина жалеть не нужно, Валентин Петрович. Пожалейте себя.

"Интеллигентный человек не может лгать, обманывать", — пишете Вы.

А как насчет недомолвок, недосказанности, сокрытия правды? Разве умолчание — не ложь? Вы обрушиваетесь на тех руководителей, кто "искажает правду, приспосабливает ее к нуждам отрасли, министерства, ведомства. К своим нуждам — чтобы выглядеть хорошо и ради собственного благополучия". И радуетесь тому, что их "сейчас выгоняют с постов".

Но ведь наша история началась не сейчас. Откуда они взялись, эти самые "искажающие правду"? Что их породило? Разве не то же самое, что заставляет и Вас, Валентин Петрович, искажать правду? Между прочим, среди них было немало интеллигентов, и даже — Ваших коллег по перу. Упомянутый Вами Осип Эмильевич Мандельштам — из их числа. Вы этого не знаете? Позвольте Вам не поверить. Значит — умалчиваете, "искажаете правду"?..

Или вот Ваше рассуждение о том, что династии интеллигентов будут так же полезны обществу, как и династии неинтеллигентов, и вообще принесут немало добра. Так куда же они исчезли? Да еще так бесследно, что речь о возрождении подобных династий Вам приходится вести как бы от нуля?

Истреблены они были, Валентин Петрович. В те самые 20-е и 30-е годы, о которых Вы вспоминаете с романтическим придыханием. Или этого Вы тоже не знаете? Да нет, умалчиваете опять же.

А ведь неинтеллигентно это, Валентин Петрович.

Впрочем, кое-кого из интеллигентов "старой формации" Вы упоминаете. Павлова, например: "Великий Павлов был великим трудягой. Ленин высоко ценил его как нужного и полезного работника для революции".

Лучше бы Вам не трогать Павлова. Человеком он был, безусловно, интеллигентным, обращал мало внимания на использование его имени в пропагандистских целях, работал как одержимый. Т о р о п и л с я у с п е т ь. Но и он высказался как-то в том смысле, что если творимое большевиками над Россией — эксперимент, то для подобного эксперимента он пожалел бы даже лягушку...

Более всего в Вашей беседе Вы рассуждаете о том, каким должен быть интеллигент. Он обязан трудиться на благо общества, стремиться к образованности, жить так, "как живет вся страна", жить "ее заботами, ее возможностями"...

Пока все правильно. Перечисленное Вами — действительно свойства интеллигентного человека. Хотя и не все. Но вот Вы пишете: "Интеллигент... может не любить музыку, не бывать в консерватории. Но он обязан уметь слышать музыку революции".

"Поэтом можешь ты не быть..."

Мысль старая, но с новыми словами меняется и смысл.

Значит, если человек э т у музыку не слышит, или слышит в ней иное, чем те, кто ее создавал, — нечего ему претендовать на интеллигентность. Вы вот услышали все в нужной тональности и стали настоящим советским интеллигентом. А другим что? Вымирать?..

Странно, Валентин Петрович. Ведь терпимость к чужому мнению — одно из главных свойств интеллигентного человека. Неужто и этого Вы не знаете?

Но Вы идете еще дальше. Кульминация Вашей беседы — в последних абзацах:

"В сущности, можно ведь прожить и неинтеллигентно. И еще как прожить!

Но общество не может одобрить такой стиль жизни. Государство должно противостоять ему законами, запретами...”

Ну просто нет слов, Валентин Петрович! Остается разве что скомандовать: ”Смирно! Даешь интеллигентность! А ежели кто не хочет, так мы их!..”

Преувеличение? Если и так, то не слишком значительное: ведь неинтеллигентности Вы предлагаете противопоставить государственный запрет и статьи Уголовного кодекса... Блок едва ли согласился бы с Вами.

*

Пора, однако, подвести некоторые итоги. В начале Вашей беседы Вы, Валентин Петрович, обещаете в ходе ее ”прояснить”, что же это такое — интеллигентный человек. И если отбросить некоторую велеречивость и чрезмерные длинноты, то необходимыми и достаточными для интеллигента Вы полагаете следующие основные свойства: правдивость, трудолюбие, забота о благе своей страны, образованность и стремление к ней. Кажется, все. Ах, да, чуть не забыл, на Ваш взгляд, самое главное: и обязательно ”уметь слышать музыку революции”.

Что-то не так, Валентин Петрович. Ведь если ограничиться перечисленными Вами свойствами, то одним из самых интеллигентных людей был, скажем Вальтер Шелленберг — бригадфюрер СС, шеф политической разведки Третьего рейха. Прекрасное образование, верная служба своему отечеству, совершенное умение слышать ”музыку революции” (пусть национал-социалистической, но революции же!), в дополнение ко всему — неповерхностное знание литературы и искусства и даже утонченность манер. Чем не интеллигент?

Чего-то все-таки в Вашем перечислении не хватает, Валентин Петрович. К примеру, упоминания о том, что интеллигентность обязывает человека бескомпромиссно различать Добро и Зло, никогда и ни при каких обстоятельствах не становясь на сторону последнего. Вы, конечно, возразите мне: мол, понятия Добра и Зла слишком относительны и подвержены временным изменениям. И с точки зрения ленинской диалектики будете, безусловно, правы. Остается только увязать интеллигентность с ленинизмом, основной принцип которого — ”нравственно то, что нам выгодно”.

Трудно увязать, Валентин Петрович. Но Вам, по-видимому, это удалось.

Удалось Вам и другое. В беседе ”Об интеллигенции”, занимающей, как сказано, целую полосу ”Литературной газеты”, Вы ни разу не упомянули о главном свойстве интеллигентного человека: о неприятии насилия в любой его форме, физического или идеологического. Без этого неприятия, без внутренней убежденности в том, что человеческая личность сверхценна сама по себе, независимо от классовой принадлежности, — без этого человек может быть всем чем угодно, но только не интеллигентом.

Вы, конечно, так не написали, Валентин Петрович. Ибо Вы лучше меня знаете, что мы с Вами живем в стране, где диктатура — а значит, откровенное и целенаправленное насилие — является основой внутренней политики.

Умолчать об этом — достойно ли интеллигентного человека?

В заключение позволю еще одну цитату из Вашей беседы: ”Наш народ с уважением относится к творческим людям, простодушно полагая, что каждый писатель, актер, художник — интеллигент.

А это не всегда совпадает”.

Нельзя не согласиться, Валентин Петрович.

УЗАКОНЕННОЕ БЕЗЗАКОНИЕ

Революционная юстиция в России

В истории и политических науках является аксиомой, что любое общество, от самого примитивного до самого сложного, действует согласно определенным правовым принципам. Иначе говоря, для того чтобы совокупность отдельных личностей могла функционировать как группа, люди должны знать, что им можно и чего нельзя делать. Ни антропологи, ни историки не нашли еще ни одного общества, живущего без правовых норм и без механизма, следящего за их соблюдением.¹ Источником закона может быть обычай, нередко тесно связанный с религиозным табу и экономической практикой, — так обычно бывает в однородных общинах. В сложных обществах источником закона выступает обычно государственная власть. Для того чтобы не превратиться в конгломерат одиночек и не прекратить организованного существования, общество нуждается в правилах поведения и способах наказания тех, кто их нарушает. Как писал Р. М. Мак-Ивер:

”Без закона нет порядка, а без порядка люди теряются: они не знают, куда они идут, не знают, что они делают. Система упорядоченных отношений является первичным условием человеческой жизни на любом уровне. Именно в этом прежде всего заключается смысл слова ”общество”. Даже у отверженных, на пиратском корабле, в банде грабителей, в разбойничьей шайке существует свой собственный кодекс законов, без которого они не могут существовать. Представление о ”не знающем законов дикаре”, режвщщемся на свободе, относится целиком к области фантазии. У ”дикаря” всегда есть законы, и он следует им более упорно и более слепо, чем цивилизованный человек”.²

Дореволюционный русский юрист Богдан Кистяковский точно описал право как социально-дисциплинирующую систему: ”Социальная дисциплина создается только правом; дисциплинированное общество и общество с развитым правовым порядком — тождественные понятия”.³ Такой взгляд общепринят в современной теории права. Похоже, что современные правоведы, основываясь отчасти на исторических данных, а отчасти на том, что, по их мнению, является логикой социальных отношений, не в состоянии даже представить себе общество без законов.

И все же попытка создать такое общество была предпринята в России в первые годы революции, в то время, когда казалось, что нет ничего невозможного, когда те, кто захватил власть, считали полный разрыв с прошлым необходимым условием создания нового мирового порядка. Эта попытка, беспрецедентная в своей дерзости, при-

Публикуемая статья была прочитана в качестве первой лекции памяти проф. Леонарда Шапиро в Лондонской школе экономики в ноябре 1985 г. В переработанном виде она войдет в книгу ”История русской революции”, которую автор готовит к печати.

¹ G. W. Kirchway. The Encyclopedia of the Social Sciences, 1944, vol. IV, p. 569.

² R. M. MacIver, The Web of Government. N. Y., 1947, p. 61.

³ Б. Кистяковский. В сб. ”Веки”. М., 1909, стр. 125.

влекла определенное внимание ученых, специализирующихся на истории советского права. Однако, к сожалению, сама эксцентричность их профессии, похоже, лишила их способности удивляться. Историки русской революции склонны обходить этот эпизод, хотя именно он с редкой ясностью высвечивает образ мыслей основателей первого коммунистического государства и сущность его последующего развития.

Вкратце произошло следующее. 5 декабря 1917 г. (по новому стилю) после продолжительной дискуссии Совет народных комиссаров, состоявший тогда исключительно из большевиков, издал "Декрет о суде", который одним махом разрушил всю правовую систему страны.¹ Прежде всего декрет предписывал распустить практически все существующие суды, в том числе и Сенат, высшую судебную инстанцию. Одновременно декрет положил конец всем институтам, связанным с судами, включая прокуратуру, юридические профессии и институт мировых судей. Сохранились только так называемые "местные суды", занимавшиеся мелкими преступлениями. Декрет 5 декабря 1917 г. не объявлял открыто утратившими силу все ранее изданные законы — это произошло год спустя, — но практически сделал то же самое, когда предписал местным судам "руководиться в своих решениях и приговорах законами свергнутых правительств лишь постольку, поскольку таковые не отменены революцией и не противоречат революционной совести и революционному правосознанию". В примечании, поясняющем этот пункт, указывалось, что отменяются не только те законы, которые противоречат декретам советского правительства, но и те, что противоречат "программам-минимум Российской Социал-Демократической Рабочей Партии и Партии Социалистов-Революционеров".

В марте 1918 г. были созданы окружные и областные народные суды, которые дополнили местные суды и стали разбирать дела, связанные с преступлениями граждан против граждан: воровство, телесные повреждения, убийства и т. д. Судьи в этих судах были выборными и должны были руководствоваться правительственными декретами; если специальных правительственных указаний не хватало, то они должны были следовать "своему социалистическому правосознанию". Декрет, принятый в ноябре 1918 г., формально запретил судьям в народных судах ссылаться на дореволюционные законы; он также объявил народный суд "не стесненным никакими формальными доказательствами".

В соответствии с российской традицией рассматривать преступления против государства и его представителей иначе, чем преступления против частных лиц, большевики одновременно ввели новый тип судов, названный по примеру подобных институтов периода Французской революции "революционными трибуналами". Революционные трибуналы должны были судить граждан, обвиняемых в "контрреволюционных" преступлениях, а также в саботаже, спекуляции, злоупотреблении властью и т. п. Первого января 1918 г. Наркомюст издал инструкцию, которой должны были руководствоваться революционные трибуналы. В ней говорилось, что "меру наказания Революционный Трибунал устанавливает, руководствуясь обстоятельствами дела и велениями революционной совести".² О том, как определять "обстоятельства дела" и что такое "революционная совесть", ничего не было сказано. По сути дела, с момента своего основания революционные трибуналы представляли собой лишь пародию на суд и приговаривали людей к различным наказаниям, в том числе к смертной казни, исходя лишь из видимости "вины". Этот произвол стал еще более явным по мере того, как процедуры революционных трибуналов подверглись "рационализации": к 1920 г., для ускорения процедуры, трибунал мог уже обходиться без таких неуклюжих и поглощающих массу вре-

¹ Декреты советской власти, т. I, М., 1957, стр. 124–126.

² Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства, вып. 12, 1917, стр. 179–181.

мени пережитков "буржуазного" закона, как опрос свидетелей и прения сторон.¹ Судьи и другие члены трибуналов должны были выбираться местными советами. Однако, поскольку весной 1918 г. правительство очистило советы от меньшевиков, эсеров и других социалистов, посадив на их места большевиков и им сочувствующих, это означало, что революционные трибуналы в короткое время превратились в трибуналы большевистской партии, замаскированные под общественные суды.²

Таким образом, в 1918 г. народы России очутились в беспрецедентной ситуации. В стране были суды, но не было законов, которыми бы эти суды руководствовались; людей наказывали за преступления, но преступления эти нигде не определялись. Принципы *nullum crimen sine lege* и *nulla poena sine lege* — "где нет закона, там нет преступления" и "где нет закона, там нет наказания", — которые со времен Римской империи составляли основу западной юриспруденции, были выброшены как ненужный балласт.

Но на этом дело не кончилось; наряду с новой псевдоюридической системой большевики создали параллельную систему полицейских институтов, облеченных юридической властью, которые даже не пытались придать своей деятельности видимость юридической процедуры. Большевики обнаружили, что хотя они предоставили революционным трибуналам полную свободу рук, трибуналы не проявили жестокости, достаточной для искоренения врагов режима, как того желал Ленин. Полуграмотные рабочие, возглавлявшие трибуналы, оказались гуманнее, чем их полуобразованные наставники из интеллигенции. Статистические данные о приговорах, вынесенных этими трибуналами, показывают, что трибуналы приговаривали к смертной казни крайне неохотно. В первый год существования трибуналов они приговорили около трети обвиняемых к каторжным работам, еще треть — к штрафам, и лишь 14 обвиняемых из 4483 было осуждено на смертную казнь.³ Новая власть была огорчена этим нежеланием "пролетарских судов" применять смертную казнь, в котором, без сомнения, сказалось традиционное для русского народа отвращение к казни. Ленин был убежден в эффективности казней, с помощью которых он мог одновременно и избавиться от своих противников, и запугать остальное население. При каждой возможности он ужесточал советские законы, вводя обязательные приговоры, которые, как с характерным для него добродушием выражался Троцкий, "укорачивали человека на длину головы". Например, в 1922 г., когда группа юристов вырабатывала проект первого Уголовного Кодекса РСФСР, Ленин, полагая, что в этом проекте недостаточно часто предусматривается смертная казнь, писал председателю редакционной комиссии: "По-моему, надо расширить применение расстрела".⁴ В течение двух месяцев после захвата власти Ленин создал аппарат политической полиции — ЧК, подчинившийся непосредственно ему как главе государства. Тщательно отобранные сотрудники ЧК не только не возражали против казней, но зачастую извлекали из них подлинное удовольствие.

В декабре 1917 г., когда была создана Чрезвычайная Комиссия, судебной власти у нее еще не было: ее задачей было выявление "контрреволюционеров", "спекулянтов", "саботажников" и т. п. и передача их революционным трибуналам. На короткий пе-

¹ "Трибунал вправе прекратить допрос и не допрашивать остальных свидетелей, если признает дело и обстоятельства... достаточно выясненными". "Трибунал вправе постановить о недопущении прений сторон после заключения судебного следствия, если признает дело в достаточной степени... выясненным". (Декрет ВЦИК "О революционных трибуналах", 18 марта 1920 г.). Советская прокуратура в важнейших документах. М., 1956.

² Чтобы быть назначенным судьей в революционный трибунал, требовалось всего лишь быть грамотным и иметь советское гражданство. По современным статистическим данным, 60% судей в этих трибуналах не имели законченного среднего образования; 90% были членами большевистской партии. М. Кожевников, История советского суда. 1917—1956. Москва, 1957, стр. 40.

³ "Пролетарская революция и право", №№ 1/11, 1919, стр. 70.

⁴ В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, 5-е изд. т. 45, М., 1964, стр. 189.

риод, зимой 1917–18 гг., по настоянию левых эсеров большевики даже согласились сделать ЧК подотчетной Наркомюсту. Однако такое положение вещей оказалось недолговечным. Когда усилилось внутреннее сопротивление и возросла угроза извне, Ленин передал ЧК неограниченную власть над жизнями советских граждан. В декрете "Социалистическое отечество в опасности", который охваченный паникой Ленин издал в феврале 1918 г., когда германские войска возобновили наступление на Россию с очевидной целью лишить его власти, Ленин распорядился: неприятельские агенты, спекулянты, громилы, хулиганы, контрреволюционные агитаторы, германские шпионы расстреливаются на месте преступления.¹ Право применять этот декрет — неопределенный по своему охвату, но с конкретными и необратимыми результатами его применения — было передано ЧК, которая таким образом получила "мандат на убийство": такой мандат, судя по популярности легенды о Джеймсе Бонде, обладает привлекательностью для широких народных масс. Затем, учитывая гигантский размах операций ЧК, в число которых входила и борьба со всеми "экономическими преступлениями", иначе говоря, с частной торговлей, было решено наделить ЧК и судебной властью. В октябре 1919 г. в рамках ЧК был создан Особый революционный трибунал, чтобы побыстрее выносить приговоры, — в том числе и о смертной казни. Было специально отмечено, что "особый революционный трибунал в своих суждениях руководствуется исключительно интересами революции, а не связан какими-либо формами судопроизводства". Решения этого трибунала не подлежали обжалованию. ЧК в полной мере воспользовалась преимуществами своей власти — десятки тысяч подозреваемых, в том числе и заложников, за которыми не было никакой вины, даже по непринужденным меркам большевистской юстиции того времени, были убиты, иногда с соблюдением судебных формальностей, а иногда и без этого.

Порой в защиту таких действий говорят, что у большевиков не было иного выбора, как обратиться к таким бесцеремонным методам отправления правосудия, поскольку они находились под беспрестанными атаками внутренних и внешних врагов. Даже оставив в стороне вопрос о том, есть ли у правительства моральное право удерживать свою власть такими методами, — право, в котором обычно отказывают так называемым "фашистским" режимам, — должно быть ясно, что нарушение всех и всяческих законов со стороны большевиков не было просто реакцией на создавшееся положение. В конце концов, основной Декрет о суде от декабря 1917 г. появился прежде, чем возникло какое бы то ни было организованное сопротивление большевистской диктатуре, и остался в силе и после гражданской войны. Скорее можно сказать, что эти меры отражали социальную философию, отбрасывавшую необходимые судебные процедуры как "буржуазный" пережиток. Не оппозиция и "контрреволюция" вызвали эти меры — они могли лишь поощрить их.

*

Подоплеку большевистских нарушений законности можно проанализировать на двух уровнях: теоретическом, или доктринальном и психологически-политическом.

С точки зрения доктрины основным является тот факт, что по теории Маркса и Энгельса право представляет собой часть надстройки и как таковое служит исключительно интересам класса, контролирующего базис, иначе говоря, средства производства. Это предположение кажется разумным в терминах марксистской схемы, хотя оно не может выдержать научной критики; мягко говоря, это полуправда. Даже если закон и суды часто действительно защищают статус-кво и интересы тех, кто занимает экономически ведущие позиции, право, помимо этого, занимается и многим другим. Безусловно, пра-

¹ Декреты советской власти, т. I, стр. 490–491.

вящему классу жилось бы лучше вообще без всяких законов. Если бы существование права, регулирующего общественные отношения, было выгодно только господствующему классу, то положение раба и крепостного, стоящих вообще вне всякого права, было бы предпочтительнее положения свободного человека. Этому противоречит как исторический опыт, так и здравый смысл. Стоит лишь сравнить социальные условия бедных в тех обществах, где уважают закон, с положением их в тех обществах, где закон слабо развит, чтобы увидеть, что первым живется сравнительно лучше, а не хуже.

То, что у Маркса и Энгельса было лишь безответственной социологической спекуляцией, стало чудовишной действительностью для миллионов русских, когда ученики Маркса и Энгельса захватили власть в этой стране. Для Ленина теория надстройки являлась квинтэссенцией марксизма, поскольку она давала ему удобный критерий для отделения друзей и последователей от врагов. Ленин всегда разделял человечество на четко очерченные, непримиримые категории "буржуазии" и "пролетариата"; он мыслил понятиями черного и белого, не признавая никаких оттенков. Он презрительно отрицал существование каких бы то ни было постоянных человеческих ценностей, независимых от классовой основы и не связанных с классовыми интересами. Этот принцип, конечно, применялся также и к таким понятиям, как "справедливость" и "права человека", которые для него были не вечными истинами, а всего лишь исторически обусловленными и экономически определяемыми классовыми понятиями. В буржуазном государстве функцией права была охрана частной собственности; в социалистическом государстве его функцией стала ликвидация частной собственности и ее владельцев, буржуазии. Для Ленина право было всего лишь инструментом государства в проведении классовой борьбы. "Нам нужно государство, нам нужно принуждение, — писал он. — Органом пролетарского государства, осуществляющим такое принуждение, должны быть советские суды"¹. Исходя из этой предпосылки, Ленин, захватив власть, быстро превратил юстицию в служанку политики. С тех пор и по сей день для советских юристов стало обычным делом определять закон как "метод управления", функцией которого является содействие "укреплению советского государства и развитию социалистической экономики"². Такой подход неизбежно означал, что никакие объективные концепции правого и неправого, виновного и невинного не могут существовать: существует лишь субъективно определяемая политическая целесообразность.

Н. В. Крыленко, занимавший высокие юридические посты при Ленине, а позднее служивший при Сталине прокурором, выделил целесообразность как "основную и руководящую идею всей нашей судебной политики"³. Еще в 1918 г. этот светоч большевистской юриспруденции высмеял юстицию, определив ее всего лишь как эвфемизм для слова эксплуатация:

"Одним из наиболее распространенных софизмов буржуазной науки является утверждение о какой-то особой природе суда как института, который призван осуществлять некую особую "справедливость", как моральную сверхклассовую ценность, независимую в своем существе от классового строения общества, классовых интересов борющихся групп и классовой идеологии господствующих классов... "Справедливость да царствует в судах", — едва ли можно придумать горшую насмешку над действительностью, чем та, которая выражена так превыспренно в приведенной фразе. Параллельно можно привести еще целый ряд подобных же софизмов... Буржуазное "право", буржуазная "справедливость", интересы "гармонического развития" буржуазной "личности"...

¹ В. И. Ленин. Сочинения, 2-е изд., т. XXII, М., 1935, стр. 424

² Сорок лет советского права, т. I, Л., 1957, стр. 35, 72.

³ Проект Уголовного Кодекса Союза ССР. "Советское право", № 1/2, стр. 99.

В переводе на простой язык жизненных фактов это означало, прежде всего, охрану частной собственности”...¹

При таком взгляде на право и суды Крыленко, естественно, доказывал, что с практической отменой частной собственности в советской России нужда в формальной законности уже сведена до минимума, а со временем она полностью исчезнет — по мере того, как новый социальный порядок ”уничтожит в зародыше” те ”психологические эмоции”, которые ведут к преступлению. Было бы любопытно узнать, о чем думал Крыленко в 1938 г., когда его, осужденного ”пролетарским судом”, которому он служил так верно, сталинские палачи вели на расстрел.

Однако большевистская доктрина всегда представляла собой инструмент чрезвычайной гибкости: не стоит даже пытаться объяснить поведение большевиков исключительно исходя из их теории. Если бы Ленин и его соратники сочли традиционные правовые процедуры полезными, они бы сохранили их или изменили, как они поступили с регулярной армией — после того, как поклялись навсегда уничтожить этот ”буржуазный пережиток”. Если они не сделали этого по отношению к правовым институтам, значит решающую роль в этом сыграли другие, более практические соображения.

Одно из таких очевидных соображений — это то, что суды и закон ограничивают власть государства: вопреки марксизму, они не только служат интересам правящего класса, но и ограничивают его власть. В судах, служивших интересам Ленина, должны были заседать люди, подчинявшиеся большевистской дисциплине, которых можно было отозвать, если они не делали того, что от них ожидалось. По сути дела, это были люди, подчинявшиеся приказам партии, а не объективным правилам. Закон как таковой должен был толковаться самым широким образом как политический инструмент, служащий интересам режима, каковыми бы эти интересы ни были в каждый данный момент. Такой взгляд, конечно, не имел ничего общего ни с судами, ни с правом.

Другое, менее очевидное соображение, заставившее Ленина уничтожить право и юриспруденцию как независимые институты, было связано с революционной стратегией. Подобно другим радикальным деятелям своего поколения, Ленин тщательно изучил историю прошлых революций. Ленин был прежде всего стратегом и тактиком, который подходил к революции, как иные могли бы подходить к войне. Он тщательнейшим образом рассматривал успехи и неудачи — в основном, правда, встречались неудачи — предыдущих попыток революции. Он рассматривал их с той же холодной научной беспристрастностью, с какой честолюбивые генералы в военных академиях изучали сражение при Каннах, классическую битву на уничтожение, в которой Ганнибал истребил римские легионы. Подобно Марксу, Ленин особенно тщательно изучал опыт недолговечной Парижской Коммуны 1871 г., классическую модель социалистической революции — как в положительном, так и в отрицательном смысле. Он был очарован марксовым анализом Парижской Коммуны, сделанным в работе ”Гражданская война во Франции”, а также в переписке с Кугельманом. Ленин редактировал русские переводы обеих этих работ Маркса. Своей путеводной звездой Ленин сделал один отрывок из письма Маркса к Кугельману; оно было написано в апреле 1871 г., когда Парижская Коммуна испускала дух. В этом отрывке Маркс говорил, что Парижская Коммуна продемонстрировала, что социалистам недостаточно захватить старый политический аппарат и приспособить его к собственным целям: ”По моему мнению, ближайший подъем французской революции будет попыткой не передать бюрократически-военную машину из одних рук в другие, как это бывало до сих пор, а разрушить эту машину. Именно таково предварительное условие всякой действительно народной революции на континенте”.²

¹ Революционные трибуналы, ”Вестник жизни”, № 1, 1918, стр. 81.

² К. Маркс, Письма к Кугельману (англ. пер.). N. Y., 1934, p. 123.

Ленин сделал это тезис центральным пунктом своей работы "Государство и революция", которую он написал летом 1917 г. в качестве своего политического завещания. В этой работе он призывал своих последователей разрушить все институты буржуазного режима, чтобы таким образом сделать невозможным возникновение контрреволюции — той самой контрреволюции, которая в прошлом неизбежно, поздно или рано, поднимала голову и восстанавливала прежний порядок. Право, конечно, было важным элементом старого порядка, и как таковое, должно было быть уничтожено. Коммунары сделали ошибку, заменив судей, но сохранив старые законы и юридические процедуры. Ленин был полон решимости избежать этой ошибки. В соответствии с этими соображениями в первый период своего правления Ленин не только терпел, но и раздувал пламя русского анархизма. Он был уверен, что спонтанные разрушительные силы, освобожденные революцией, выжгут русскую землю, как это произошло в наполеоновские дни. В этом случае сгорят не только деревни и города, но и вся цивилизация. Беззаконие в руках Ленина превратилось в необходимый для государственного деятеля инструмент. Оно должно было очистить почву для нового порядка.

*

Ленину удалось добиться в этом значительных успехов, ибо для огромного большинства русских уничтожение правовой процедуры почти во всех ее видах не было таким отвратительным, как это было бы для людей, выросших в западноевропейских традициях.

Русские мужики, составлявшие почти девять десятых всего населения России, мало соприкасались с законом в его более абстрактной, философской форме. Прежде всего почти все они были потомками либо крепостных, либо государственных крестьян; сотни лет их предки должны были подчиняться самодурству помещиков и чиновников, не имея возможности обратиться к закону. Во-вторых, русские крестьяне в отношениях между собой руководствовались традиционным правом, которое отличалось не только от района к району, но и от деревни к деревне. В русском традиционном праве не было формальных процедур защиты прав обвиняемых: это было право, основанное на здравом смысле, и община отправляла правосудие, исходя из традиций, часто полузабытых, из репутации участников дела и "обстоятельств дела". Один наблюдатель, имевший хорошую возможность наблюдать за работой крестьянских судов, пришел к выводу, что их решения не основываются на законе или принципах правосудия и что они выносят вполне произвольные решения. Свои замечания о дореволюционной деревне этот наблюдатель заключает следующим образом: "Стоимиллионное крестьянское население в повседневной жизни жило без закона".¹ Историк А. Ефименко сопоставила западные традиции римского права с традициями, преобладавшими в XIX в. среди русских крестьян. В то время как западная юриспруденция, писала она, основывалась на принципе *fiat justitia et pereat mundus* — "пусть свершится правосудие, даже если погибнет мир" — русский народ предпочитал субъективные мерки правосудия, задачей которого было не столько утверждение закона, сколько предотвращение страданий.² Когда серьезность преступления требовала передачи дела в городской суд, где дело вел профессиональный судья-юрист, где на судебных заседаниях присутствовали профессиональные адвокаты, крестьянин чувствовал, что попал в руки мошенников. Зачем адвокат берет деньги, даже с заведомо виновной стороны, если не для того, чтобы подкупить судью?

¹ Г. В. Слиозберг. Дела минувших дней, т. II, Париж, 1938, стр. 249–250.

² А. Ефименко. Исследования народной жизни, т. I, М., 1884, стр. 174.

Все, что мы знаем об отношении русских крестьян к закону и судам, говорит об одном: крестьянам с их взглядами на закон большевистское бесцеремонное "революционное", субъективное право было ближе, чем сложная "объективная" система, перенесенная на русскую почву с Запада монархией за пятьдесят лет до революции. Коренное различие заключалось, конечно, в том, что крестьянское правосудие имело дело с замкнутой деревенской общиной, где преступления были не так серьезны, где все знали всех, все были в той или иной степени знакомы с традициями; большевистское же "правосудие" охватило широкий спектр преступлений в сложном обществе, состоявшем из сотен городов и десятков тысяч деревень.

Однако и русские образованные классы не показали глубокого знания закона или уважения к нему. Б. Кистяковский заметил, что Россия, столько давшая миру в области литературы и искусства, не создала ничего оригинального в области юридической мысли, не дала сколько-нибудь видных юристов. По его мнению, русская интеллигенция никогда не восхищалась законом и не ценила его социальную функцию: некоторые из самых выдающихся представителей интеллигенции, среди них Александр Герцен, доказывали даже, что отсутствие правового сознания у русского народа представляет собой преимущество, ибо позволяет более гладко перейти к идеальному обществу будущего.¹ Беззаконие русского правительства, даже после судебной реформы 1864 г. и введения конституции в 1906 г., пользовалось дурной славой; с мучительной болью писали о нем просвещенные современники.²

Историк вынужден заниматься обобщениями: отдельные события служат для него большей частью лишь иллюстрациями к абстрактной истине. Однако, когда общество распадается из-за отсутствия признанного правительства и закона, как это случилось в России в 1918 г., невозможны никакие обобщения, и иллюстрации становятся реальностью. Такие изолированные случайные явления лучше всего схватывает литература; в самом деле, до сих пор не написано ни одной исторической работы, которая показывала бы русскую жизнь в этот ужасный период так немногословно и с такой глубиной понимания, как это сделал Борис Пильняк в своем романе "Голый год". Если мы хотим понять, как многомиллионное общество функционировало, когда его лишили той самой силы, которая его связывала, а именно закона, мы должны обратиться к литературе. Ибо не подлежит сомнению, что в жестоком хаосе 1918 г. жизнь продолжалась. Перепись 1926 г. сообщает нам с холодной объективностью статистики, что в этом году в Российской Советской Республике было два миллиона семилетних детей, три четверти которых должны были быть зачаты в разгар незаконного террора, усугублявшегося холодом и голодом, — в 1918 г.³ Так что страсть, безусловно, выжила, и, должно полагать, выжила и любовь. Некоторые привычки так глубоко укоренились и настолько естественны для человека, что им удается победоносно вынести даже такие бесчеловечные испытания. Леонид Андреев наблюдал жизнь в этом обществе, в котором люди, по уже приводившимся словам Мак-Ивера, "потерялись, не знали, куда идти, не знали, что делать". В дневнике Леонида Андреева за апрель 1918 г. мы находим следующую запись:

"Мы живем при необыкновенных условиях, еще понятных для биолога, изучающего жизнь плесени и грибка, но недопустимых для психосоциолога. Закона нет, власти нет, весь общественный строй без охраны. Кто нас охраняет? Почему мы еще живы, не ограблены, не выгнаны из дому? Старой власти нет; кучка неведомых красногвардейцев сидит на окрестных станциях, учится стрелять (у нас недурное эхо), делает продовольственные и за оружием обыски и дает "разрешения" на поездки в город. Ни телефона,

¹ Б. Кистяковский. В сб. "Вехи", М., 1909, стр. 126–130.

² См., например, статью В. Маклакова "Законность в русской жизни", "Вестник Европы", май 1909, стр. 238–275.

³ Всесоюзная перепись населения 1926 г., т. IX, М., 1926, стр. 126.

ни телеграфа. Кто нас охраняет? Остатки разума; случайность, что не заметили и никто не захотел; наконец, некоторые общечеловеческие культурные навыки, порою простые, бессознательные привычки: ходить по правой стороне, говорить "здравствуйте", встречаясь, снимать свою шапку, а не чужую. Музыка давно уже умолкла, а мы, как танцоры, все еще ритмично движем ногами и кланяемся под неслышную мелодию закона".¹

*

Так продолжалось в течение двух лет. Затем, в ноябре 1919 г., Красная Армия разбила и рассеяла Добровольческую армию Деникина, последнего серьезного соперника в борьбе за власть. Большевики превратились де-факто в правителей большей части того, что некогда было Российской империей; вскоре они получили приглашение начать переговоры с зарубежными правительствами, включая Великобританию, что практически означало признание де-юре. Период революционной войны кончился, начался период обычного управления обществом, которое большевики покорили. Теперь им нужно было ввести в их все расширяющиеся владения административное единство. Сюда входило и единство юридических процедур, ибо большевики рассматривали право как часть администрации. И в самом деле, почти немедленно после победы над Деникиным, в декабре 1919 г., Москва изложила принципы новой "социалистической" правовой системы, которая должна была занять место существовавшего до тех пор "правового творчества масс".²

Ленинский взгляд на суды как на "органы принуждения" требовал крайне гибкого определения того, что является преступлением; это определение должно было дать советским судьям полную свободу осуждать лиц, считающихся в данный момент практически или потенциально опасными для режима. Потому в первом советском Уголовном Кодексе, опубликованном в начале 1922 г., когда у власти стоял еще Ленин, преступление определялось не объективно, как нарушение закона, но субъективно, как действие, причиняющее вред государству. Решающее определение мы находим в статьях 5 и 6 УК. В статье 5 говорится, что задачей Уголовного Кодекса является "охрана социалистического государства". В статье 6 содержится следующее определение преступления: "Преступлением признается всякое общественно-опасное действие или бездействие, угрожающее основам советского строя".³ Это определение, повторенное в Уголовном Кодексе 1926 г., дает формулировку того, что в русской юриспруденции известно под названием "материального" критерия преступления: оно оценивает поведение как преступное, исходя не из закона, а из политических последствий поведения.⁴ Исходя из этого определения, не нужно даже совершать действие, направленное против "советского строя", чтобы быть наказанным. Ибо по советскому Уголовному Кодексу в формулировке 1922 г. наказывалось не деяние, но намерение: то, что преступное намерение не удалось осуществить, служило в лучшем случае смягчающим обстоятельством.⁵ А поскольку "намерение" невозможно объективно определить, исчезли все критерии "вины": они

¹ Л. Андреев. Дело о самоубийстве России: фрагменты из дневника, "Страна и мир" № 6, 1985, стр. 65.

² М. Кожевников. История советского суда. 1917–1956. М., 1957, стр. 106.

³ Уголовный кодекс РСФСР. М., 1923, стр. 4.

⁴ Этот принцип имеет прецеденты в русском имперском праве: в 1714 г. Петр I издал указ, в котором, между прочим, говорится: "Многие, якобы оправляя себя, говорят, что сие не наказано было, не рассуждая того, что все то, что вред и убыток государству приключити может, суть преступления". См. В.Н. Латкин. Учебник истории русского права периода империи (XVIII и XIX ст.), изд. 2-е, СПб. 1909, стр. 457.

⁵ R. Schlesinger. Soviet Legal Theory. N. Y., 1945, p. 76.

просто теряли смысл. Расширяя ленинскую философию права, крупный коммунистический юрист 20-х годов уверял, что при определенных обстоятельствах нет никакой необходимости устанавливать вину подсудимого, чтобы наказать его.¹ Видный деятель ЧК М. И. Лацис (позже также погибший в сталинских чистках) в 1918 г. объяснял эту правовую философию, не мудрствуя лукаво:

”Мы не ведем войны против отдельных лиц. Мы истребляем буржуазию, как класс. Не ищите на следствии материалов, что обвиненный действовал делом или словом против советов. Первый вопрос, который мы должны ему предложить, — к какому классу он принадлежит, какого он происхождения, воспитания, образования или профессии. Эти вопросы должны определять судьбу обвиняемого...”²

От таких формулировок, которые определяют право государства ”уничтожить” гражданина не за то, что он делает, а за то, кем он является, всего лишь один шаг до геноцида — будь то истребление классов или народов.

*

Эта пародия на право и правосудие имела двоякий эффект. С одной стороны, такое субъективное, ”материальное” определение преступления позволило коммунистическому режиму физически уничтожить или иным образом обезвредить отдельных людей или группы, стоявшие на его пути, и сделать это так, что у простого обывателя создавалось впечатление законности происшедшего. Согласно широко распространенному мнению, поддержанному его наследниками, Сталин, совершая свои чудовищные убийства, нарушал нормы ”социалистической законности”. На самом же деле Сталин не отступал от ленинского Уголовного Кодекса. Даже когда наследники Сталина, стремившиеся предотвратить возврат сталинского террора, истребившего, наряду с прочими, и коммунистический аппарат, попытались поставить на пути карательного произвола правовые преграды, они обнаружили, что не могут избежать наследства Ленина-Сталина. Пересмотренный вариант Уголовного Кодекса 1926 г., опубликованный в 1957 г., содержал, правда, потрясающее признание в том, что преступление, в конце концов, означает нарушение закона. В новом Кодексе, утверждали его авторы, исключена возможность судебного наказания для лиц, которые не были найдены виновными в совершении того или иного определенного преступления.³ Однако этому принципу противоречило то, что в новом кодексе были сохранены все старые, неясные определения состава преступления, в том числе и печально знаменитые статьи 58 и 59, по которым гражданин мог быть обвинен в преступлении за широчайший спектр крайне расплывчатых ”контрреволюционных” действий или бездействий. Похоже, что для тотального господства, к которому стремятся коммунистические режимы, невыносима сама мысль подчиняться какому-либо закону, даже своему собственному.

В то же самое время политическая эксплуатация закона привела к тому, что любой коммунистический режим находится в состоянии постоянной войны со своим собственным обществом. Ибо закон не только ограничивает политическую власть, он также и укрепляет ее. Нормы поведения, которые закон устанавливает для общества, позволяют последнему самостоятельно функционировать и, при нормальном ходе событий, делают ненужным государственное вмешательство в общественные дела. Но там, где закон — всего лишь выражение сиюминутных интересов государства, такие нормы отсутствуют, и государство должно поэтому прибегать к колоссальным усилиям, чтобы удержать об-

¹ А. Н. Трайнин. Уголовное право. Общая часть. М., 1929, стр. 260.

² ”Красный террор”, Октябрь 1918. Цит. по кн.: ”Право советской России”, вып. 2-й, Прага, 1925, стр. 138.

³ Уголовный Кодекс РСФСР. М., 1957, стр. 146.

щество на желаемом пути: за неограниченную власть приходится платить неограниченной ответственностью. Более того, незаконность создает раскол между правителями и их подданными, незаконность убивает дух гражданственности. Свидетельством высокой цены, которую приходится платить за незаконность, могут служить патетические, но безуспешные призывы всех советских руководителей к своему народу — работать лучше, проявлять большую общественную сознательность, быть лучшими, более лояльными гражданами. В конечном итоге у коммунистических правителей не остается выбора: им приходится заменять отсутствующий дух гражданственности страхом и ксенофобией — ненавистью ко всему иностранному. Это, возможно, и создает нечто, напоминающее связь между правителями и обществом, но в то же время толкает коммунистические страны на опасный воинственный путь. ●

ИЗ ГАЗЕТ: 50 ЛЕТ НАЗАД ; 60 ЛЕТ НАЗАД

КОЛЬ РУБИТЬ, ТАК УЖ СПЛЕЧА

Первый закон, который является сейчас краеугольным камнем, ведущим законом, учащим и нас, и наших врагов должному отношению к нашей стране, это закон об измене родине. Этот закон принят по прямой инициативе величайшего вождя трудящихся товарища Сталина. Это жесткий закон, суровый закон, но такой закон, который мы, деятели социалистической страны, можем и должны применять по отношению к тем, кто нам изменяет. Это не значит, что этот закон вызван большим количеством измен. Он выражает только глубочайшее чувство возмущения, негодования и презрения к изменникам и наше общее решение беспощадно уничтожать тех мерзавцев, которые смеют ставить под опасность охрану наших границ.

Когда нам говорят: как же так, и члены семьи отвечают? — мы говорим: ну и что из этого? Не первый раз в истории нашей революции мы применяем такую форму репрессии. Вот что Ленин писал в конце 1918 года: "Личная ответственность бывших капиталистов или бывших владельцев предприятий во всех главках и центрах — заключение тюрьмой, бывшие капиталисты — расстрел, их семьи — арест!" И по отношению к таким преступлениям, как измена родине, мы проводим этот принцип, не стесняясь и не считаясь с воем и визгом наших врагов.

*Доклад наркома юстиции СССР Н. В. Крыленко
об изменении кодексов РСФСР.
"Правда", 12 февраля 1936 г.*

ПОЦЕЛОВАЛ И ВЕЛЛ РАССТРЕЛЯТЬ

Крестьянский сказ.

Был у Ленина товарищ, друг что ни на есть первейший, — разверстки комиссар. И вот сказали Ленину, что друг-то его этот обижает мужиков, да живет несправедливо, добро народное не бережет.

Призвал его Ленин и говорит:

— Ты друг мой, верно это?

Тот молчит, голову опустил. А Ленин ему:

— Мужика теснить ты права не имеешь. Потому мужик — большая сила в государстве, от него и хлеб идет. Значит, как друга своего, наказать тебя должен примерно.

Поцеловал тут Ленин друга-то, попрощался с ним, отвернулся и велел его расстрелять.

Вот он, Ленин-то, какой. Справедливость любил.

"Правда", 21 января 1926 г.

Сергей МАКСУДОВ (Бостон)

3. ЖДЕТ ЛИ РОССИЮ КАТАСТРОФА?

Мы уже писали о том, что демографическая революция в Советском Союзе началась позже, чем в Западной Европе, но раньше, чем в странах Азии, Африки и Южной Америки. С той же очередностью эта революция приближается к концу.

Численность населения западноевропейских стран уже практически стабилизировалась, рождаемость и смертность держатся здесь примерно на одном уровне с небольшими колебаниями в ту или другую сторону. Численность славянских народов продолжает расти, но темпы роста уменьшаются (0,5–1%). Число рождений на тысячу женщин в возрасте от 15 до 49 лет на протяжении последних двух десятилетий остается близким к двум. В основе этой стабильности лежат достаточно сложные и интересные процессы, но рассмотрение их выходит за рамки данной статьи.

В восточных и южных районах Советского Союза наблюдается в общем та же тенденция, что и в Европе, хотя темп изменений иной. За те же двадцать лет число рождений в Армении снизилось с 5,3 на тысячу женщин в возрасте 15–49 лет до 2,3; в Туркмении — с 6 до 4,9.

Тем не менее эти тенденции, характерные для всего мира, воспринимаются в национально мыслящих кругах (среди так называемых патриотов умирающей родины) как катастрофа, грозящая всему русскому народу. В последнее время появилось несколько работ, в которых утверждается — со ссылками на расчеты, — что скоро русских вообще не будет. Останутся евреи, прибалты, немного украинцев, останутся и будут по-прежнему размножаться тюркоязычные и закавказские народы, а русские просто сойдут на нет.

Предчувствие беды на оставленной родине — естественный феномен эмигрантского сознания. Однако в наш компьютерный век любые утверждения принято подкреплять надежной статистикой. Соответствующие данные берутся из статей западных журналистов или из работ советологов, но "корректируются" и переосмысливаются в апокалиптическом ключе. Все аргументы этого рода стоят друг друга и к тому же постоянно повторяются. Поэтому нет надобности разбирать все работы, достаточно нескольких.

Возьмем, к примеру, статьи проф. Д. Поспеловского "Демографическая катастрофа в России" ("Посев" № 3, 1983) и "Размышления над работой М. Фешбаха" ("Грани", № 2, 1983).¹

Легко видеть, что главная причина трагического мироощущения проф. Поспеловского — относительно быстрый рост численности народов Средней Азии по сравнению с РСФСР. В этом общеизвестном факте автор усматривает предвестие близкой гибели ос-

Заключительная статья цикла "Демографические очерки". Первый очерк, "Численность русского народа", напечатан в № 3 за 1984 г., второй — "Плодитесь и размножайтесь" — в № 5, 1984.

¹ Опубликованная в 1980 г. работа американского советолога Меррея Фешбаха о росте детской смертности в СССР вызвала значительный интерес. Проф. Поспеловский рассматривает более позднюю работу Фешбаха "The Soviet Union: Population Trends and Dilemmas", 1982.

новых "европейских национальностей СССР", "демографической катастрофы номинально-христианского населения СССР", наконец, "демографической катастрофы России".

Действительно, в последние десятилетия численность ряда мусульманских народов нашей страны растет довольно быстро. Но почему же это катастрофа для славян? Почему бы в таком случае не считать катастрофой для нас рост населения Африки или увеличение числа индийцев?

Ужас, в который приводят Д.Поспеловского высокие цифры в сочетании с наименованиями мусульманских народов, столь велик, что он не считает нужным объяснить читателю, почему же, собственно, это так страшно.

Как всегда в подобных случаях, размеры грозящей катастрофы преувеличиваются. Вопреки общей тенденции двадцатого века — росту численности неевропейских народов (в том числе и нехристианских), русские сохраняют в своей стране достаточно устойчивое большинство. По первой Всероссийской переписи 1897 г., русские составляли 44% населения империи, три основных восточнославянских народа, вместе взятых, — 65%. По последней переписи 1979 г., русских оказалось 52%, а русских, украинцев и белорусов — 72%. Правда, за минувшие десятилетия конфигурация страны изменилась; в состав сегодняшней империи не входят Польша и Финляндия. Но и с учетом этих поправок ни о какой демографической катастрофе не может идти речь. Нам уже приходилось полемизировать с проф. Поспеловским по этому поводу. Сошлемся на приведенную нами в очерке "Численность русского народа" цифру прироста русского населения за последнее десятилетие: 8,3 процента.

Перейдем к "проблеме" неславянских народов советского Востока. На протяжении последних десяти лет некоторые из них, как уже сказано, растут быстрее русского ("относительная катастрофа"). Но допущение патриотов умирающей родины, что рост численности этих национальностей на столь же высоком уровне будет продолжаться еще 50 или 70 лет, ничем не обосновано. Вопрос об удельном весе разных народов в будущем — тема сама по себе весьма интересная, требующая отдельного разговора. Пока же остановимся на аргументах Д.Поспеловского, якобы свидетельствующих об ухудшении демографической ситуации русского населения.

Автор утверждает, к примеру, что смертность в районах с преобладанием русского населения растет быстрее, чем в мусульманских. Он пишет: "Несмотря на колоссальную разницу в рождаемости между РСФСР и среднеазиатскими республиками, вначале разница в показателях смертности была незначительной, а теперь она резко бросается в глаза." Приводится следующая таблица:

	Смертность на 1000 чел. насел. (1965—1980 гг.)				Не совсем ясно, что тут "бросается в глаза". Известно, что в наши дни подавляющую часть умирающих составляют не дети и не молодежь, а старики за 60 лет. Легко догадаться, что рост рождаемости в Таджикистане, увеличивающий общую численность населения, тем самым снижает и коэффициент смертности (свойство всякой дроби, у которой растет знаменатель). Абсолютное же число умерших зависит от рождаемости 60—70 лет назад и от уровня смертности в прошедшие годы. Более быстрый рост смертности в РСФСР по сравнению с Таджикской ССР означает, что на территории федерации в составе населения больше стариков, а это не только не катастрофа, но скорее преимущество русских областей.
	1965	1970	1975	1980	
РСФСР	7,6	8,7	9,8	11,0	
Таджикистан	6,6	6,4	8,1	8,0	

Отметим, что в том же положении находятся многие европейские народы. Так, в Швеции смертность, составлявшая в 1965 г. 10,1 на тысячу, к 1980 г. выросла до 11 на

тысячу. При этом, однако, средняя продолжительность жизни увеличилась до 76 лет — это на шесть-семь лет больше, чем в РСФСР, и на десять с лишним лет выше, чем у народов Средней Азии.

К слову сказать, проф. Пospelовский напрасно уверяет, что "прогноз продолжительности жизни строится на оценке средних показателей смертности, а так как Советский Союз ранее понес колоссальные потери в старших возрастных группах от голода, террора и войны, то по среднему возрасту своих жителей в 1950—1960 гг. он был одним из самых молодых государств в мире".

Ожидаемая продолжительность жизни — это среднее число лет, которое *может* прожить данное поколение при сохранении уровня повозрастной смертности. Но продолжительность жизни никак не связана с численностью отдельных поколений, и, возможно, как раз незнание этого обстоятельства привело профессора Пospelовского к ошибочным выводам.

Одним из признаков более тяжелой демографической ситуации русских Д. Пospelовский считает неблагоприятное соотношение числа мужчин и женщин в европейской части страны, связывая этот факт с ростом смертности мужчин в возрасте 20—44 лет. Он пишет: "Через 35 лет после окончания Второй мировой войны доля мужчин в населении наиболее урбанизированных республик СССР колеблется в пределах от 45,8% (Украина) до 46,2% (Эстония), в то время как в мусульманских республиках мужчины составляют от 48% до 49,1% общего населения этих республик, что вполне соответствует, как указывает Фешбах, средней пропорции мужчин в современных передовых западных странах (в США — 48,7)".

Совпадение пропорции мужчин в мусульманских республиках СССР и в "передовых западных странах" — момент совершенно случайный. Для мусульманских народов Советского Союза характерно, как это обычно наблюдается на Востоке, преобладание мужчин, хотя и нарушенное потерями и начавшейся модернизацией. В соседних государствах (Турция, Иран, Афганистан, Пакистан, Индия) и в наши дни сохраняется численный перевес мужчин. Напротив, русским и другим национальностям европейской части страны присуща тенденция западных стран — более высокая продолжительность жизни женщин, многократно усиленная повышенной убылью мужчин в годы войны, а также в результате репрессий. К современному росту смертности в стране эта деформация половозрастной пирамиды не имеет прямого отношения.

Останавливается проф. Пospelовский и на актуальной проблеме роста детской смертности в СССР: он напоминает, что "в 1975 г. министр здравоохранения СССР П.Буренков назвал цифру смертности младенцев 30,8. Оценка М.Фешбаха на 1980 г. — 39—40 смертей на тысячу младенцев в возрасте до 1 года". У неискушенного читателя, естественно, возникает представление, что за 1975—1980 гг. смертность детей в СССР выросла почти на 25%. В действительности цифра за 1975 г. рассчитана на основании советской методики, а за 1980 — по методике, предложенной Фешбахом и дающей результаты на 14,4% выше. Если пользоваться единой американской системой подсчета, смертность составит 35,2 на тысячу в 1975 и 39—40 в 1980 г.

Проф. Пospelовский не сообщает читателям о том, что советская оценка детской смертности в 1980 году меньше, чем у М.Фешбаха (соответствует 32 по американской методике). Чем обусловлено это расхождение? Фешбах считает советскую оценку заниженной как раз из-за огромной смертности в Средней Азии. Свое утверждение он иллюстрирует данными по тому же Таджикистану: в 1961 г. здесь умерло 28 младенцев на тысячу, в 1977 г. — 90, в 1979 г. — 60.

Отсюда следует, что общий рост детской смертности в СССР в 70-е годы обусловлен процессами, происходящими преимущественно в республиках Средней Азии, и отчасти объясняется улучшением системы учета. В свое время я писал об этом в статье "Некоторые причины роста смертности в СССР" ("СССР: внутренние противоречия", № 3,

1982) и рад отметить, что сейчас к тому же выводу склоняются многие американские ученые. В своих показаниях перед сенатской комиссией в сентябре 1983 г. ("The Political Economy of the Soviet Union", U.S. Government Printing Office, 1984, p. 150) М. Фешбах указал, что детская смертность в СССР, возможно, составляет сейчас 27–28 младенцев на тысячу новорожденных, то есть находится примерно на том же уровне, что и десять лет назад, когда перестали публиковаться официальные сведения. Конечно, хорошего в этих данных мало: тридцать младенцев на тысячу — это в несколько раз больше, чем в развитых государствах. Однако этот уровень смертности все-таки не настолько велик, чтобы говорить о надвигающейся катастрофе.

Анализируя причины смертности ("демографической катастрофы России"), Д. Поспеловский приводит фантастические "доказательства", опровержение которых удлинит бы эти заметки. Он пишет, например, что "трудовая перенагрузка" почти отсутствует у мусульманских женщин в селе, что "массовая медицина вообще не лечит в СССР людей с острыми инфекционными заболеваниями", что "русские кочуют с места на место больше других народов", в частности "из-за дискриминации при принятии в вузы и на работу", что "у русских наиболее высокий процент смешанных браков по всему СССР — до 51% за последние примерно 10 лет".

Все эти утверждения демонстрируют полную неосведомленность автора в вопросе, который он пытается обсуждать. Достаточно будет напомнить, что несмотря на то, что процент русских среди всего населения — 52,4%, несмотря на разбросанность по всей стране и повышенную долю горожан, русские реже вступают в смешанные браки, чем представители остальных наций страны.

Пожалуй, одно утверждение проф. Поспеловского заслуживает более подробного рассмотрения. Речь идет о росте генетических дефектов и аномалий у новорожденных. Поспеловский пишет: "Если Б. Комаров (см. "Уничтожение природы", изд-во "Посев"), как и Фешбах, оценивал ежегодный рост рождения детей с генетическими дефектами в 5%, то д-р В. приводит цифру роста в 10–15%, указывая прежде всего на экологические причины". Если принять за точку отсчета примерную дату написания книги Комарова, то сейчас каждый четвертый советский ребенок должен иметь, по Д. Поспеловскому, генетические нарушения.

Но и показатели, приводимые самим Б. Комаровым, малоутешительны. Они означают, что уже сегодня генетические дефекты имеются у каждого восьмого новорожденного. Получается, что к концу века неполноценной будет треть населения!

Возникает вопрос: почему в столь драматическом положении оказались только мы? Эти устрашающие сведения Б. Комаров приводит в разделе о загрязнении воздуха, почвы и воды. Но ведь, по его же данным, воздух в советских городах и селах (за исключением некоторых особо загрязненных промышленных районов страны) чище, чем в европейских или американских. И действительно, положение с атмосферой в Токио или Нью-Йорке более угрожающее, чем в Москве. Столь же ясно, что как ни печальна судьба Байкала, довести его до уровня загрязнения Великих озер вряд ли удастся даже за десятки лет.

Если в западных странах наблюдается такая же ужасающая картина, то почему не бьют тревогу средства массовой информации? Если же рост генетических повреждений у новорожденных — специфическая особенность СССР, то как умудряются избежать этого кошмара другие промышленно развитые и промышленно загрязненные государства? Без ответа на эти вопросы данные Б. Комарова, даже подтвержденные авторитетом М. Фешбаха, представляются сомнительными. ●

ПРИРОДА В ИДЕАЛЬНОМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Разговор с советским коллегой

1.

Прошло семь лет с момента выхода русского издания моей книги "Уничтожение природы. Обострение экологического кризиса в СССР." Книга была переведена на многие языки. Насколько мне известно, ни один из западных специалистов (экологов, экономистов и т. п.) не подверг сомнению сделанные в книге выводы.¹

Вместе с тем некоторые коллеги высказали сомнение по поводу того, что разрушение природы в Советском Союзе я прямо связываю с пороками существующей системы. Природу, мол, губят и на Западе. В США, Канаде и Европе с окружающей средой происходит примерно то же самое — может быть, даже хуже. В целом дела с природой в СССР пока не так плохи, а если положение станет критическим, русские справятся с бюрократией, межведомственными разногласиями, бесхозяйственностью и создадут эффективную систему охраны природы. Ибо что бы там критики ни говорили, у социализма серьезные преимущества в смысле охраны среды обитания: государственная собственность на землю, ресурсы и средства производства, механизм планирования и пр.

Несколько лет назад в Москве в неофициальных или полуофициальных беседах я слышал такие же высказывания от советских чиновников. Чиновники эти, или скажем по-советски, сотрудники Госкомитета по науке и технике признавали прогрессирующее разорение природы в стране, но уверяли, что если положение станет критическим (как случилось в Японии в конце семидесятых), будут приняты быстрые и эффективные меры. Надо сказать, в их устах это "будет" звучало менее уверенно, чем в рассуждениях западных поклонников социализма. Ведь в Москве сотрудники Комитета объясняли это людям, выросшим при социализме и потому тоже знающим что к чему.

Советская пресса, особенно в последние годы, не скупится на резкие выражения по адресу "губителей родной природы". Целые союзные министерства и даже Госплан, по убеждению "Известий", несут ответственность за порчу рек в Сибири и в Карелии, за скопление десятков миллионов тонн золы в отвалах теплоэлектростанций и другие безобразия. Все дело в том, уверяет газета, что в работе по охране природы не используются достижения и величайшие преимущества плановой системы, советской науки и техники.

Похоже, однако, что ни "Известия", ни академики Н. П. Федоренко и А. Г. Аганбегян, часто выступающие по этим вопросам, не могут сказать, когда же система охраны природы будет полностью соответствовать огромным возможностям социалистического строя. Вот я и решил несколько опередить развитие "развитого социалистического общества" и в одном из своих исследований задался вопросом: положим, все недостат-

¹ Советская пресса просто игнорировала книгу, сделав вид, что ее не существует. Советские ученые во время пребывания на Западе отказывались отвечать на вопросы о ней. Не опровергали ни одного факта, ни одной цифры. Даже не называли клеветой... Почему? Не знаю.

ки, о которых говорят советские специалисты, исправлены. Что случится с социалистической природой тогда?

2.

Советские специалисты утверждают, что основной ущерб окружающей среде наносит несогласованность действий министерств добывающих и перерабатывающих. Согласимся, что совершенствование социалистической системы позволит эти недостатки устранить. Предположим, что они уже преодолены.

Мои коллеги считают, что определенный урон природа терпит из-за того, что министерства и ведомства плохо используют выделяемые им на охрану природы средства. Согласен и с этим. В рассматриваемом варианте все министерства уже исправились. Далее. "Главный эколог СССР" — председатель Комитета по метеорологии и контролю за состоянием окружающей среды, член-корреспондент АН СССР Юлий Израэль ратует за организацию единой Общесоюзной экологической службы. По его идее, в состав службы должны войти все ведомственные станции, измеряющие загрязнение воздуха, вод, моря, почв, все лаборатории и научные институты, прямо связанные с охраной среды (сейчас все это разбросано по доброму десятку ведомств). Будем считать, что такая служба уже существует.

Известный советский юрист Олег Колбасов, активный участник всех советско-американских совещаний по вопросам охраны окружающей среды, требует, чтобы подобная служба стояла выше всех отраслевых министерств, чтобы она предписывала правила и стандарты, могла наказывать виновных и поощрять тех, кто строго соблюдает все экологические нормы. Подчиняться такая служба будет лишь Совету министров, подобно тому как в США Агентство окружающей среды подчиняется непосредственно президенту. Требование вполне разумное, не правда ли? Примем его. Теперь у нас есть и экологическая служба, поставленная законом выше любого отраслевого министерства!

Итак, основные препятствия для эффективной охраны среды в Советском Союзе преодолены — исходя из этого, мы и строим свой анализ. Что же произойдет с природой на огромном пространстве от Калининграда до Чукотки?

Легко предсказать, каким будет первый шаг полномочной экологической службы — Байкал! Конечно, Байкал — главнейшая забота советских экологов, писателей да и вообще всех людей, которым небезразличны судьбы России. Несколько последовательно работавших комиссий Академии Наук СССР доказывали, что и после очистки стоки пресловутого Байкальского целлюлозно-бумажного комбината наносят непоправимый вред озеру. "Известия" несколько раз призывали либо закрыть его вовсе, либо переориентировать на производство чего-то такого, что не будет отравлять Байкал. Только узковедомственные интересы министерства бумажной промышленности, уверяют советские специалисты, мешают решить эту давно назревшую проблему. Видимо, будут приняты и другие меры, чтобы прекратить загрязнение Байкала.

Хорошо поставленная служба охраны окружающей среды сможет заранее сигнализировать об аварийном состоянии химических и иных предприятий. Она сумеет предотвращать такие катастрофы, какая случилась в октябре 1983 года на Днестре. Тогда, как известно, несколько миллионов тонн рассола, накопившегося в сбросных прудах Стебниковского комбината калийных удобрений, прорвали дамбу и хлынули в реку. Вода в Днестре на протяжении более пятисот километров стала солонее, чем в Черном море... Подобные беды, повторяю, можно предотвратить, если экологический контроль за предприятиями будет исходить из общих интересов народного хозяйства и не зависеть от ведомств или местных властей.

Надо полагать, удастся закончить и с широко распространенной практикой бессмысленной добычи полезных ископаемых. Бессмысленной, ибо заранее известно, что железная дорога не сможет поставить нужного числа вагонов и что добытые лес, уголь, руда

пролежат под открытым небом полгода, год, два и станут непригодны для любых целей. Их придется уничтожить, да еще и ломать голову — как уничтожить. Если это древесина, ее можно сжечь. Правда, придется принимать непростые и недешевые противопожарные меры, потому что когда горят десятки и сотни тысяч кубометров леса (меньше чем на десятки тысяч кубометров центральная печать счет не ведет), это чревато... О массивном загрязнении воздуха уже и говорить не приходится.

Надо думать, будет, наконец, наведен порядок в мелиорации. Министерство водного хозяйства и мелиорации производит сейчас работы по осушению — или по обводнению — земель, практически не согласовывая свои планы с местными колхозами, совхозами и лесхозами. Мелиораторы получают деньги из расчета осушенных гектаров, улучшена ли при этом земля (*melioratio* по-латыни — улучшение), узнают колхозники и работники лесхозов, когда мелиораторы уже уйдут.

Недавно председатель Совета министров Карельской АССР сообщил, что в ходе мелиорации из полутора тысяч квадратных километров заболоченных лесов тысяча километров осушена так тщательно, что теперь там не растет даже трава. Осушение имело целью помочь воспроизводству карельских лесов, которые страдают от переувлажнения. Помощь карельским лесам действительно необходима, ибо их осталась так мало, что скоро, по признанию того же председателя Совета министров, в Карелию придется ввозить древесину (*Известия*, 23 декабря 1984).

Представим себе на минуту, что Финляндия, один из крупнейших экспортеров древесины и бумаги в мире, вдруг начинает ввозить лес. Абсурд! Между тем, Карелия в со роковые годы обладала примерно таким же лесным потенциалом.

Мелиорация принесла немалый урон лесам и сельхозугодьям белорусского и украинского Полесья. Превращенные в рисовые чеки сухие степи Северного Кавказа и Калмыкии уже через несколько лет становятся безнадежными солончаками. А чего еще можно ожидать, если для мелиораторов доводы агрономов и экологов ничего не значат? По существующим правилам, мелиораторам — в рамках общего проектирования — надлежит вести и экологические исследования. Однако делается это чаще всего формально и поверхностно. Так оно и должно быть, так как соответствующие специалисты состоят в том же министерстве и, естественно, склонны видеть ситуацию в розовом свете.

Со всем этим тоже будет покончено. Мелиорация станет проводиться с участием экологов и будущих пользователей улучшенных земель. Масштабы ее, видимо, несколько сократятся, но польза возрастет. Прежде всего выигрывает земля: гектар, улучшенный с умом, даст больший урожай, чем два "улучшенных" ради плана. Кроме того, миллионы, сэкономленные на сокращении объема мелиорации, можно будет использовать на охрану природы, а не в ущерб ей. Например, на развитие системы заповедников и национальных парков.

Несмотря на то, что в последние годы тут достигнут кое-какой прогресс, Советский Союз в этой области находится на уровне таких стран, как Китай, Пакистан, Ливия (площадь заповедных территорий — менее 1% территории государства). Между тем, от сети заповедников и заказников зависит отнюдь не только сохранение флоры и фауны. Советские экологи и экономисты показали, что густота этой сети имеет прямое отношение к производству продуктов питания.

Во многих районах СССР процент пахотных земель очень высок. Слишком высок. Если пашни не перемежаются в определенной пропорции лугами, пастбищами, перелесками, даже просто пустошами, эрозия начинает быстро пожирать пахотный слой. Вся территория становится маловодной, ибо площадь лесов, кустарников, болот явно недостаточна, чтобы удержать нужное количество влаги.

Если часть пашни (2–7% в зависимости от района) вернуть в первоначальное состояние, это должно заметно уменьшить эрозию и обеспечить минимальный запас влаги в

почве. На полях, где экологический баланс близок к норме, урожай получают и более высокие, и более стабильные. Те 280 миллионов тонн зерна, которые ЦК КПСС еще десять лет назад объявил необходимыми для страны и которые по сей день остаются "голубой мечтой", легче и разумнее получить путем "экологизации" сельского хозяйства. Так, по крайней мере, утверждают советские экологи, которые проводили серьезные и тщательные исследования.

Участки же бывших пашен не обязательно превращать в заповедные земли. Вполне допустимо их эксплуатировать, но умеренно: косить сено, охотиться, преобразовать в рекреационные угодья.

В СССР уже сейчас не хватает места для отдыха и путешествий. Стоит создать десяток национальных парков с минимальным сервисом для туристов, и уникальные уголки природы превратятся буквально в "золотое дно". Разумеется, значительную часть доходов от туризма нужно тратить на охрану природы, на компенсацию ущерба, который наносят массы посетителей. Вот пример Соединенных Штатов. Каждый вложенный в национальные парки доллар (за вычетом расходов) дает 47–55 долларов прибыли. Это больше, чем в электронной промышленности.

В Союзе эти деньги просто некому поднять с земли. Дело в том, что национальные парки подведомственны министерствам лесного и сельского хозяйства, которые туризмом отродясь не занимались и не намерены. Словом, очередной случай ведомственной чересполосицы. Но мы, напомним снова, рассматриваем систему охраны окружающей среды в момент, когда все бюрократические преграды ликвидированы, так что и организацию национальных парков спокойно занесем в актив. Заодно и прикинем, чтобы не забыть, что у нас там накопилось в этом активе?

Байкал, более чистый, чем сейчас. Закрытие предприятий, находящихся в аварийном (с точки зрения среды) состоянии. Организация эффективной экологической службы. Прекращение грабежа природы за счет добычи леса, угля и прочего исключительно для "галочки" в плане. Разумная мелиорация. Создание сети охраняемых территорий для восстановления экологического баланса в сельскохозяйственных угодьях. Национальные парки.

3.

Вполне приличный список, не правда ли? Особенно для начала. Что и говорить, приятно заниматься охраной природы, когда каждый сектор хозяйства заботится о ее сохранении не меньше, чем о выполнении плана.

Однако пойдём дальше. Впереди у нас еще немало проблем, и не простых. Перечислим их для порядка: эрозия сельскохозяйственных и лесных почв; загрязнение среды добычей и производством энергии; загрязнение среды тяжелой промышленностью.

Эрозия. Сеть заповедных участков поможет уменьшить эрозию, но не остановит процесс, ибо одна из основных причин эрозии в СССР — использование неподходящих, слишком тяжелых тракторов и других машин. Известно, например, что в результате каждого прохода трактора "Кировец" К-700 или "Беларусь" МТЗ-80 почва в слое 25–45 см уплотняется на треть. В утрамбованную почву плохо проникают влага и воздух. В результате урожай на ней падают, иногда на 50%. В тайге, где для вывозки леса также используют тяжелые тракторы, они уродуют почву так, что после них лес уже не возобновляется, даже если его сажают. Особенность эта хорошо известна как советским агрономам, так и специалистам тех стран, которые покупают советские тракторы. Скажем, ГДР еще семь лет назад прекратила импорт тракторов из СССР. Отечественные специалисты предложили несколько моделей легких, экологичных машин. Однако дело идет крайне туго. Почему? Главная причина в том, где производится большая часть тракторов...

Не секрет, что тракторные заводы в Челябинске, Харькове и Ленинграде выпускают не только тракторы, но и танки. А вернее сказать — в дополнение к военной изготавливают и гражданскую технику. Детали и целые узлы танков используются для тракторов, технологические процессы сходны. Все это весьма устраивает военных как с экономической, так и с прочих точек зрения. Завод-то тракторный, финансируется он за счет бюджета министерства сельскохозяйственного машиностроения.

Чтобы перейти на легкие тракторы, нужно монтировать новые технологические линии, а может быть, строить новые цеха и заводы. Разумеется, военные понимают, что такое хлеб для страны. Однако в ходе почти десяти лет дискуссии между военным и сельскохозяйственным отделами ЦК КПСС удалось добиться немногого. Факт, что и сейчас лишь 10% всех выпускаемых тракторов соответствуют экологическим нормам. Далеко не все эти машины выпускаются на оборонных заводах, для них пришлось построить отдельные небольшие предприятия.

Вопросом производства легких тракторов занимался и Михаил Горбачев — сначала как первый секретарь Ставропольского крайкома, а затем как секретарь ЦК по сельскому хозяйству. И если даже ему не удалось добиться серьезных сдвигов, что можно требовать от Юлия Израэля? Неужто глава экологической службы и в самом деле вообразил, что может давать указания военным на том основании, что формально эта служба будет стоять над министерствами?

Я что-то не могу себе представить такой сцены. "Главный эколог страны" требует от министров обороны и оборонной промышленности или от главного маршала бронетанковых войск выпуска экологичных тракторов! Может, завтра ему понадобятся экологичные танки?

Как говорится, дай Бог нашему теляти вашего волка задрати, но... Впрочем, чего не бывает. Я согласился на столько допущений в пользу российской природы, что грех не согласиться еще на одно. Задрало теля волка — в кресле министра обороны сидит человек, искренне любящий природу. И не так, как маршалы Чуйков, Еременко, Неделин, Батицкий, которые выбирали нетронутые заповедные уголки для охоты на медведей и кабанов с вертолета, а на уток — с танков-амфибий.

Нет, в данном случае это будет интеллигентный маршал. Не обязательно, чтобы он напел Булата Окуджаву: "Ах, зачем мы пишем кровью на песке, наши письма не нужны природе..." Важно, что он все понимает... и готов увеличить производство экологичных тракторов еще на три-четыре процента. Мало? Разумеется, мы анализируем условную ситуацию, но все-таки *в рамках реальности*. В самом деле, что еще может сделать "самый главный маршал Советского Союза"? Нажать на тех, кто ведает танковой и прочей промышленностью? Но это как раз и даст три-четыре процента. Что еще? Сократить производство танков и вездеходов или вывести несколько танковых дивизий из Афганистана? Отменить поставку советских танков арабским и прочим странам, — операцию, приносящую советской казне миллиарды долларов в год?

Полагаю, отвечать на эти вопросы нет нужды. Ясно, что кардинально решить проблему экологического тракторостроения могут лишь те, кто определяют стратегические приоритеты СССР. А их позиция явно выходит за рамки нашего исследования.

Энергетика. Добыча горючих ископаемых и производство энергии давно стало едва ли не главным фактором разрушения природы. В СССР эта проблема стоит особенно остро, ибо 90% энергоресурсов сосредоточено в Сибири и преимущественно в районах с очень уязвимой природной средой.

Так, Западная Сибирь дает более половины добываемых в Союзе нефти и газа и расплачивается за это уничтожением десятков тысяч квадратных километров тундры и лесотундры. Концентрация нефти в сотнях окрестных рек — больших и малых — и озер достигает такой величины, что в них с трудом выживают самые неприхотливые водоросли. Советская пресса писала об этом много и подробно. Но нефть — основная статья со-

ветского экспорта. Что тут может сделать самая полномочная экологическая служба? Конечно, экологи могут потребовать, чтобы было запрещено летом ездить по тундре на вездеходах (то есть ездить вообще, так как много наземного транспорта тут нет, только воздушный), как это сделано в Канаде. Могут настаивать на соблюдении жестких правил нефтедобычи и прокладки трубопроводов. Они вообще многое могут.

Ясно, однако, что любая серьезная программа охраны природы приведет к заметному снижению добычи нефти и газа. А добыча нефти и без того неуклонно снижается, ее уже не хватает для внутренних нужд и экспорта. Дальнейшее падение добычи приведет к тому, что Союзу нечем будет расплачиваться за покупки зерна на Западе. Улучшать состояние природы Западной Сибири за счет кормов для животноводства и хлеба для населения? Фантастика.

Кладовые Западной Сибири велики, но не бездонны. Поэтому уже ведется разведка потенциальных районов добычи на Севере. Однако это значит, что для природы перспективы не очень радужны. Будущие районы — это шельфы Баренцева и Балтийского морей, прибрежные районы Сахалина. Англичане и норвежцы, добывая нефть в Северном море, тратят до 40% всех вложений на охрану чистоты моря. В СССР принято тратить не более 15–20%. Конечно, экологическая служба и здесь вправе требовать самых строгих мер, но найдутся ли в государственном бюджете эти деньги? Ведь в масштабах СССР эти дополнительные расходы составят миллиарды рублей в год. Факт, что разработка "Нефтяных камней" привела к пагубным последствиям для Каспия.

Нечто подобное наблюдается и при производстве электроэнергии. Уголь снова становится важнейшим источником энергии; то, что теперь сжигают (и будут сжигать) в топках электростанций — отнюдь не антрацит. Антрацита не хватает уже на выработку кокса для металлургии. Запасы угля в СССР колоссальны, но — угля низкосортного, дающего при сжигании массу твердых и газообразных продуктов.

Снова аналогия с Западом: в США и Японии на новых тепловых станциях сооружают очистные системы, их стоимость достигает трети затрат на сооружение. И уголь там сжигают получше.

При использовании же углей Экибастуза или КАТЭКа строительство аналогичных систем составило бы 40–45% общей стоимости станции. Это миллиарды, а может быть, и десятки миллиардов рублей. Найдутся ли они, если в последние годы средства, ассигнуемые на охрану среды, постоянно уменьшаются? Впрочем, что там охрана природы, когда на развитие промышленности денег выделяется все меньше и меньше. В десятой пятилетке капиталовложения в промышленность увеличились на 32%, а в одиннадцатой — лишь на 10%, что практически не покрывает даже реально существующей в стране инфляции.

Цифры, относящиеся к промышленности, я привел потому, что они важны для анализа еще одного экологического фактора — индустрии.

Об ущербе, который причиняют среде обитания черная и цветная металлургия, рядовой гражданин судит по заводскому дыму или по ближним водоемам, где нельзя ни купаться, ни ловить рыбу. Но если оценивать общий экологический ущерб, то, видимо, до 40% его приходится на добычу сырья и транспортировку. Причем эта цифра примерно одинакова для всех промышленно развитых стран. Природоохранные меры на шахтах и в карьерах, где добывается руда, обходятся очень дорого, так что до сих пор большинство стран вынуждены мириться с этим злом.

Что же касается самих заводов — металлургических и химических — тут картина совсем иная. Как на Западе, так и в СССР разработаны технологии, которые позволяют гораздо лучше использовать сырье и меньше загрязнять среду. Интересы производства и интересы охраны природы в этих отраслях гораздо ближе друг к другу, чем в энергетике или машиностроении.

Иными словами, в этих отраслях переход на экологичные технологии — дело выгодное. Правда, тут нужны значительные начальные капиталовложения. И, конечно, способность быстро внедрять прогрессивную технологию. Как известно, последним свойством советская промышленность не отличалась и раньше, а в нынешние времена стало плохо и со средствами.

Сейчас лишь около трети металлургических и химических предприятий СССР более или менее удовлетворительны с точки зрения охраны природы. И, что еще тревожнее, темпы модернизации этих отраслей из года в год падают. К примеру, в западных странах предприятия по производству свинца, не ожидая предупреждений агентств по охране окружающей среды, сами переходят на новую технологию — им это выгодно. В Советском Союзе модернизируются преимущественно те заводы, которые поставляют особенно чистые цветные и редкие металлы военной промышленности.

Так, двенадцать лет назад советская печать широко оповестила читателей о "первенце безотходной, экологичной химии будущего" — Первомайском химкомбинате в Сумской области. Предприятие действительно почти не загрязняет окружающей среды ("почти" — ибо определенное количество рассолов все-таки закачивается в глубокие подземные скважины). Однако беда в том, что первенец так и остался единственным ребенком в семье безотходных технологий. Известные советские ученые академики Б. Н. Ласкорин, Н. М. Эмануэль, И. В. Петрянов-Соколов разработали немало вариантов мембранных и других современных технологий. Но внедряют их, по словам того же Б. Н. Ласкорина, лишь те, кто прямо в этом заинтересован и у кого есть крупные средства. Читай, оборонные предприятия.

По советским данным, в тяжелой промышленности даже те, не очень большие средства, что выделены на охрану природы, используются слабо. Часто это обусловлено не безразличием, а тем, что сооружение очистных установок невозможно без модернизации всего цикла производства. А вот на это уже нет денег.

Несколько лет назад группа ученых, известная под названием "Римский клуб", провела экономико-экологическое исследование различных регионов мира. Модели, построенные этими учеными, показали, что развитые страны должны расходовать на контроль за окружающей средой от 20 до 25% национального дохода. Ни одно государство сегодня столько не тратит, ибо, помимо прочего, такие затраты вынудили бы заморозить производство товаров и услуг на нынешнем уровне (так называемый "нулевой рост"). Однако западные страны и Япония ассигнуют на природоохранные цели от 2 до 5 процентов своего национального дохода. В СССР же эта цифра в десятой пятилетке составляла около 0,5 процента, а в одиннадцатой — и того меньше, около 0,4. Такое же соотношение и в остальных социалистических странах, за исключением Венгрии. Венгры расходуют на эти цели более одного процента национального дохода страны.

4.

Такое распределение национального дохода (или национального пирога) заставляет задуматься над самой сутью экологических проблем в Советском Союзе. Казалось бы, где связь между сокращением урожаев на эродированных и утрамбованных черноземах и международной торговлей оружием, между нефтяной пленкой, расплзающейся по сотням озер и рек Западной Сибири, и закупками современных американских и японских компьютеров? Оказывается, связь есть, и она не так далека. Вспомним, что одно из основных правил экологии гласит: "Все связано со всем". И действительно, важнейшие экологические проблемы СССР упираются в основу экономики социалистического государства: в распределение бюджета страны, в систему приоритетов, в механику получения валюты.

Почему в конце XX века, почти через 70 лет после установления советской власти, Россия продает развитым странам (торговля с которыми приносит валюту) едва ли не

одно только сырье? В начале века Россия вывозила лес, золото и зерно. Сейчас — нефть, газ, золото и алмазы — все, что добывается из недр. Валюту приносит и торговля вооружением. По масштабам этой торговли СССР в последние годы вышел на первое место в мире. Мы отмечали, что военно-промышленный комплекс наносит весьма серьезный ущерб. Но уместно ли подсчитывать экологические потери, когда речь идет об оружии, несущем смерть и несчастья сотням тысяч людей?..

Почему СССР встал на этот путь? Разве это напрямую не связано с политикой экспансии? А в чем причина того, что колхозное сельское хозяйство не может обеспечить страну зерном, имея самые большие в мире посевные площади? В постоянных капризах природы? Или в природе социализма, который в результате коллективизации порвал все нормальные человеческие связи крестьянина с землей?

Советское лесное хозяйство, обладая самыми большими на планете лесными ресурсами, не способно дать стране достаточно бумаги и целлюлозы и нещадно эксплуатирует еще сохранившиеся массивы. Почему?

Если все эти "методы хозяйствования" не отошли в прошлое ни после "трудных первых пятилеток", ни после войны, ни после "эпохи волюнтаризма", то можно ли все-речь воспринимать рассуждения о том, что все эти явления временные, переходные. Что это "шум", "издержки социализма", а не сама его суть. Но в чем тогда суть? В принципах распределения бюджета, по которым армии и тяжелой промышленности, работающей на военно-промышленный комплекс, всегда выделяются колоссальные средства, а на охрану природы денег всегда не хватает?

Что может сделать в этих условиях советский простой человек? Многое. Он вправе не открывать форточку в квартире ни летом, ни зимой, если рядом с его жилмассивом дымит оборонный завод. Вправе зажмуриться, чтобы не видеть, как гибнет лес его детства, полный когда-то грибов и ягод. А еще? Выйти на демонстрацию? Голосовать на следующих выборах за другую партию или персонально за кандидата, выступающего с программой охраны окружающей среды?

Звучит нелепо. ЦК КПСС решает и сколько денег надлежит выделить на охрану природы, и воздуж какой чистоты должен быть в Литве, на Урале, в Ереване. И даже то, что должен думать об охране среды житель той же Литвы, Урала, Еревана... Именно это называется социалистической демократией в действии.

Советские специалисты, обсуждая проблемы охраны природы, не смеют даже называть по имени такие фундаментальные факторы, как распределение госбюджета или милитаристская политика партии. Поэтому они вынуждены уделять неоправданно много внимания решению второстепенных задач, — созданию эффективной экологической службы, ликвидации межведомственных барьеров при мелиорации земель.

Конечно, тут я согласен с советскими коллегами, перемены, рассмотренные в первой части статьи, могли бы смягчить и замедлить экологический кризис, который сейчас развивается стремительно. Но даже если — дай-то Бог! — все это станет возможным на практике, преодолеть кризис не удастся. Не удастся до тех пор, пока сохраняются основные принципы социалистической экономики и управления государством. ●

ИЗ ГАЗЕТ: 60 ЛЕТ НАЗАД

ИЛЬИЧ ИЗ КОЛЕС

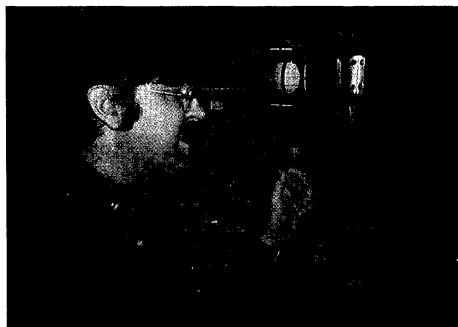
Владивосток. Рабочие железнодорожных мастерских во Владивостоке соорудили памятник Ильичу к 2-летней годовщине его смерти, весь составленный из скатов и колес. По своему художественному замыслу и исполнению величие памятника превосходит многие из открытых уже в Союзе памятников. Конструкция его принадлежит рабочему-самоучке.

"Правда", 22 января 1926 г.

Джеймс ОБЕРГ (Хьюстон)

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ВОПРОСОВ О СОВЕТСКОЙ КОСМОНАВТИКЕ

Милитаризация космоса в СССР



По понятным причинам никто не ждет, что Советский Союз расскажет полную (или хотя бы частичную) правду о своей деятельности в космосе, особенно о деятельности военного характера. Тем не менее многие западные эксперты, по-видимому, считают желательным вести с Советским Союзом переговоры о прекращении милитаризации космоса. Иначе говоря, советские представители лгут о своей космической деятельности, но мы, однако, должны постараться им верить. В этом и состоит главное затруднение.

И все же перспективы не столь мрачны. Последние советские заявления хотя и медленно, но приближаются к несколько более реалистическому описанию деятельности СССР в космосе. В середине 1983 г. было открыто признано существование сверхсекретного Плесецкого космического центра (хотя по-прежнему лгут о его назначении). В начале 1985 г. министр обороны Соколов признал, что Советский Союз проводит в космосе исследования и испытания с военными целями — но, разумеется, не для разработки "наступательного оружия"! В середине 1985 г. Горбачев в письме одной американской организации признал, что Советский Союз обладает какими-то антиспутниковыми устройствами, но позднее печать продолжала утверждать, что все пока находится в стадии испытаний, и устройства эти еще не установлены. Это показывает определенную тенденцию постепенно признавать все больше и больше правды, а не цепляться за сказки о советской космической "чистоте".

Маршал Советского Союза Сергей Соколов в интервью ТАСС, опубликованном 6 мая 1985 г., сделал несколько поразительных признаний, которые раскрывают чуть больше правды, чем когда-либо до того исходило из уст советского официального лица. Говоря с осуждением об американских антиспутниковых планах, Соколов заявил: "Пытаясь вывести ударное оружие в космос, американские деятели вопреки фактам утверждают, что милитаризация космического пространства будто бы началась с появлением спутников различного военного назначения и что СССР, мол, уже с тех пор ведет гонку вооружений в космосе. Это неправда! Имеющиеся у обеих сторон спутники связи, навигации, предупреждения о ракетном нападении и другие — это не ударные космические вооружения. Ни СССР, ни США в настоящее время не имеют оружия в космосе. Опасная для человечества милитаризация космоса начнется, когда туда будут выведены ударные средства, предназначенные для поражения объектов в космосе или из космоса. Вот тогда будет развернута гонка космических вооружений." (Соколов по-прежнему лжет: советское "ударное космическое" вооружение, такое как FOBS и ASAT¹, испытывалось на орбите уже в течение почти 20 лет, в то время как американцы еще не производили орбитальных испытаний. Однако его другие признания удивительно откровенны.)

На снимке: Дж.Оберг в кабине имитатора космического челнока. Центр пилотируемых полетов НАСА, Хьюстон, США.

¹ FOBS — сокращение английского названия Fractional Orbit Bombardment System (частично-орбитальная система бомбардировки, см.ниже); ASAT — сокращение от antisatellite, в советских источниках ПКО (противокосмическая оборона).

”Теперь об исследованиях в области космоса в Советском Союзе, — продолжает Соколов. — У нас ведутся научно-исследовательские работы, в том числе и в военном плане. Но они не направлены на создание ударного космического оружия, а связаны с совершенствованием космических систем раннего предупреждения, разведки, связи, навигации. Ударное космическое оружие и противоракетную оборону территории страны мы не создаем”... В другом месте того же интервью Соколов дал определение ”ударного космического оружия”, в которое он включает ”лазеры различных типов, электромагнитные пушки, ракеты-перехватчики, противоспутниковые системы”. Он не упомянул о существующих советских системах ПКО, но он ни на минуту не забывал о них, ибо его определение сформулировано так тщательно, чтобы избежать включения в него базирующихся на земле систем, которые должны действовать в космосе только кратковременно. По такому определению, конечно, американские ракеты ПКО, запускаемые с самолетов F-15, также не имеют отношения к ”милитаризации космоса”.

В июне 1985 г. в своем ответе на обращение так называемого ”Комитета озабоченных ученых” (Кембридж, США) сам Горбачев впервые особо упомянул о том, что СССР уже имеет антиспутниковое оружие. Он заявил, что существующие системы, ”как имеющиеся у США, так и имеющиеся у СССР”, должны быть свернуты. Эта фраза повторялась позднее в нескольких сообщениях ТАСС, но там уже было добавлено определение: ”те, испытания которых еще не завершены”, — как бы подразумевая, что СССР все еще находится в стадии разработки ударного космического оружия, которое в действительности находилось в его оперативном арсенале в течение полутора десятилетий! Ранее официальные советские представители упорно придерживались линии, в соответствии с которой СССР никогда не испытывал и не размещал какого-либо ударного космического оружия. Признание Горбачева выбило почву из-под заявлений министра обороны Соколова, сделанных всего на месяц ранее.

Двигаясь с такой скоростью, Советский Союз приблизится к полуправде о ”милитаризации космоса” лишь на рубеже столетий, а к почти полной правде — к середине третьего тысячелетия. Но мы так долго ждать не можем.

Чтобы помочь ему ускорить темпы, я приготовил список вопросов. В прошлом дискуссии с советскими официальными лицами увязали в общих местах, а плохо сформулированные конкретные вопросы привычно отметались прочь туманными заявлениями и штампованными пропагандными тирадами. Просьбы пояснить сказанное бесцеремонно игнорировались. Нижеследующие вопросы сформулированы так, чтобы избежать такой нелепой ситуации. Вопросы эти конкретны и требуют конкретных же ответов. Неспособность советских представителей дать такие ответы станет совершенно очевидной. Опыт показывает, что после хорошей подготовки можно таким путем добиться признания многих важных фактов.

Вопрос № 1 касается советской программы ”спутников-убийц”. Представители Москвы постоянно утверждают, что Советский Союз не имеет такого орбитального оружия. Их легко уличить во лжи. Мы приводим список спутников, запущенных по этой программе (в списке приведены как спутники-цели, так и спутники-перехватчики). Если советские представители будут продолжать утверждать, что это всего лишь ”научно-исследовательские зонды”, пусть они опубликуют результаты ”научных исследований”, проведенных во время следующих запусков:

- | | |
|-----------|---|
| 1968 г. — | Космос-248, Космос-249 и Космос-252 |
| 1970 г. — | Космос-373, Космос-374 и Космос-375 |
| 1971 г. — | Космос-394, Космос-397, Космос-400, Космос-404, Космос-459 и Космос-462 |

1976 г. —	Космос-803, Космос-804, Космос-814, Космос-839, Космос-843, Космос-880 и Космос-886
1977 г. —	Космос-909, Космос-910, Космос-918, Космос-959, Космос-961, Космос-967 и Космос-970
1978 г. —	Космос-1009
1980 г. —	Космос-1171 и Космос-1174
1981 г. —	Космос-1241, Космос-1243 и Космос-1258
1982 г. —	Космос-1375 и Космос-1379

Вопрос № 2 должен проверить честность тех людей на Западе, которые претендуют на роль противников антиспутникового оружия. Пусть они представят вырезки из газет с описанием своих маршей протеста и тексты разгневанных заявлений, сделанных, когда СССР последний раз произвел испытания такого оружия. Если они не могут доказать, что они публично протестовали против советского космического оружия, они не имеют права изображать беспристрастных защитников "мира в космосе".

Вопрос № 3 касается весьма подозрительного советского запуска 22 июня 1985 г. На орбиту были выведены три небольших фрагмента, но западные следящие устройства не смогли обнаружить ни корпуса ракеты, ни полезной нагрузки. Объектам были даны международные кодовые номера 1985-53 А, В и С. Орбита была непохожа на другие советские стандартные космические траектории, так что этот запуск нельзя отнести к числу неудачных запусков обычной программы. Высказывались предположения, что это либо новое испытание космического челнока (с приводнением в Черном море после завершения менее чем одного витка), либо зонд, запущенный в дальний космос с военными целями, либо испытание "спутника-убийцы" (в нарушение андроповского моратория), которое надеялись скрыть. Другая неприятная гипотеза состояла в том, что это был запуск устройства, рассчитанного на один виток и предназначенного для оценки размеров разрушений после ядерного нападения, на предмет планирования последующих ударов. Советский Союз не объявил об этом запуске и не зарегистрировал его в ООН, как этого требует "Конвенция о регистрации объектов, выведенных в космическое пространство" 1975 г. Необъявленных советских запусков до этого не было в течение почти 20 лет. Последними такими запусками были испытания космического оружия в конце 1966 г. (FOBS, см. ниже). Из большого опыта известно: чем меньше Советский Союз говорит о космическом объекте, тем более военный характер имеет его запуск. Настоящий запуск — самый секретный за десятилетия. Как советские представители объяснят, что он не был объявлен и зарегистрирован в соответствии с международным космическим правом?

Вопрос № 4 касается регистрации спутника "Космос" 1502, запущенного 5 октября 1983 г. на орбиту, характерную для испытаний ПКО и наземного радара наведения. Советский Союз объявил неверное наклонение орбиты — $75,^{\circ}8$ вместо $65,^{\circ}8$ — и зарегистрировал в ООН эти ложные данные. Это могла быть всего лишь опечатка (хотя и беспрецедентная). Если это так, то ее легко было бы исправить. Хуже, однако, если "ошибка" была попыткой замаскировать испытания космического оружия (вопреки андроповскому мораторию, который, как считается, в то время еще был в силе) путем изменения при публикации параметров орбиты, которые выдают цель запуска. Какое из объяснений правильно?

Вопрос № 5 относится к советским спутникам-шпионам, которые запускаются ежегодно десятками. В 1984 г. орбитальное время таких спутников составило почти 1000 суток. Однако советские представители выступают с осуждением американских разве-

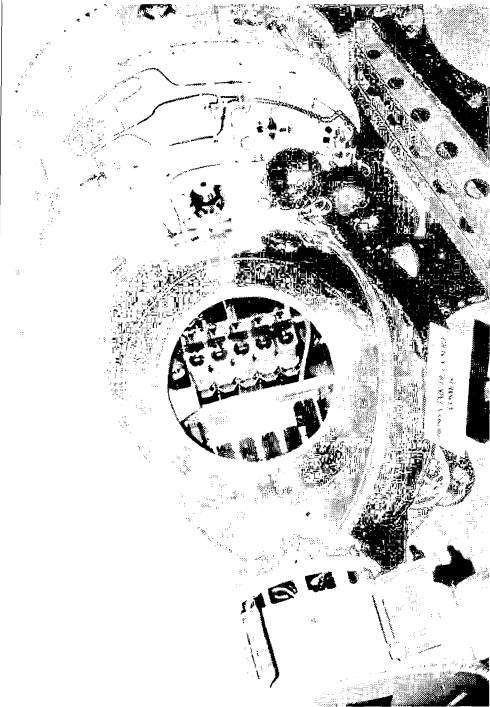
дывательных спутников. Их надо спросить, использует ли СССР спутники для наблюдений за военными объектами (поскольку они разрешены соглашением ОСВ-1). Если они будут отрицать это, с ними не о чем говорить. Если они скажут, что не знают, то какие переговоры можно вести с людьми, которые сами расписываются в своей некомпетентности. Если они признают существование таких спутников, их следует спросить, почему они возражают, когда то же самое делают американцы.

Поскольку эти космические шпионы выполняют рутинную работу, элементы их орбит очень похожи. Высота орбиты всегда находится в пределах 170–420 км, наклоны группируются вблизи нескольких избранных значений. Когда такие наклоны сообщаются для спутников серии "Космос" (якобы запускаемых "для исследования космического пространства") — это недвусмысленное указание на то, что в действительности спутник используется для целей военной разведки: спутники-шпионы, запускаемые с военного космодрома близ Плесецка, имеют наклоны орбит 62,°8, 67,°1, 72,°9 и 82,°3; спутники-шпионы, запускаемые из Тюратама,¹ имеют наклоны 64,°9, 70,°0 и 70,°4.

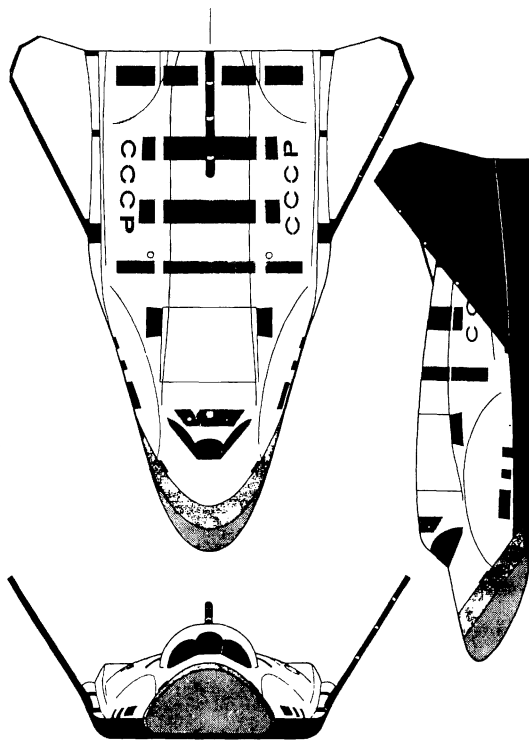
Вопрос № 6 связан с оценкой того обстоятельства, что эти советские космические шпионы представляют собою видоизмененные варианты пилотируемых кораблей "Восток" и "Союз". Советских представителей надо спросить, не представляет ли это собою милитаризацию кораблей, ускорителей и наземных устройств советской программы пилотируемых полетов. Правда ли, что большинство кораблей "Союз" запускаются в беспилотном варианте со шпионскими камерами вместо космонавтов (вероятность, что в таких полетах космонавты участвуют тайно, невелика, хотя ее нельзя исключить)? Правда ли, что большинство ускорителей, официально называемых "ускорителями типа «Союз»", несут полезную нагрузку не для исследовательских или прикладных, а для военных целей (в 1982–84 гг. ускорители типа "Союз" и родственной ему "Молнии" на 70% использовались для военных целей, на 12% для пилотируемых полетов и на 18% для гражданских целей). Советским представителям надо привести эту статистику и спросить их, почему они так волнуются в связи с тем, что 30% полезной нагрузки американского космического челнока имели военное назначение.

Вопрос № 7 касается особо зловещего типа спутников-шпионов, испытания которых начались в середине 1984 г. "Космос"-1587 и "Космос"-1613 были запущены на стандартные орбиты ожидания и затем замолчали на 12 дней, в течение которых западные наблюдатели не зарегистрировали никаких исходящих от них радиосигналов. По истечении этого периода оба спутника были активированы, подняты на рабочую высоту и приступили к выполнению номинальной 13-дневной программы, после чего были возвращены на Землю. Какова цель таких изменений программы, каковы намерения планировщиков? Эксперт по вопросам космоса Н.Джонсон писал: "Идея поместить фотографические разведывательные спутники на временные орбиты ожидания в дни, предшествующие наземному конфликту, весьма привлекательна. В этом случае спутники можно активировать, когда это необходимо, и избежать запуска в момент кризиса". Это значит, что, поскольку вывод на орбиту ожидания производится за несколько недель до начала конфликта, сторона, разрабатывающая спутники такого рода, не может делать это в целях обороны. Они нужны тем, кто намеревается начать такой конфликт, их разработка — часть необходимой для этого подготовительной работы. Чем иначе можно объяснить характер полетной программы "Космоса"-1587 и "Космоса"-1613?

¹ Тюратам неверно называют космодромом Байконур — используется название города, находящегося в 300 км от истинного места расположения космодрома.



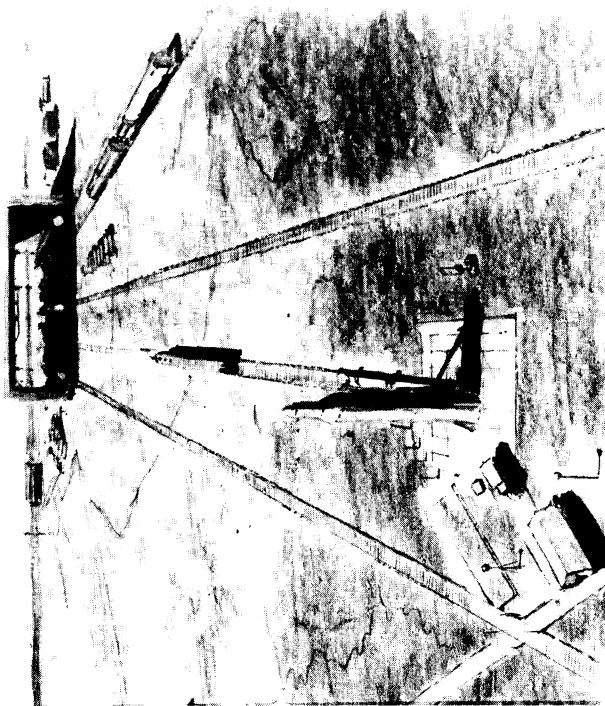
Большинство советских спутников-шпионов выглядят как этот модифицированный "Восток". Фотокамеры находятся в вращающейся сферической средней части.



Вид (в различных проекциях) "Космоса"-1445 - советского космического челнока, запущенного в 1982 г. После этого запуска был произведен ряд других ("Страна и мир", 1985, № 1,2). Почему эти запуски окружены секретностью?



Лазерное устройство в антиракетном центре в Сары-Шаган слишком мощное, чтобы служить лишь для целей слежения. Реконструкция участка центра, сделанная художником по фотографиям из космоса и другим данным.



"Спутники-убийцы" системы ПКО готовы к запуску на космодроме Тюратам ("Байконур"). Реконструкция участка космодрома, сделанная художником по фотографиям из космоса и другим данным.

Вопрос № 8 затрагивает другой новый класс советских разведывательных спутников, которые заставляют усомниться в справедливости существующих представлений о том, что советская тактика (большое число запусков малой длительности) противополжна американской (немного запусков большой длительности). Новый советский космический корабль, если это действительно спутник-шпион, указывает на огромные успехи в увеличении рабочего времени, достигнутые в Советском Союзе. Первый такой запуск был произведен 28 декабря 1982 г.: "Космос"-1426 провел на орбите 67 суток, прежде чем был возвращен на Землю. Следующим таким запуском был "Космос"-1552 (14 мая 1984 г.). Он провел на орбите до возврата на Землю 173 дня. Третий спутник этой серии, "Космос"-1643, находился в 1985 г. на орбите целых 207 суток. Все они были запущены из Тюратама на орбиты с наклоном 64,°9. Н.Джонсон охарактеризовал эти космические корабли как "разведывательные системы совершенно нового типа," "первые из фотографических разведывательных спутников нового класса". Их орбитальные и маневренные характеристики таковы же, как у более ранних спутников-шпионов. Правильно ли мы расцениваем их назначение?

Вопрос № 9 относится к выведенному на орбиту советскому ядерному оружию. Конечно, использование таких систем запрещено договором 1967 г. Однако в 1966—1971 гг. Советский Союз испытывал в космосе систему, известную под названием FOBS (частично-орбитальная система бомбардировки). На орбиту помещалась термоядерная боеголовка (предположительно, макет ее), затем она сбрасывалась на Землю. Советских представителей надо попросить представить отчет об этой программе и поинтересоваться у них, не считают ли они, что эта программа, по крайней мере, нарушает "дух" договора, который они подписали.

Испытания производились во время следующих запусков:

1966 г. —	необъявленные запуски 17 сентября и 8 ноября
1967 г. —	Космос-160, Космос-169, Космос-170, Космос-171, Космос-178, Космос-183 и Космос-187
1968 г. —	Космос-218 и Космос-244
1969 г. —	Космос-298 и Космос-316
1970 г. —	Космос-354 и Космос-365
1971 г. —	Космос-433

Если советская сторона настаивает на том, что это были чисто научно-исследовательские спутники, пусть она представит опубликованные результаты. Если она станет утверждать, что эти спутники не были, собственно говоря, на орбите (они не завершили полный оборот вокруг Земли в геоцентрических координатах, хотя они сделали оборот в более чем 360° в инерциальной, или звездной, системе отсчета), то следует задать вопрос, почему этим объектам было дано наименование спутников программы "Космос" и почему они утверждают, что Юрий Гагарин был первым человеком на орбите вокруг Земли, хотя он совершил такой же неполный виток? Очевидно, что был нарушен дух договора 1967 г. — буква его, конечно, нарушена не была, ибо договор сформулирован так, что запуск макета боеголовки не может рассматриваться как его нарушение. Мы предполагаем, что боеголовки были лишь макетами, хотя возможно, что, по крайней мере, во время некоторых из этих испытаний использовались реальные термоядерные устройства.

Заметим, что во время переговоров относительно ОСВ-2 советская сторона открыто предложила уничтожить 18 пусковых устройств FOBS в Тюратаме, тем самым признав существование этих систем оружия. Так как договор формально так и не вошел в

силу, советская сторона не обязана выполнить это обещание. Однако есть смысл спросить — это вопрос № 10 в нашем списке, — были ли уничтожены пусковые устройства FOBS или они все еще стоят наготове ?

Вопрос № 11 касается другой советской ядерной активности в космосе: выведения на орбиту десятков крупных ядерных реакторов. Советские официальные лица признали существование только двух таких космических кораблей, и то только потому, что эти два корабля по несчастью упали с орбиты. Это "Космос"-954 в 1978 г. и "Космос"-1402 пятью годами позднее. Но более двух десятков других спутников на аналогичных орбитах, по-видимому, несли на себе аналогичные реакторы. Характерные особенности таких спутников: наклонение орбиты 65°, орбита практически круговая с высотой 250—265 км; ни у одного другого типа советских спутников таких орбит нет. Советская сторона настаивает, что два признанных ею реактора предназначались для научной аппаратуры, — пусть она тогда представит результаты этих научных исследований. Советская сторона признала существование только двух реакторов. Это очевидный абсурд — неужели можно поверить в то, что, по совпадению, эти единственные запущенные в космос реакторы из-за технической ошибки упали на Землю. Следует спросить советских представителей, не устанавливались ли втайне на других спутниках такие реакторы. Пусть они представят их список — ведь если реакторы действительно предназначались для научной аппаратуры, то никакой военной тайны такой список не раскроет. Советский Союз возобновил запуски такого рода в середине 1984 г. ("Космос"-1579 и "Космос"-1607). Он должен подтвердить, что это запуски из той же серии, и объяснить, почему не было сообщено о наличии на борту ядерных устройств.

Неполный список спутников, которые считаются частью этой программы (а также программы пассивной океанографической электронной разведки — RORSat) приводится ниже. Советскую сторону следует попросить дополнить и исправить этот список.

- 1968 г. — Космос-209
- 1970 г. — Космос-374
- 1971 г. — Космос-397
- 1972 г. — Космос-516
- 1973 г. — Космос-626
- 1974 г. — Космос-651 и Космос-654
- 1975 г. — Космос-723 и Космос-724
- 1976 г. — Космос-860 и Космос-861
- 1977 г. — Космос-952 и Космос-954
- 1 пропуск
- 1980 г. — Космос-1176
- 1981 г. — Космос-1266, Космос-1286, Космос-1299 и Космос-1306
- 1982 г. — Космос-1337, Космос-1355, Космос-1365, Космос-1372, Космос-1402, Космос-1405 и Космос-1412
- 2 пропуск
- 1984 г. — Космос-1579, Космос-1607
- 1985 г. — Запуски RORSat возобновились 1 августа (Космос-1670)

На Западе общепризнано, что эти спутники предназначены не для научных исследований, а для радарной океанографической разведки (RORSat), для слежения за западными военно-морскими силами и фиксации судов как целей возможной атаки. Те, кто протестует против использования космоса в целях боевой поддержки, должны показать,

что они протестовали против возобновления провокационной советской военной деятельности в космосе. В противном случае они должны признать, что протестуют против "милитаризации космоса" только односторонне.

Вопрос № 12 — относительно доли советской космической программы, предназначенной для военных целей. Пусть советская сторона объявит, какая часть запущенных ею спутников имеет военное назначение. Западные эксперты оценивают эту долю в 70—80%. Официальная советская пропаганда утверждает, что она равна нулю, но недавно было признано, что "некоторая" часть спутников все же предназначена для военных целей.

Вопрос № 13 — о милитаризации советской программы пилотируемых полетов. От советской стороны нужно потребовать представить схемы и полетные фотографии пилотируемых космических станций "Салют"-3 и "Салют"-5, запущенных в середине 1970-х гг. Эти два корабля обычно рассматриваются на Западе как военные пилотируемые разведывательные станции, конструкция которых отличается от гражданских исследовательских "Салютов" №№ 1, 4, 6 и 7. До сих пор об этих кораблях ничего не было сообщено. Продолжение секретности перед лицом открытых требований будет убедительным доказательством того, что речь идет о сокрытии военных тайн. В этих полетах участвовали космонавты Попович, Артюхин, Сарафанов, Демин, Вольнов, Жолобов, Зудов, Рождественский, Горбатко, Глазков и Березовой (стоит отметить, что за двумя объяснимыми исключениями, эти космонавты полностью исчезли из виду, что также говорит о том, что где-то, помимо подготовки к гражданским исследованиям, проводится специализированная тренировка). Руководитель космонавтов Шаталов недавно похвально заявил, что "относительно оборудования наших станций "Салют" нет никаких секретов". Его надо спросить про "Салют"-3 и "Салют"-5. Если кто-либо из названных выше космонавтов появится в свободном мире, пусть они дадут описание своих "несекретных" космических кораблей.

Вопрос № 14 требует раскрытия правды о наихудших затруднениях программы "Салют", ставящих под угрозу граждан других стран: когда корабль выходит из-под контроля и падает на Землю (как американский Skylab в 1979 г.). Руководители советской космонавтики должны признать, что "Космос"-557 (запущенный 11 мая 1973 г.) в действительности был "Салютом", который после запуска вышел из строя и упал на Землю. В команду "Салюта" были намечены Леонов и Кубасов, которые через две недели были назначены в программу "Аполлон"—"Союз". Их надо спросить, правильно ли наше описание случившегося. У них также следует поинтересоваться, верно ли, что предыдущим летом (29 июля 1972 г., если быть точным) другой "Салют" был запущен в космос, но большой ускоритель отказал и многотонный груз рухнул на Землю где-то между Сибирью, северным Китаем и Японией.

Вопрос № 15 относится к другой вызывающей тревогу новой серии советских космических запусков. Она началась в конце 1984 г. запуском "Космос"-1603. Затем в 1985 г. были запущены "Космос"-1656, "Космос"-1697 и "Космос"-1714. Полезные нагрузки были выведены на орбиту с наклоном 71° и высотой 850 км. Они, по-видимому, были объемистые, тяжелые и запущены ускорителем "Протон". Сначала полет "Космоса"-1603 истолковывали как испытание нового двигателя верхней ступени (возможно, на жидком водороде), но производство двух последующих идентичных запусков дает больше оснований полагать, что это были спутники с оперативным заданием. Журнал Aviation Week, ссылаясь на источник в Пентагоне, утверждает, что это были запуски по программе разработки электронных подслушивающих систем нового

поколения. Если это так, то это первое известное полностью военное применение большого ускорителя "Протон", что свидетельствует о милитаризации еще одного раздела советской космической программы. Как же следует понимать запуски этих спутников?

Вопрос № 16 относится к серии испытаний мини-челнока. Советские официальные лица должны дать полные сведения об этой испытательной программе, включая фотографии запусков. Существуют подозрения об использовании полномасштабного, рассчитанного на двух человек варианта орбитального боевого перехватчика. Если не это было целью названной программы, то что именно?

Вопрос № 17 — о таинственной серии космических испытаний в 1976—1979 гг., включавших запуски очень тяжелых полезных нагрузок, по две за раз, на одну или две орбиты с последующим возвращением на Землю. Эти испытания подозрительно похожи на опробование усовершенствованной программы орбитального термоядерного оружия (FOBS). Чтобы снять эти подозрения, советские официальные лица должны указать исследовательские цели и результаты этих, как утверждают, "исключительно мирных" полетов. Если такие данные не будут представлены, наилучшие подозрения будут оправданы.

Речь идет о следующих полетных испытаниях:

Космос-881 и Космос-882 — 15 декабря 1976 г.
 Космос-997 и Космос-998 — 30 марта 1978 г.
 Космос-1100 и Космос-1101 — 22 мая 1979 г.
 (и, по-видимому, неудачный запуск 4 августа 1977 г.)

Вопрос № 18 касается различных других типов советских военных спутников, замаскированных под "мирные научно-исследовательские спутники" серии "Космос". По-видимому, никогда не было опубликовано никаких данных о научных результатах, полученных на этих кораблях. Советские официальные лица должны отвергнуть или же подтвердить их военное назначение, покончив с "прикрывающей версией" спутников "Космос" со следующими типами орбит:

Наклонение (град.)	Высота (км)	Предполагаемое назначение (по Н.Джонсону)
50,7	340—550	военный спутник неизвестного назначения, из Капустина Яра
65,8	380—520	военный спутник неизвестного назначения, из Плесецка
74,0 и 83,0	465—520	военный спутник неизвестного назначения, из Плесецка
83,0	300—2000	военный спутник неизвестного назначения, из Плесецка
62,8	400—40000	спутник системы раннего предупреждения, из Плесецка
74,0	500—550	спутник электронной разведки, из Плесецка
74,0	790—810	спутник военной связи, из Плесецка
74,0	1350—1550	спутник военной связи, из Плесецка
82,9	965—1020	спутник военной навигации, из Плесецка

Советских представителей следует спросить, не являются ли эти спутники семейства "Космос" спутниками "различного военного назначения", существование которых маршал Соколов недавно признал. Если это не они, то какие же именно? Если они действительно "научно-исследовательские", то где научные публикации на основе их данных? Какое оборудование было на них установлено?

Вопрос № 19 — относительно тяжелых кораблей (таких как "Космос"-1443 и "Космос"-1686), стыкующихся с космическими станциями "Салют". Из более ранних запусков назовем "Космос"-929 и "Космос"-1267. Они обычно несут на себе возвращаемый корабль неуказанной конфигурации, вполне возможно, способный служить в качестве системы доставки ядерной боеголовки космос-земля. Военные "Салюты" в середине 1970-х гг. несли на себе аналогичные возвращаемые корабли, что породило предположение, что корабли, о которых сейчас идет речь — прямой результат предыдущей военной космической программы пилотируемых запусков (есть ряд и других общих черт, включая использование тех же самых радиочастот и телеметрических кодов). Советские представители должны развеять эти страхи, опубликовав полные данные об этих таинственных возвращаемых кораблях, включая фотографии спуска и приземления. Если этого не будет сделано, они должны ответить, почему такая секретность вокруг этих, как утверждается, "чисто мирных" космических кораблей. Космонавты, знакомые с конструкцией этих возвращаемых кораблей, — это В.Титов, Стрекалов, Серебров, Ляхов, Александров, Кизим, Соловьев, Савиных, Васютин, А.Волков и др. Их следует спросить об этом, если они появятся на пресс-конференциях на Западе.



Исправление истории: Советский Союз старается отвлечь внимание мировой общественности от милитаризации советской космонавтики. Слева: фотография Ю.Гагарина и С.Королева 12 апреля 1961 г., опубликованная при Н.Хрущеве. Справа: осовременненный вариант той же фотографии.

Вопрос № 20 касается способности пилотируемого корабля "Союз" действовать как антиспутниковое оружие. Драматическое оживление "умершей" космической станции "Салют"-7 прошлым летом было очень впечатляющим: продемонстрирована способность нового "Союза" сближаться с не взаимодействующей (полностью пассивной) космической целью. Но если "Союз" может сближаться с любым космическим объектом, не попадает ли он в разряд "дополнительных антиспутниковых систем"? В отличие от челнока "Союзы" можно запускать после очень короткой подготовки ("спасательный корабль" уже стоит наготове во время посещения "Салюта") и целой серией (в течение 48 часов было запущено три корабля); кроме того, будучи кораблем одноразового применения, "Союз" по сути своей может быть подвергнут гораздо большему риску, чем орбитальные челноки стоимостью в миллиард долларов, которых насчитывается всего четыре. Встает вопрос, как антиспутниковые возможности нового "Союза" можно контролировать при заключении соглашений о контроле над вооружениями.

Вопрос № 21 относится к роли, которую советская программа пилотируемых кораблей играет в разработке передовой антиракетной техники, такой, как лазерное оружие. Во время полета в 1982 г. космонавтов Березового и Лебедева несколько раз предупреждали — "проверьте, надеты ли очки", когда их корабль проходил над антиракетным центром Сары-Шаган на озере Балхаш. По данным Пентагона, здесь действуют, по меньшей мере, две установки для испытания мощных лазеров. Участвовали ли космонавты в таких испытаниях, предположительно в качестве цели? Какое еще толкование можно дать этому упоминанию об "очках"? В октябре прошлого года акад.Велихов признал, что лазер во время полета действительно испытывался, правда, по его словам, только для целей слежения.

Вопрос № 22 касается делаемых космонавтами подстрекательских заявлений, таких, как утверждение Гречко: "Мы знаем, что во время первого полета американского космического челнока испытывались прицелы для лазерного оружия". Пусть Гречко (или его коллеги) докажут это обвинение или возьмут его назад, иначе их можно обвинить в том, что они намеренно возбуждают антиамериканские чувства, распроставляя удобную ложь.

Вопрос № 23 требует от советских официальных лиц представить доказательства серьезных обвинений, брошенных отдельным американским астронавтам в том, что они выступают как поджигатели войны. Например, Джек Лусма (по иронии судьбы — ветеран программы "Аполлон"—"Союз") несколько раз обвинялся в советской прессе в том, что он якобы сказал: "Из космоса мы можем держать в страхе целый мир". Советские представители должны точно указать, где и когда это было сказано. В противном случае будет очевидно, что эти вымыслы специально предназначены для возбуждения неприязни к американским астронавтам среди советского населения. Если советские представители не смогут доказать своих обвинений, пусть они объяснят, зачем они их выдумали.

Вопрос № 24 требует подтверждения права любого орбитального пилотируемого корабля пролетать над любой территорией. Советские официальные лица должны отказаться от угрозы использования силы против какого-либо пилотируемого космического корабля. Они должны публично осудить — или же защитить — "Улан-Баторскую доктрину", провозглашенную в 1981 г. космонавтом генерал-майором Георгием Береговым. Он заявил тогда, что орбитальные пролеты "без паспортов" над чужой территорией возможны только при условии "мирных намерений" космических путешественников. Он сказал, что разрешение астронавтам перелетать советские границы "накладывает на них определенную ответственность". Можно ли отсюда сделать вывод, что Советский Союз оставляет за собой право действовать в порядке "самообороны" и атаковать пилотируемый космический корабль, если он не одобряет его намерений? Так ли надо истолковывать слова Берегового, а если не так, то как же?

Вопрос № 25 касается "спасения в космосе". Потенциально это большая область будущего американо-советского космического сотрудничества. Но это требует полного раскрытия обеими сторонами характеристик и надежности своих космических кораблей. В противном случае другая сторона подвергает себя неизвестной опасности, участвуя в совместных действиях. Советские представители должны объяснить, почему их правительство скрыло предстартовый взрыв первого корабля "Союз"-10 (тот же самый номер был использован повторно на следующий год) 26 сентября 1983 г., когда едва не были убиты космонавты В.Титов и Г.Стрекалов. Что вызвало взрыв и какие шаги были предприняты, чтобы предотвратить его повторение? Не сообщая таких существен-

ных для безопасности данных, как могут советские власти рассчитывать, что кто-либо будет добровольно и с полным доверием сотрудничать в совместной программе с ними? Об этом надо спросить и Шаталова, если тот едет за рубеж, и Титова со Стрекаловым, и их дублеров Кизима и Соловьева, и экипаж Ляхова—Александрова, ожидавший на орбите "Союз"-10, который так и не прибыл.

Таковы лишь основные вопросы, на которые нужно получить ответ. Если советские официальные представители прояснят их, можно поговорить и о деталях. Лишь путем честного диалога можно попытаться достигнуть реального компромисса и соглашений. Все возможно, если говорить друг другу правду. Если в основе переговоров лежит ложь, на таком фундаменте ничего серьезного не построишь. Если советские официальные лица откажутся отвечать на такие вопросы или по крайней мере объяснить, почему их правительство не считает, что честные ответы — в его же собственных интересах, тогда само понятие "диалога" превращается в насмешку. ●

Автор статьи, специалист по истории советской космонавтики, просит читателей, располагающих новыми или малоизвестными сведениями из этой области, сообщать их ему по адресу: J.E.Oberg, Route 2, Box 350, Dickinson, Texas 77539, USA. Дж.Оберга особенно интересуют любые подробности биографии акад. С.Королева.

ИЗ ГАЗЕТ: 60 ЛЕТ НАЗАД

ПО ВОЛНАМ ЭРОТА

Письмо к съезду

Я, как и всякий человек, со всеми вытекающими отсюда последствиями, будучи холостяком и подвергаясь могучей воле природы, знал одну девушку, выражаясь словами мещанства, любившую меня. Эта связь, как следствие в подобных случаях, подошла к исходу материнства; она была склонна на общепартийный брак, но здесь как нельзя хуже встало русское традиционное "но", и будучи воспитана в старых рамках заскорузлого мещанства, она невольно оказалась зависящей от родителей, которые воскликнули: "Под венец!" Я заявляю съезду, что приложил все мои убеждения, политические и антирелигиозные, однако же она явно чувствовала себя матерью и категорически предложила смыть с нее, как с девушки, позор. Я чистый марксист по убеждениям, а равно и в душе, но войдя в положение девушки и реагируя логически на могущие развернуться последствия, встал на путь смешного до сарказма церковного брака и лишился дорогой для меня партии РКП (б).

Может быть, в горячности эстетического настроения и чувства, я потерял голову здравомыслящего субъекта, будучи экзальтически настроен, глухо внял лозунгам партийца и понесся по волнам Эрота в мутные воды омута. Но пусть съезд скажет не по воспаленному темпераменту пылкого мечтателя, а по холодному рассудку марксизма, — как я должен был поступить, щадя молодую жизнь на основе социализма.

Может быть, я ошибся. Но на на ошибках, как сказали наши великие вожди, мы строим свое будущее.

Заявляю съезду смело и гордо, что я не религиозный человек. Я с малолетства жаждал этой идеи и, как пловец, усиленно греб по морю революционных движений, но вот разразилась молния, предавшая меня партийной очистке.

Поэтому прошу съезд возобновить меня в РКП для новых усовершенствований в рядах светлого Коминтерна. Лыщу себя твердой надеждой, что моя лебединая песня будет услышана.

"Правда", 11 февраля 1926 г.

Вилем ФЛЮССЕР (Прованс)

РОДИНА И ЧУЖБИНА

Европеец в Бразилии

Я уроженец Праги; мои предки жили в этом городе больше тысячи лет. Я еврей, и фраза "в будущем году — в Иерусалиме" знакома мне с детства. Я был воспитан в немецкой культуре, и она была моим поприщем несколько лет. Я провел на пути в изгнание один год в Лондоне; англосаксонская культура стала частью моего духовного мира. Я бежал в Бразилию. Более тридцати лет я прожил в Сан-Паулу, основал там Высшую школу коммуникации и философский журнал, выпустил несколько книг, заведовал отделом самой крупной газеты и был автором ежедневных публикаций во второй по значению газете; я занимал ряд общественных постов и являюсь членом Бразильского института философии. Сейчас я живу во Франции, в провансальской деревне. И здесь, в этом захолустье, я тоже не остался в стороне от местной жизни. По меньшей мере четыре языка — для меня родные, мне то и дело приходится переводить с одного языка на другой, с другого на третий мои работы. Короче говоря, я имею достаточно конкретное представление о том, что описывается словами родина и потеря родины.

Этот мой опыт был одним из мотивов, побудивших меня заняться исследованием проблем коммуникации. Я увидел в человеческой коммуникации попытку перебросить мосты между людьми и группами, попытку, которая вновь и вновь терпит крах. Такой провалившейся попыткой помочь наведению мостов была и моя долголетняя жизнь и деятельность в Бразилии.

Человек — существо, нуждающееся в жилье, но не обязательно — в родине. Он вынужден проживать где-то, где-нибудь, дабы остаться человеком, ибо только жилье и привычки житья в нем позволяют ему перерабатывать шумы мира в информацию, другими словами, — воспринимать мир. Человеческая жизнь есть безостановочное движение между жилищем и миром, от личного к общественному и от общественного к личному, непрерывная приватизация общественного и социализация личного. Это маятникообразное движение есть "несчастное сознание" Гегеля, попросту говоря — обыкновенное человеческое сознание. Открывая себя, я теряю мир, открывая мир, теряю себя. Жилище, сеть привычек и всего, что обставляет домашнюю жизнь, играет роль приемника шумов внешнего мира, это сеть для улавливания всего недомашнего, непривычного и авантюрного. Жилище — трамплин для прыжка в хаос пространства, который мы можем упорядочить лишь с помощью навыков домашнего житья. Тот, кто не проживает, не имеет жилья, — не может и вобрать в себя мир, не может совершить этот прыжок; он лишен сознания.

Человек может жить везде: под парижскими мостами, в цыганских кибитках, в favelas — трущобах и развалинах на окраинах бразильских городов, даже в Освенциме. Человек, как крыса, жилец мира: космополит. О "родине" человечества, идет ли речь о местах обитания первобытного человека в Восточной Африке или о самых ранних следах присутствия вида *Homo sapiens* где-то на юго-западе Европы, можно говорить лишь метафорически. Со времени неолитической революции, приблизительно десять тысяч лет, часть человечества живет оседло. Промышленная революция сорвала с места огромное множество людей, привязанных к земле как к родине, сгруппировала их вокруг промышленных предприятий, образовав новые географические связи. Нынешнюю информационную революцию можно рассматривать как освобождение от географии. Во все большем количестве человеческий род странствует, и не только в голодной и страдающей от жажды Африке, но и в скупаемых голодом по сенсациям и жаждающих приключений Соединенных Штатах Америки. Кажется, что эра Родины близка к завершению. Вьетнамцы в Калифорнии, турки в Германии, бывшие жители Палестины в арабских эмиратах, северяне в Сан-Паулу, интеллигенты из отдаленных стран здесь, в этом зале, в городке у подножья Альп, — предтечи и предвестники новой исторической эры.

Родины — это места проживания, в которых привычки жить образуют особый тайный код. Родины — это святилища привычек. Уроженец родины "встроен" в сеть, которая тайно связывает его с людьми и вещами на родине. Нити и петли этой сети тянутся по ту сторону бодрствующего сознания в детство, в низшие и глубочайшие слои психики. Поскольку эти нити по большей части бессознательны, они несут эмоциональный заряд. Мы любим предметы и людей родины — либо ненавидим их. Вычленив эти нити как связи, которые могут или должны быть порваны, сравнительно легко, коль скоро речь идет о таких предметах, как пейзаж, климат или архитектура. В этом случае мы имеем дело с персонификациями вещей, со стиранием границ между Чем-то и Кем-то, с тем, против чего греческие философы борются, называя это мифом, а иудейские пророки сражаются, называя это язычеством. Но когда речь идет о людях, о родине, о соседях, об их "особости", — распознать и признать в этих нитях пути привычного, стесняющие свободу, гораздо трудней. Ибо такого рода нити обоюдны, они возлагают на человека ответственность за своих земляков, а ответственность сама по себе — симптом свободы. Нельзя легкомысленно разорвать эти нити — как это сделал, к примеру, Гаутама. Вот что делает таким болезненным отрыв от родины.

Социологи как будто научили нас тому, что тайные коды родины могут быть расшифрованы посторонними, подобно тому как расшифрован смысл обрядов посвящения у первобытных народов. Человек, лишившийся родины, мог бы кочевать, теоретически говоря, из одной родины в другую и поочередно вживаться в каждую из них, если бы в связке ключей, которую он таскал бы с собой, находились ключи ко всем кодам. В жизни так не бывает. Тайные коды родин состоят не из сознательно усвоенных правил, а из бессознательных привычек. Привычка тем и замечательна, что мы по большей части не сознаем ее. Чтобы пустить корни на новой родине, нужно сначала сознательно изучить тайный код, а затем забыть, что ты его изучал. Если же код по-прежнему сознается как таковой, его правила оказываются не сакральными, а банальными. Тогда он достоин презрения, ибо он превращает красоту родины в пошловатую красоту. И тогда возникает полемический диалог между красавцами-аборигенами и уродами-пришельцами, диалог, который заканчивается либо погромом, либо тем, что прижившийся было на новой родине покидает ее и высвобождается из ее пут. Мой опыт жизни в Бразилии может служить этому примером.

Я хочу прежде всего освободить понятие "Бразилия" от чуждых ему европоцентристских наслоений и предубеждений, например, таких как "Третий мир", "отсталость" или "эксплуатация". (Предубеждения, или досознательно принимаемые убеждения, прирождены, впрочем, любой родине.) Вплоть до начала XIX века и даже позже население Бразилии состояло из трех слоев. Из португальцев, частью бежавших с родины, частью управлявших страной в качестве чиновников колониальной администрации. Из африканцев, которых привезли сюда как рабов. И наконец, из коренных обитателей страны, которых в свою очередь можно было разделить на господствующий верхний слой, *tipis*, и низший слой, *tipinambas*. Во второй половине XIX столетия рабство было отменено, безработные африканцы стали накапливаться в городах, а европейские иммигранты, прежде всего выходцы из Северной Италии, напротив, устремились в сельское хозяйство: хлопководство, возделывание кофе и сахарного тростника. За первой волной переселенцев последовали другие, из самых разных мест: поляки, уроженцы Сирии и Ливана, японцы, немцы, множество других и, конечно, снова и снова португальцы. Последней, уже на моих глазах, была волна евреев, пока, наконец, иммиграция не была прекращена в шестидесятых годах. Нужно отметить, что весь этот поток прежде всего хлынул на юг, северные же и восточные районы остались им почти не затронуты; страна разделилась на два региона. В настоящее время происходит мощная миграция населения с северо-востока на юг, и те картины Бразилии, которые европейцы видят по телевидению, связаны, главным образом, с этим массовым передвижением.

В эпоху рабства литература романтизировала бразильскую родину, но действительность, грустная *realidad brasileira*, была совсем иной. Существовал тонкий верхушечный слой — португальцы, осевшие вокруг гаваней, чтобы ловить вести с родины, из Лиссабона и из Парижа. Люди эти чувствовали себя как в ссылке. И существовало африканское население, у которого с Африкой не было никакой сознательной, духовной связи. Выброшенные голыми из трюмов рабовладельческих судов на бразильский берег, люди эти лишь в глубине своей души, отупевшей от тяжелой работы, сохраняли элементы утраченной культуры, которые, однако, нашли себе выход в форме музыки, танца и религиозных обрядов; все это образовало почву их будущей бразильской родины. Что же касается собственно аборигенов — индейцев, все дальше отселяемых вглубь, то они не были подлинной частью Бразилии, но представляли собой наполовину мифологизированный, наполовину изнасилованный закулисный, оставшийся за порогом бразильской истории этнический реликт. Это отличает туземцев Бразилии (а также Аргентины и Уругвая) от индейцев остальной Латинской Америки, где они составляют скорее декоративный фон, используемый в идеологических целях.

С конца XIX века европейские, ближне- и дальневосточные переселенцы начали, так сказать, ставить вопрос о Бразилии как о родине. Вопрос был следующий: можно ли из столь разнородных элементов соткать нечто целое, создать сеть тайных уз, как это было на старых родинах? Существовала лишь одна точка отсчета — португальский язык. Правда, этот язык, сравнительно с языком, на котором говорили в самой Португалии, был, с одной стороны, архаичным (в нем сохранились языковые реликты эпохи Возрождения), с другой — несколько одичавшим (в результате проникновения африканских элементов). Но как раз это и помогло бразильскому португальскому языку стать средством общения, например, для выходцев из Японии и из арабских стран. Можно ли было создать бразильский язык, который стал бы носителем и распространителем бразильской культуры, можно ли таким образом превратить Бразилию в родину имеющего быть бразильского общества? Этот вопрос, эта задача, вызвавшая энтузиазм у всех, кого она касалась, образует, как мне кажется, материнскую почву всего, что было сотворено в этой стране в нынешнем столетии, от города Бразилиа до танцев наподобие *bossa nova*.

Когда я приехал в Бразилию, этот вихрь, едва только я кое-как устроился, увлек и опьянил меня. Меня захватила идея строительства новой, достойной человека и свободной от предрассудков родины. Отрезвил меня лишь государственный переворот, golpe, совершенный армией. И не потому, что, по европейской привычке, я расценил его как вмешательство реакции; но я увидел в нем первый признак осуществления бразильской родины, ее первое проявление. Я хочу немного подробнее рассказать об этом разочаровании в бразильской родине — да и во всех родинах вообще.

Бразилия по существу была по man's land, когда в нее хлынули в прошлом веке волны иммигрантов. Это была ничья родина. Отсюда боевой клич патриотов, исполненных волей обрести, завоевать родину: *este pais tem dono*, "у этой страны есть хозяин." Это была не колония, не Африка и не Азия, где завоеватели становились господами туземного населения, а пустая земля, нечто вроде американских Штатов, — страна, из которой прогнали туземцев. И пришельцы были в ней не ненавидимыми чужаками, но были приняты без предубеждений, как безродные товарищи по судьбе. Конечно, Бразилия совсем не то, что Америка, но на этом я останавливаться не буду.

Во всяком случае свобода от предрассудков так резко отличалась от всего, к чему иммигранты привыкли у себя на старых родинах, главным образом в Европе, что не дать себя вовлечь в новую складывающуюся общность граничило бы с подлостью. Вдобавок каждый чувствовал себя в этой ничейной стране пионером в любой области, которую предстояло освоить своим трудом. Для меня это была бразильская философия. Ее нужно было создать, чем я и занялся вместе с несколькими товарищами по судьбе. Так мы начали ткать обоюдные нити, эти нити не были предуготованы, как на старой родине, нашим рождением, но их следовало создать усилием воли. Так я познал, в чем состоит опустошающее действие патриотизма, будь он локальным или национальным: патриотизм освящает навязанные нам человеческие связи, оттесняя связи, избранные нами свободно. Патриотизм ставит семейное родство выше избирательного, биологическую или квази-биологическую близость — выше дружбы и любви. Упоение свободой захватило меня; я был волен сам выбирать для себя ближних.

Эта работа над созданием будущих тайных кодов, будущей бразильской родины, превращение авантюры в привычку и далее сакрализация привычного — продолжались и продолжали воодушевлять, пока шли одна за другой все новые волны переселенцев. Сеть, которую все ткали и ткали, оставалась незаконченной. Приведу такой пример: философский институт, где уже состояли членами ученики Кроче из Италии, немецкие последователи Хайдеггера, португальские приверженцы Ортеги-и-Гассета, еврей-позитивисты из Восточной Европы, бельгийские католики и англосаксонские сторонники философии прагматизма, должен был принять в свои ряды японских дзэн-буддистов, одного ливанского мистика и одного философа, прибывшего из Китая; ожидался также приезд раввина — представителя западноеврейского талмудизма. При всем том это был именно институт, а не клуб для случайных посетителей. Прием в него становился все сложнее. Постепенно начали складываться свои внутренние законы и свои предрассудки. Это было отражение в малом масштабе того, что происходило вокруг нас: становление родины.

Заслуживают упоминания два феномена, связанные в моей памяти с пятидесятью годами. Один из них носит название *defa sa gem* (нечто вроде "дефазирования", от слова фаза). Другой называется "популизмом" (*populismo*). По мере того, как выкристаллизовывалось автономное бразильское ядро, ослабевал контакт с крупными центрами за пределами страны, прежде всего с Америкой. Становилось ясно, что связав свою судьбу с Бразилией, мы должны были отрешиться от многого. В частности — пожертво-

вать свободой от географической привязанности. В душе моей зашевелились сомнения. В условиях современной информационной революции — не есть ли всякая географическая привязанность нечто ретроградное? Стоило ли отказываться от преимущества, — а это, конечно, же преимущество, — не иметь никакой родины?

Вот что означало defasagem.

Второй опыт, опыт "популизма", носил еще более радикальный характер. Социально-экономическое расслоение в Бразилии 50-х годов выглядело примерно так. Значительная часть населения вела полукочевой образ жизни, в зависимости от урожаев монокультур, жила в нищете, голоде, болезнях, и оно, это население, было как бы неммым вызовом: из бескультурной массы надлежало создать новую родину. Другой слой составлял пролетариат городов — это были по большей части иммигранты, а над ним располагалась буржуазия, состоявшая частью тоже из переселенцев, частью из потомков португальских завоевателей. Создать, соткать родину — было прежде всего делом этого верхнего слоя. Но кому мы должны были адресовать наши усилия? Рабочим городов, прививая им сознательность? Или пассивной полукочевой и крестьянской массе, вовлекая ее в общество? И то, и другое было невозможно. Ибо для мобилизации рабочих нужно было политизировать нашу деятельность, а для того, чтобы добраться до крестьян, — заняться хозяйственной деятельностью, то есть деполитизировать ее. Другими словами, либо ратовать за свободу, либо бороться с холодом и болезнями. Нелегко отдать себе отчет в необходимости столь невозможного выбора. Я попробовал — и потерпел неудачу.

"Популистская" тенденция, одержавшая верх с приходом к власти Жетулиу Варгаса, как будто бы избежала этого выбора: считалось, что сначала надо политически мобилизовать рабочий класс, а затем можно будет всосать прочую народную массу. Это был путь демагогии, похожей на фашистскую, и он привел к вульгаризации всех культурных начинаний. Выявилась другая тенденция, назовем ее технократической, которая, напротив, взяла быка за рога. Прежде всего — устранить нищету, а для этого необходимо централизованное планирование. Но такое планирование предполагает диктатуру, то есть заблаговременное, "профилактическое" пресечение любых социальных, политических или культурных похем тотальному планированию. Технократическая тенденция находит свое воплощение в армии.

Так вот: после 1964 года (напомню, что весной этого года власть захватил генерал Кастелу Бранку) мне стало ясно, что единственный путь, на котором Бразилия действительно может стать родиной для своего населения, — это победа технократии над популизмом. Мне стало ясно также, как будет выглядеть эта родина: гигантский, использующий технические достижения аппарат, способный соперничать по своей ограниченности, фанатизму, патриотическим предрассудкам с европейской родиной. Так продолжалось до 1972 года, после чего с болью в сердце я отказался от жизни и работы в Бразилии, от служения этой стране, — и уехал в Прованс, который можно назвать Антибразилией.

Мой бразильский опыт выглядел бы искаженным, если бы я попытался описать его в европейских терминах, таких, как "демократия" или "классовая борьба". Но этот опыт хорошо укладывается в интересующую нас тему: родина и чужбина. Жизнь на родине — или без родины.

Кто изгнан из родины (или имел мужество покинуть ее добровольно), тот страдает. Нити, привязывающие его к людям, обрываются. Но со временем он понимает, что эти нити не только привязывали, но и связывали его. Что отныне он свободен ткать новые межчеловеческие нити и принять на себя ответственность за новые связи. Я уже гово-

рил: нитями, которые привязывают к вещам, легко пренебречь. Судьба макабрически облегчила мне расставание с Прагой: все близкие люди погибли. Евреи в Освенциме, чехи за участие в Сопротивлении, немцы в России. Все, с кем я был связан.

Но затем встает вопрос, как распорядиться новообретенной свободой. Вопрос "свобода от чего?" становится вопросом "свобода для чего?" Огнь не я свободен завязывать связи с другими. Но как укрепятся во мне эти связи, к чему их прицепить, если я — развязанный узел, прозрачное, лишённое тайны и тайных уз, призрачное существо, носимое ветром? Ответить на этот вопрос, может быть, и нетрудно, зато решить его на практике нелегко. Я не могу и не вправе отшвырнуть прочь наследство утраченной родины, я обязан нести его на своих плечах, чтобы предложить другим — и тем самым преодолеть его. Я должен привыкнуть к тому, что я пражанин, что я еврей, что я немец, что я англо-сакс, что я бразилец, что я провансалец, чтобы вместе с другими изменить условия, в которых я оказался. Такова, по-моему, задача всякого, кто лишился родины.

Казалось, что в Бразилии для этого представилась наилучшая возможность. Я мог там создать для себя новую жизнь как часть новой родины, которую тоже еще предстояло создать. Ибо там, в отличие, скажем, от Соединенных Штатов Америки, речь шла не о том, чтобы обрасить и обогатить чем-то новым существующее ядро, но о том, чтобы вообще создать ядро. Творческие потенции человека, свободного от родины, нигде не могли развернуться шире, чем в Бразилии.

Разочарование в Бразилии было не чем иным, как обнаружением того, что всякая родина, заброшен ли ты в нее фактом своего рождения или подрядился участвовать в ее сотворении, всякая родина — есть сакрализация банального. Того, что родина, какой бы она ни была, есть не что иное, как жильё, повитое тайной. И что если ты хочешь сохранить добытую страданиями свободу существования без родины, ты должен отказаться от участия в этой мистификации привычного житья. Связи, которые я завязал в Бразилии, я обязан поддерживать. Ибо я несу ответственность за моих бразильских земляков, как они ответственны за меня. Но я вступил в другие связи, за пределами Бразилии. И в эти новые связи я должен встроить мой бразильский опыт. Не Бразилия — моя родина, но "родина" для меня — люди, за которых я отвечаю.

Вот почему свобода, обретенная в потере родины, не имеет ничего общего с филантропией, космополитизмом или гуманизмом. Я не несу ответственности за все человечество, не отвечаю, допустим, за миллиард китайцев. Но это свобода ответственности за "ближних". Это та свобода, которую подразумевает иудео-христианство, когда оно призывает любить ближнего и говорит о человеке, что он изгнанник в мире и родина его — не от мира сего.

Тайна родины "инфернальна", она — внизу, она коренится в бессознательном. Когда в результате изгнания эта тайна выходит на свет Божий, обнаруживая себя как банальность, — открывается другая, более "возвышенная" тайна, тайна свободного, ответственного существования с другими. Если эпохе родин суждено уйти в прошлое, то наступит более сознательная, более открытая, более свободная от предрассудков жизнь. Конечно, если дело не дойдет до катастроф, до внешних и внутренних взрывов, какие нельзя исключить в Бразилии, этой гигантской, опасной, новой родине. ●

Федеративная республика Бразилия занимает почти половину южноамериканского материка и является шестым государством мира по числу жителей (в 1985 г. — 137,5 млн.). Половина населения — белые, одна десятая — негры, 30% — потомки смешанных браков; примерно 1% составляют индейцы и выходцы из азиатских стран. Подавляющее большинство бразильцев — католики. Страна обладает огромными естественными ресурсами и в настоящее время быстро индустриализуется. В сельском хозяйстве занята треть трудоспособных граждан. Бразилия производит кофе (крупнейший мировой поставщик), бананы, тростниковый сахар, джут, какао, цитрусовые. С начала 1985 г., после многих лет военной диктатуры, в Бразилии восстановлена демократия. Пост президента республики занимает Жозе Сарней Кошта.

Лешек КОЛАКОВСКИЙ (Лондон)

ПОХВАЛА ИЗГНАНИЮ

Ставшая обычной в двадцатом столетии фигура интеллектуала в изгнании могла бы гордиться своей духовной родословной — от Эмпедокла и Овидия, через Данте, Оккама и Гоббса до Шопена, Мицкевича, Герцена, Гюго. Но в наше время эмигранты чаще оказываются беженцами, а не изгнанниками в прямом смысле слова; как правило, их не депортируют из страны и не изгоняют по закону; они убегают сами — от политического преследования, тюрьмы, смерти или просто от цензуры.

Это важная разница, ибо она влечет за собой определенные психологические последствия. Многие добровольные изгнанники, ускользнувшие от тиранических режимов, не могут избавиться от чувства внутреннего беспокойства. Им больше ничто не грозит, они свободны от притеснений, каким ежедневно подвергаются их друзья или вся страна, — с которой, однако, они по-прежнему себя отождествляют. Неизбежна, таким образом, некоторая раздвоенность, и потому невозможно установить критерии, по которым можно было бы отличить оправданное самоизгнание от неоправданного. Изменилось бы что-нибудь для Эйнштейна или Томаса Манна, если бы они остались в гитлеровской Германии, или Шагала, если бы он не уехал из своего Витебска? Последствия, надо думать, были бы катастрофическими. С другой стороны, в СССР и в Польше есть немало людей, которых правители с удовольствием отправили бы за границу, — но эти люди упорно отказываются ехать, подчас выбирая взамен тюрьму, преследования и нищенское существование. Кто осмелится сказать, что они не правы? Солженицына и Буковского пришлось силой выдворять из Советского Союза. Многим руководителям "Солидарности" предложили свободу в обмен на эмиграцию — и они отказались; некоторые снова в тюрьме, другие, возможно, окажутся там вскоре. Милан Кундера покинул Чехословакию, а Чеслав Милош — Польшу; им удалось претворить свой опыт в значительные достижения современной литературы. Хавел остался в своей стране, так же поступил Херберт; им обязаны мы очень многим. "Доктор Фаустус" — плод эмиграции, как и романы Набокова, как произведения Джозефа Конрада, Эжена Йонеско или Артура Кестлера; однако "Архипелаг ГУЛАГ" едва ли мог написать изгнанник. Невозможно решить, при каких условиях добровольное изгнание предпочтительней, целесообразней, лучше, — если можно вообще говорить о пользе изгнания.

Говоря об интеллигенте вне родины, мы почти автоматически думаем о человеке, бежавшем от той или иной разновидности тирании. Предполагается, что эмиграция — все-таки лучший выход. Для России с ее огромными пространствами характерной является внутренняя ссылка. Такая ссылка соединяет в себе худшие стороны обоих вариантов: человек лишается родины, не будучи избавлен от репрессивного режима. Здесь, как и повсюду, существуют разные степени страданий: достаточно сравнить ссылку Пушкина под начало генерала Инзова в Кишинев со ссылкой академика Сахарова в Горький. Можно, конечно, сказать, что ссылка в отдаленные районы страны имеет все же и некоторые преимущества по сравнению с высылкой за границу: нет такого чувства оторванности, отсутствуют сложности с иностранными языками и т.п. Эти преимущества очевидны для того, кто прочно врос корнями в родную землю. Но что в конце концов хуже?

Ответ можно попытаться найти в судьбе самых опытных беженцев, изгнанников по преимуществу — евреев. До тех пор, пока они жили в гетто, защищая свою особость непроницаемой броней весьма сложных ритуалов и табу, евреи могли выдвигать из своей среды выдающихся талмудистов и комментаторов закона, но в целом их духов-

ная жизнь по необходимости была изолированной. Со времени рассеяния многие поколения евреев жили как эмигранты, но они не были иностранцами за стенами своего гетто. В своем сердце евреи бережно хранили и лелеяли потерянное, воображаемое отечество, оставаясь более или менее безразличными к культуре внешнего мира. В этом смысле верующему хасиду было все равно где жить: в Варшаве или в Буэнос-Айресе. Но как только под влиянием эмансипации (не следует забывать о сомнительных аспектах этого многозначного понятия) стены гетто начали рушиться, евреи с удивительной быстротой и энергией вторглись в духовную жизнь Европы. Некоторым из них, подобно Марксу, Фрейду и Эйнштейну, было суждено покорить мир; тысячи других заняли почетное место среди духовной элиты многих стран и во всех сферах культуры, в науке, искусстве, медицине, политике. Евреи стали изгнанниками в современном смысле слова после того, как изгнали себя из своего коллективного изгнания. Ибо вопреки всем усилиям, они — или по крайней мере, большинство из них — не смогли полностью отрешиться от прежнего самосознания и ассимилироваться до конца. Народы, среди которых они жили, смотрели на них как на инородное включение; возможно, именно эта неопределенность, эта нехватка строго очерченного самосознания, позволила им шире и глубже видеть то, что ускользало от взгляда укорененного большинства, спаянного чувством духовной близости. Иногда кажется, что именно антисемиты (до тех пор, пока на стол не был выложен последний козырь — газовые камеры) в значительной мере помогли колоссальным достижениям евреев: лишив их моральной и интеллектуальной безопасности национального существования (французского, польского, русского или немецкого), враги евреев оставляли их в привилегированной позиции посторонних.

То, что посторонний обладает преимуществом более трезвого и объективного познания, не подлежит сомнению. Гость часто видит вещи, которых местный житель не замечает, ибо они для него — рутина (вспомним о туристе в Америке, которого звали Алексис де Токвиль). С точки зрения Библии, изгнание — естественный удел человечества на этой земле. Можно пойти дальше и сказать, что миф об изгнании в той или иной форме лежит в основе всех религий и включен в любой подлинно религиозный опыт. Идея его сводится к следующему: наш истинный дом не здесь. Существует, однако, по меньшей мере два противоположных толкования этой идеи. Презрение к земным делам и заботам или даже к самой жизни с ее неизбежным страданием — вот вывод, к которому приходит буддийская мудрость. Другая концепция — земное изгнание как путь, ведущий к Отцу. Такова господствующая теза иудео-христианской мысли. Суть христианского представления о жизни можно выразить так: мы живем в изгнании и его цели и ценности должны рассматриваться как относительные, все они подчинены высшей Ценности и Цели. Вместе с тем нельзя отрицать их реальность; игнорировать их мы не вправе. Природа, тварный мир — это противник, которого надо покорить, но не отрицать.

Предположим, что теологи правы и наши предки в Эдеме познали бы плотскую любовь и произвели потомство, даже если бы они устояли перед искушением и остались в счастливом неведении Добра и Зла. Все же они никогда бы не смогли породить то человечество, каковым мы являемся, — расу, способную к творчеству. Именно грех и последующее изгнание из Рая, со всеми его муками и опасностями, лишило прародителей божественной безмятежности, поставило их лицом к лицу со злом, риском, заставило бороться и страдать — другими словами, создало основу человеческого существования. Творчество возникло из неуверенности, из сознания своей обездоленности, из опыта бездомных.

Философия может попросту отрицать факт изгнания или хотя бы игнорировать его; именно так поступили приверженцы эмпиризма, натурализма, материализма и всевозможных псевдонаук. Философия может принять этот факт, попытавшись указать дорогу к окончательному примирению человека с Абсолютом, — таков подход гегельянцев. Наконец, она может признать факт изгнания, но не согласиться с тем, что наше

положение поправимо; тем самым она осуждает нас на неутолимую ностальгию по несуществующему раю. Экзистенциализм XX века добился, пожалуй, наибольших успехов в выражении этого мрачного взгляда.

Христианскую идею первого изгнания можно расширить и применить ко второму — изгнанию из изгнания, — и к третьему, и к четвертому. (Можно, к примеру, сказать, что Спиноза был "изгнанником в четвертой степени": его исключили из еврейской общины, осевшей в Амстердаме после того, как ее изгнали из Португалии, где евреи жили как изгнанники из Земли обетованной, которую Бог дал им, изгнав из Эдема.) Любое изгнание можно рассматривать или как несчастный случай, или как вызов; изгнание способно свергнуть в отчаяние, но может служить и источником своеобразного воодушевления. Мы можем говорить на иностранном языке просто потому, что нам не остается ничего другого, — а можем попытаться открыть в нем лингвистические сокровища, неведомые нашему родному языку и обогащающие наш разум. Мы можем противопоставить свою точку зрения — взгляд иноземца — точке зрения местного жителя и тем самым посеять в его душе зерна тревожного сомнения, которые дадут плоды, полезные для нас обоих. Современная история изобилует примерами этого рода. Мне не известна ни одна работа, специально исследующая культурную роль различных эмиграций в истории Европы. Но ясно, что если бы не многочисленные высылки и добровольные изгнания по религиозным или политическим мотивам, если бы не все эти беженцы и бродяги, интеллектуальная и художественная жизнь нашего континента выглядела бы сейчас иначе. Она была бы много бедней. Вспомним хотя бы о гугенотах в Англии и Голландии, об итальянских христианских радикалах и унитариях, искавших убежища в отличавшейся тогда редкой терпимостью Польше во второй половине XVI века; о польских унитариях в Западной Европе конца XVII века, которые несли с собой идеи Просвещения; о евреях, изгнанных из стран Иберийского полуострова и перекочевавших в Центральную Европу. Вспомним, обратившись к нашему времени, беженцев из восточноевропейских стран, находящихся под коммунистическим господством. Все они внесли свой вклад, порой чрезвычайно значительный, в цивилизацию приютивших их стран, хотя на них и смотрели подчас с подозрением и относились к ним не слишком дружелюбно. Эмигранты из нацистской Германии дали громадный толчок интеллектуальной жизни Америки (некоторые намекают, что по большому счету ничего, кроме вреда, это не принесло, — но кому известен этот "счет" и окончательные результаты?).

Мы должны, нравится нам это или нет, примириться с простым фактом: мы живем в эпоху беженцев, эмигрантов, бродяг, скитальцев, кочующих по странам и материкам и согревающих свои души воспоминаниями о родном доме — географическом, этническом, духовном, божественном, реальном или воображаемом. Абсолютная бездомность невыносима, она означала бы отказ от человеческого существования. Возможен ли абсолютный космополитизм? До нас дошел рассказ об Анаксагоре: когда его спросили, не тревожит ли его воспоминание о родине, философ ответил, что эти мысли его воистину волнуют, — и указал на небо. И сегодня некоторые говорят похожие вещи, желая подчеркнуть безразличие к стране, откуда они родом. Бог знает, верят ли они в это.

За отдельными людьми, бегущими от тирании или изгоняемыми, следуют, в некотором смысле, целые страны: народы таких стран, хотя им и разрешили остаться на родной почве, подверглись ограблению; их лишили права быть гражданами своей родины, хотя и оставили гражданами государства; их страны сами находятся под иностранным владычеством. Такова судьба — будем надеяться, временная — народов Центральной и Восточной Европы. Раскол между государством, которое люди не считают своим, и родиной, хранителями которой являются эти народы, низвел их до двусмысленного положения полуизгнанников. Несуверенное государство стремится лишить своих подданных исторической памяти, а коллективная память — это и есть в конечном счете отчизна. Если одна половина Европы лишена корней, что ждет другую половину? Не пытается ли Бог снова напомнить нам о том, что изгнание — извечный удел человеческого рода? Воистину безжалостное напоминание, даже если мы его и заслужили. ●

РАЗРУШЕНИЕ НЕМЕЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Перечитывая работу швейцарского литературоведа Вальтера Мушга (1898–1965) "Разрушение немецкой литературы", главу из которой мы включили в нашу небольшую подборку материалов о политической эмиграции из тоталитарных стран, — не устаешь удивляться тому, как все повторяется. Государственно-бюрократическая регламентация творчества и преследование неугодных писателей; литература, разрубленная пополам; судьба писателя-изгнанника, живущего и работающего в иноязычной среде; судьба оставшихся, обреченных на полуполюгальное существование либо вынужденных постоянно заключать сделки со своей совестью. Свирепое уничтожение всего, что оставил на родине эмигрант, всего, что он сделал для нее, всех следов его труда, — месть уехавшим! Как все это знакомо нам. Первая элегия Овидия из цикла "Tristia", написанного в изгнании, начинается словами: "Спеши, моя книга, в Рим..." Автору предстояло умереть на чужбине, но на стихи его не был наложен тотальный запрет, его творчество не было вычеркнуто из литературы. С тех пор многое изменилось...

Когда над Германией спустилась ночь и поток эмигрантов устремился за ее пределы, среди беженцев оказалось много писателей, чьи книги из-за своего идейного содержания или из-за происхождения автора оказались под запретом, были изъяты из книжных лавок и библиотек и публично сожжены. Бегство — отнюдь не возвышающее душу зрелище, и, сознавая это, многие из них с самого начала тяжело страдали. Они бросили родину, но кто решился бы их упрекнуть? По крайней мере, евреи и политически преследуемые уехали не по доброй воле, но под прямой угрозой гибели. Им первым выпало на долю то, что вскоре предстояло пережить целым народам. Как глубокое унижение воспринял необходимость эмигрировать Альфред Деблин: "Какая несправедливость, какая жалкая судьба — бежать прочь отсюда в поисках личной безопасности! Будь проклято все на свете... Кто меня довел до этого?" Лишь в изгнании каждому эмигранту стало ясно, чем было его бегство: актом человеческого достоинства или бессмысленным поступком.

Лишь немногим удалось найти новую родину. Больше других повезло верующим евреям, перебравшимся в Палестину и сумевшим найти там новое призвание и место в жизни, будь то почетная роль духовного руководителя, какой удостоился Мартин Бубер, или скромная возможность спокойно зарабатывать свой хлеб. Для верующего иудея преследование было еще одной главой еврейской судьбы, оно напоминало об арфах близ рек вавилонских, и можно было, вопреки всему, найти в изгнании некий смысл. Эльза Ласкер-Шюлер поведала о счастье вернуться на землю предков: "Как если бы сотворение мира совершилось только вчера — почва Палестины, эта строительная площадка, еще завалена первозданным щебнем, покрыта доисторической глиной, но в расщелинах скал лежит материал для новой стройки. Развейся в прах и восстань сызнова, обетованная земля, покуда не уподобишься небу!" Но при всей своей любви к библейской отчизне великая поэтесса так и не прижилась там и вдали от Германии обливалась слезами, словно осиротевший ребенок; свой последний сборник "Голубой

рояль" она посвятила "незабвенным друзьям и подругам в немецких городах и тем, кто, как я, изгнан и рассеян по свету." Она умерла в нищете и погребена на Масличной горе.

Те, кто нашли, как им казалось, убежище в Вене, Париже или Лондоне, были снова согнаны с места, если до этого не померли с голоду или не расстались с жизнью после немецкого вторжения. Ветер нес их все дальше, и чашу бед им пришлось испытать до дна. Иные после крушения Франции угодили в концлагеря, иные погибли, пробираясь через Пиренеи или очутившись в портовых городах, где они дрались за места на пароходах. Другим удалось добраться до безопасных мест, и тогда оказалось, что недостаточно остаться в живых, нужно еще обрести родину — либо умереть без нее с разбитым сердцем. Изредка, как исключение, случалось чудо. Наивный мечтатель Альфред Момберт, погруженный в космические грезы, дал себя арестовать в своей квартире в Гейдельберге; его увезли в лагерь. Друзья, однако, сумели выволочь из ада этого поэта не от мира сего, тяжелобольным он был привезен в Швейцарию и там почил в мире. Рукопись романа Анны Зегерс "Седьмой крест" пропала во время бегства; ее нашел и спас от полиции один французский учитель.

Тогда, после 1933 года, Европа была расшатана настолько, что даже самых именитых эмигрантов в лучшем случае терпели в странах, где они оказались. У нас в Швейцарии мало кто принял к сведению тот факт, что в стране находится больной Стефан Георге, который вскоре и умер в глубоком разочаровании. О незначительных или спорных писателях и говорить не приходится; многие из них попросту пропали без вести, другие, в безысходном одиночестве чужих городов, угасли, словно в осаде, барахтаясь в паутине бюрократических учреждений. Кое-кто забился в угол, как Роберт Музиль, который окольным путем через Рим прибыл в Цюрих, отсюда был вынужден переселиться в Женеву, где и окончил, забытый всеми, свои дни. Третий том незавершенного романа "Человек без свойств" был выпущен в Лозанне на средства, кое-как собранные по подписке. За океаном, в Нью-Йорке, вышло и полное собрание сочинений Кафки; его дневники в неполном виде впервые были опубликованы по-английски. В Стокгольме, Лондоне, Амстердаме функционировали немецкие издательства и выходили эмигрантские журналы, они давали возможность литераторам, покинувшим родину, как-то продержаться. Если судьба улыбалась писателю, она посылала ему горстку друзей или хотя бы одну верную душу, которая ободряла его и заботилась о том, чтобы память о нем не исчезла. Так было сохранено наследие умерших на чужбине Музиля, Момберта, Карла Крауса, Германа Броха и других.

Беды и удачи изгнанников были связаны не только с внешними обстоятельствами. Свою судьбу они несли в самих себе. Подтвердилась старая истина: для того, кто страдает, все зависит от того, что он сумеет сделать из своего страдания. Нужда безжалостно обнажила человеческую суть каждого. Стало ясно, кто чего стоит. Больше всего беглецам грозила опасность оказаться в невольной зависимости от низости их врагов, окоченеть в ненависти, отравиться ядом мести. Кому пришлось покинуть лишь хорошо поставленный литературный бизнес, кому удалось возобновить этот бизнес за границей, тот использовал перипетии эмигрантских скитаний в качестве новой беллетристической сенсации, — как это сделал, к примеру, Ремарк в "Триумфальной арке". Избалованный литератор вроде Клауса Манна сменил ресторанное существование на одном континенте на такую же жизнь на другом, пока, наконец, его нервы не сдали; он нашел в себе по крайней мере мужество осознать бессмысленность этой жизни и сделать из этого кое-какие выводы. Такой прирожденный полемист, как Тухольский, оказавшись на чужбине, умолк: он понял, что побежден; мучимый сознанием, что и он виноват в крушении немецкого духа, он наложил на себя руки. Некоторые вернулись в Германию, раскаявшись и считая, что отъезд был ошибкой. Многие прочно обосновались за рубежом, получили иностранное гражданство, даже переменили язык и впоследствии, после войны,

так и не решились вернуться домой. Главой американизированных эмигрантов был Томас Манн, лишенный германского подданства и демонстративно отрекшийся от бывшей родины. Его международная слава, непоколебимое сознание своей миссии служили ему доспехами, в которых он выступил как непримиримый враг Третьей империи. Ненависть к бандитам, захватившим власть в Германии, довела до совершенства его талант эссеиста, одновременно превратив его в страстного политического борца. В своих обращениях по радио из Америки к немецкому народу Манн высказал все, чего не решалось произнести вслух и что жаждало услышать множество людей; но большего он не сказал: ни искупительной истины, ни глубокого постижения смысла апокалиптических событий не было в его инвективах. Поэтическое слово не могло произрасти в этой разъедающей смеси отчаяния и сарказма, оно распалось, стало пародией на все, что было святыней для идущей ко дну Европы.

Были и такие, кто оказался не в состоянии, в условиях крайней нищеты, преодолеть созерцательность и творческий паралич. Для них не осталось никакой надежды вернуться в литературу. Сама по себе пересадка в чуждую языковую среду была равносильна для них смертельной травме. Они могли переменить платье, но не язык. Храня же верность родной речи, они обрекали себя на затвор, в котором должны были задохнуться. К ним, во всяком случае, относились горькие слова Альфреда Польгара: "Чужбина не стала родиной, а родина стала чужой". Гордость, воспевавшая идти на компромиссы, отказ унизиться, чего бы он ни стоил, — был лишь маской отчаяния. Рудольф Борхард забаррикадировался в аристократическом одиночестве жреца чистой красоты и умер, гордый тем, что не поступился в угоду черни ничем. В одном из поздних стихотворений под названием "Отпуск" он отказывается от всех земных благ и сбрасывает с себя лавровый венок: "Что было, минуло, и сызнова начинать не стоит." Еще не один, потерявший все, повторит эту формулу и застынет в ледяном героизме, так легко переходящем в бесплодное высокомерие. Но еще больше впечатляет и трогает упорство, с которым безвестные молодые поэты цеплялись в изгнании за свои стихи, точно утопающий за обломок погибшего судна. И никто, быть может, не любил немецкий язык так, как эти опальные, подвергнутые тотальному остракизму поэты-евреи. Для них язык был единственным достоянием, которого у них никто не мог отнять. Горше всех преследований была для них тоска по родине. И чем туже им приходилось, тем труднее было выдержать запрет, которому они подверглись на их злой родине.

Франц Верфель дал обет написать книгу во славу Святой Девы, если она поможет ему выбраться из оккупированной Франции. Он сумел уйти живым и невредимым и написал "Песнь о Бернадетте", и все же смерть его была смертью отчаявшегося человека. Чудо спасения не подарило ему творческого взлета, и он мог лишь мысленно отмежеваться от своего прошлого; незадолго до кончины он признавался: "Я знал много видов гордыни, и за другими, и за самим собой. И раз уж я в юности отдал ей дань, я по собственному опыту знаю, что нет более пожирающего, более дерзкого, более язвительного и одержимого дьяволом высокомерия, нежели высокомерие и гордыня сочинителей-авангардистов и радикальных интеллигентов, которых снедает жажда писать глубоко, темно, трудно и причинять боль. Под смех и забавлявшую нас брань филистеров мы разжигали то самое, адское пламя, на котором теперь поджаривается человечество."

Карл Вольфскель, брат Стефана Георге, бежал на Новую Зеландию; там он, наконец, перевел дух: "Сюда они не доберутся". Опубликованный посмертно цикл стихотворений "Иов" показывает, как этот византийский мастер поэтической формы в изгнании, потеряв зрение, переживал свою принадлежность к народу пророков и Агасфера; она стала для него последней опорой и утешением: "Страдание, о виноградарь, я приветствую тебя, срежь мои перезревшие гроздья. Листва на мне давно пожелтела. Поздняя лоза даст густое вино."

Но бывает тьма, в которой гаснет и самая вера в поэтическое призвание. Его нимб оказывается ложным. Герман Брох, бросивший якорь в Соединенных Штатах, рассказывает в повести "Смерть Вергилия" о сломленной гордости певца империи, над которым веет крыло смерти. Вергилий хочет уничтожить рукопись "Энеиды", чтобы искупить вину всей своей жизни. "Я, сочинитель суетных преждевременных слов... я думал, что пишу правду, а это была всего лишь красота." Своему другу-императору этот Вергилий говорит: "Если долг человека уводит его, как в наши дни, от искусства, то выбора не остается: именно из почтения перед искусством надо от него отказаться." Умирая, он пишет: "Уничтожить язык, стереть имя — и да воцарится благодать..." Правда, Вергилий так и не решается истребить "Энеиду", и замечательное совершенство повести Броча свидетельствует о том, что коллизия пережита автором лишь эстетически. Зато другие спустились на ту ступень, где все маски спадают и становится ясно, что поэту не положены никакие поблажки, не дано никаких преимуществ; он такой же человек, как все, такая же жертва. В этом огненном крещении открывается, было ли в нем нечто, чего не может замазать никакая грязь, и что для него важнее: искусство или его собственная личность. Так называемого чистого художника рано или поздно ждала смерть от духовного голода. Тот, кто нес в себе подлинную жизнь, мог умолкнуть или начать жизнь сызнова, стать крестьянином в Швеции или официантом где-нибудь в Южной Америке — не теряя себя как личность. Несчастье раскрепощало его, и в самом этом молчании его поэтическая сущность проявляла себя, быть может, отчетливее, чем в самых благозвучных стихах.

Такова легенда эмиграции, нигде не записанная, но лишь проскальзывающая там и сям, в публичном докладе, в дневнике, в уцелевших письмах. Она питается верой, что добрые духи Германии ушли из нее вместе с эмигрантами, что подлинная Германия — в изгнании. Долгое время эта вера согревала, была утешением многих. На самом деле положение было много сложнее. Верно, что немецкая литература была рассечена пополам, но та ее часть, которая осталась дома, была представлена отнюдь не только трусливыми негодьями и бездарными писателями. Восстание черни и торжество посредственности закрыло от глаз изгнанников то, что и в самой стране никому не дано было видеть, мученичество тех, кто не решился покинуть родину и был вынужден жить в новом рейхе, который они от всей души презирали. Вопрос, что правильной — бежать или остаться, часто оставался неразрешимым. Среди уехавших за границу были люди, которые внутренне так и не примирились с фактом своей эмиграции, среди оставшихся многие не могли избавиться от сожалений, что они остались, пытались бежать, но уже было поздно.

Новое германское государство подчинило духовное творчество гигантскому аппарату, задачей которого было единообразное управление литературой. Это государство скрутило интеллигенцию и унижало ее как могло и в той мере, в какой сама интеллигенция позволяла собой помыкать. От имени народа оно решало, кто и что имеет право на жизнь в немецком искусстве. При этом "волю народа" воплощала компания литераторов, внезапно вылезших из грязи в князи и использовавших свое положение, чтобы отомстить талантливым людям с помощью ими же отредактированных законов расово-безупречного сочинительства. Ирония этого крестового похода против "литературы, рожденной на асфальте", состояла в том, что его глашатаи объявляли самую профессию писателя подозрительным занятием — и при этом подменили ее Левиафаном литературной бюрократии. Естественно, что он благоволил тем, кто жаждал материального преуспевания, и только им. Орда карьеристов, которые всегда чувствуют себя сильными, если соберутся все вместе, бросилась на опустевшие после крушения немецкой демократии и культуры почетные места и должности. Дымились костры из книг. Эти аутодафе должны были сделать целую литературную эпоху никогда не существовавшей. По решению всевозможных президиумов великие имена вычеркивались из истории литера-

туры, а имена ничтожеств объявлялись бессмертными. Задолго до того, как на центры немецкого книгопечатания обрушились бомбы, — правительственные постановления разможили прессу, издательства, редакции, книжные магазины, всю сложившуюся веками систему и традицию немецкого печатного слова.

Тогда-то и обнаружился страшный факт: современная культура была построена на песке. Немецкая литература оказалась не в силах сопротивляться давлению, которое было на нее оказано, потому что за ней не стояло больше никакой духовной реальности. Обнажилось несоответствие, противоречие между дарованием и характером, между искусством и моралью. Вчерашние властители дум склонили шею перед грубым насилием и, сами того не сознавая, — а иные и по расчету — позволили злоупотребить собой. Одни сочли приемлемым для себя договор с варварством, другие попросту не хотели потерять свое писательское имя, и их дурной пример стал соблазном для многих, поводом для массовой измены духу. Готфрид Бенн, виднейший представитель немецкого экспрессионизма и кумир литературных снобов, присоединился к ревушим ордам, объявив их новым "типологическим большинством", позволил себе насмехаться над независимостью духа и поносить оставивших страну крупных писателей. Зато такой сын природы как Оскар Мария Граф нашел в себе достаточно гражданского мужества, чтобы протестовать против своего официального признания. "Сожгите и меня!" — заявил он. Духи размежевались в этой кухне ведьмы; и можно назвать несколько примеров подлинного героизма, той доблести, о которой Теодор Фонтане сказал, что в отличие от воинской, ее уделом всегда становятся поношение и позор. Стойкие души замкнулись в себе либо присоединились к подпольным группам сопротивления. За ними шпионили, друзья бросили их на произвол судьбы, их мучили допросами и дознаниями, к ним приходили с обысками, их подозревали или обвиняли в государственной измене, им запрещали выступать, публиковаться, писать. Их, наконец, сажали в исправительные дома и в концлагеря. Тюрьма снова явила себя отчизной духа, не зря Эдцард Шапер (живший в 1930—1940 годах в Эстонии), в антологии "Человек в камере", создал памятник тюрьме, ибо, писал он, "заключение сделалось формой существования сотен тысяч людей и целых народов". Не только арестованные оказались под замком. Вне тюремных стен возникли такие рукописи как "Книги дня и ночи" Теодора Геккера, как стихи и воззвания Рейнгольда Шнейдера, — произведения, за которые запросто можно было поплатиться жизнью. Женщина, которую звали Рикарда Хух, не согнула спины там, где капитулировали мужчины, и не делала секрета из своего образа мыслей. Но и люди, о которых в те годы вовсе никто не знал, такие как пастор и писатель Дитрих Бонгеффер, повешенный за участие в заговоре вместе с Канарисом, — остались непреклонными посреди тьмы.

Эрнст Барлах не подвергся физическим пыткам, но зато над ним поиздевались вдоволь. Он умер в 1938 году, глубоко удрученный тем, что происходило в стране. Его скульптуры были выброшены из музеев и соборов, самого Барлаха третировали, как выродка. Рукописи, которые он зарыл у себя в саду, ныне явилась на свет: два романа, драма, дневниковые записки и наброски, из которых видно, сколько выдержки проявил их автор, чтобы перенести сыпавшиеся на него удары. Его мастерская была ликвидирована. Письма Барлаха — тоже неплохая иллюстрация к его жизни. Некоторые его тексты содержат весьма яркую характеристику активистов пресловутой кампании по борьбе с "выродившимся искусством". Художник Божьей милостью околеваает, как пес, среди глупости, бездарности и завистливой злобы, на глазах у черни, обступившей его со всех сторон. В зимние ночи, когда, загнанный в угол, он все еще продолжал корпеть над своими никому не нужными бумагами, Барлах начертал свои последние строки, и вот теперь мы читаем их, как священный завет. ●

Борис ХАЗАНОВ

ПИСЬМО НА РОДИНУ

Сегодня последнее воскресенье лета, тихий сияющий день; должно быть, такая же погода стоит теперь и у вас. Лето кончилось, осень еще не настала. Странно звучит это слово: у вас. "В ваших краях..." Смена местоимений — вот к чему свелся опыт этих трех лет, итог смены мест и "имений". В здешних краях Россию могут напомнить лишь пожелтевшие поля, с которых уже убраны злаки. Вот, думал я, если бы ничего не было, никакого бегства, а просто ночью меня спящего перенесли бы сюда, и вот я просыпаюсь и вижу, что стою на опушке леса: мог бы я догадаться, что кругом другая страна? По каким признакам? Что здесь, собственно говоря, другое? Трава та же самая, и такая же точно крапива у края дороги. Подорожник, кукушкины слезки. Это напоминало игру в отгадывание языка, на котором составлен текст. Некоторые буквы совпадают. Из букв складываются слова. Но ничего путного не выходит; никакого смысла. Ибо это другой язык. Даже небо, если всмотреться, выглядит чуть-чуть по-другому, словно количественный состав газов, входящих в воздух, здесь иной. Старик, который бредет навстречу, разговаривает с собакой на чуждом наречии, и можно подумать, что у него иначе устроено горло. Высокоствольный, стройный и пронизанный солнцем лес совсем непохож на ваши леса; по нему можно ехать на велосипеде, воображая себя Зигфридом, и уже ничего больше не осталось от тех, прежних игр, новый настрой души и новое чувство вытесняют прошлое. Чувство одиночества и свободы.

Должно быть, я всегда был плохим патриотом. С ранней юности меня томило почти физическое желание, тоскливый зов внутренностей: уехать. Куда? Я и сам не знал. Точно мой костный мозг стenal по какому-то другому, экзотическому солнцу, и глаза искали за горизонтом чужие города. Муза дальних странствий — это было сказано обо мне. Меня грызла злая тоска, это была тоска родины. Нет, я вовсе не хотел сменить родину, я хотел избавиться от всякой родины. Я мечтал жить без уз национальности, без паспорта, без отечества. Вместо этого я жил в государстве, к которому был привязан десятками нитей, веревок, цепей и цепниц. В пятнадцать лет я вдруг понял, как страшно, непоравимо мне, да и всем нам, не повезло. Не повезло вдвойне, ибо мы не только родились не во-время, но, что еще хуже, не там, где следовало родиться. Где же надо было родиться? Ответ звучал нелепо, но это был единственный возможный ответ: н и г д е. То есть все равно где, но только не тут, не в России.

И вот, с опозданием на целую жизнь, — греза эта сбылась. Она осуществилась как-то даже без особых усилий с моей стороны. Просто одно обстоятельство стало цепляться за другое, появился человек, потом другой, потом оказалось, что все мы стоим, уцепившись друг за друга, на краю обрыва; когда стало ясно, что отъезд нависает, уезжать расхотелось; но уже земля начала осыпаться, покатались камни, я почувствовал, что сползаю вниз, и в конце концов это произошло. Случилось невозможное, чего никто никогда не мог предположить, весь смысл и вкус которого, собственно, и состояли в том, что оно невозможно. И дивное, ласкающее слух слово: *staatenlos*, апатрид, значит, отныне в моих бумагах. Ибо вовсе без паспорта обойтись не удалось; но это уже не тот паспорт, который глупый поэт вытаскивал из широких штанин. Это, если хотите, паспорт, удостоверяющий, что владелец его никакого паспорта предъявлять не обязан и никакому государству больше не принадлежит. Хорошо стать чужим. Восхитительно — быть ничьим.

Уже несколько раз я вижу один и тот же сон. Мне снится большой серый город. Улицы блестят от дождя, потом начинает валить снег, народ толпится на остановке, но когда автобус подходит, расплескивая лужи, то оказывается, что он переполнен, и люди гроздьями висят на подножках. Все как прежде. Я в Москве. Не могу сказать, рад я или нет, мне некогда размышлять об этом. Нужно куда-то съездить, кого-то повидать, позвонить по телефону, сообщить, что я вернулся. Срочно нужно привести в порядок бумаги, которые остались дома. Я мечусь по городу. Дела идут все хуже. Я чувствую, что за мной следят, ходят за мной по пятам. В сущности, мне для того и разрешили приехать, чтобы собрать недостающий материал для моего дела. Я чувствую, что подвожу людей, а люди думают, что подводят меня. Вокруг меня растет напряжение, растет тревога.

И только я один ни о чем не беспокоюсь. Вернее, я вдруг вспоминаю, что мне не о чем беспокоиться, и удивляюсь, как я мог об этом забыть. Дело в том, что я неуязвим. Никто не знает о том, что в кармане у меня — иностранные документы, синяя книжечка с черным орлом, который недаром смотрит на Запад. В решительную минуту я покажу ее, и никто со мной ничего не сможет сделать. Я неуязвим, недосягаем. Я больше не гражданин этой страны, и пропади они все пропадом. Хоть я и приехал домой, никакого дома у меня на самом деле нет.

В Талмуде сказано: "Сон, который не истолкован, подобен письму, которое не прочли." Это письмо прислали мне вы, оно приходит уже не первый раз, и каждый раз я возвращаю его нераспечатанным. Я не обучен психоанализу, а с другой стороны, не настолько суверен, чтобы думать, что сны пророчат будущее. Нет, такой сон, если уж пытаться его разгадать, скорее напоминает о том, что притаившаяся в уголке сознания мысль абсурдна, что надежда бессмысленна. Надежда? Tu l'a voulu, Georges Dandin!

В этом сне есть только одна абсолютно фантастическая деталь: возвращение. И в этом все дело. В конце концов, мало ли здесь, рядом с нами, людей, покинувших родину? Что значит быть эмигрантом? В Тюбингене какой-то старик в автобусе спросил меня: откуда я? И, услышав мой ответ, сочувственно вздохнул. "Мой сын тоже эмигрировал". — "Куда?" — спросил я. "В Мюнхен, — сказал он, — туда же, куда и вы."

Быть может, субъективно разница в самом деле была не так уж велика, и все же, говоря по справедливости, она не сводилась к тому, что эмигрант из Юртемберга, покидая отечество, провел в вагоне два часа, а вашему слуге пришлось покрыть расстояние круглым счетом в две тысячи километров. Разница была даже не в том, что ему не надо было переучиваться, привыкать к чужой речи, кухне, денежной системе, бюрократии, к другому климату, к новому образу жизни, я же оказался в положении человека, который продал все имущество, с кулем денег приехал в другую страну, — а там они не имеют хождения; весь опыт жизни бесполезен, все, что я накопил за 50 лет, чем гордился и в чем находил утешение, все это, словно вышедшую из моды одежду, надо сложить в сундук и обзаводиться, неизвестно на какие средства, новым гардеробом. Нет, первая и главная разница была та, что в отличие от швабского изгнанника я не мог вернуться — и знал это с самого начала.

Мы не уехали, как уезжают нормальные люди, — пожав руку друзьям, обещая приехать в гости, приглашая к себе. Нас выгнали. Или, что в данном случае одно и то же, выпустили. Вот слово, вошедшее на наших глазах в обиходный язык, обозначив нечто само собой разумеющееся, слово, которое делает ненужными все объяснения. Выпускают из клетки. В отличие от беглецов 1920 года, от беженцев из Германии тридцатых годов, мы были счастливыми эмигрантами. В Израиль, в Америку, в Европу, в Австралию, какая разница? Мы уезжали не на чужбину, а на свободу. Или думали, что едем не на чужбину, а на свободу. Heimweh is beter dan Holland, как сказал какой-то соотечественник Мультипули, лучше уж ностальгия, чем Голландия. Что-то подобное говорили мы себе. Лучше подохнуть от тоски по родине, чем подохнуть на этой родине.

Вот чему я не перестаю удивляться! Вспомните, мы были поколением, выросшим в убеждении, что покинуть Советский Союз невозможно. Самая мысль об этом была преступлением, ведь она ставила под сомнение венец истины и венец истории, лучшее из когда-либо существовавших на земле государств, отменяла всю систему воззрений и верований, перечеркивала все "учение". Вы слышали сакраментальную фразу, которую произносили наши отцы, которую сейчас повторяют пенсионеры: *мы верили и мы верили и ни о чем не знали*. А если знали, то не верили. Энтузиазм, настоянный на страхе, вот чем была эта вера; беззаветная преданность родине, этому клыкастому чудовищу, которое пожрало столько людей, которому ничего не стоит расправиться и с нами, с каждым из нас. Беззаветная преданность родине! Таков был символ этой веры. Что же удивительного, что эмиграция была приравнена к измене и что теперь челюсти, между которыми мы успели проскользнуть, щелкнув, снова сомкнулись, на этот раз, кажется, навсегда. В конце концов, это не что иное, как возврат к нормальному состоянию.

Не хочу больше возвращаться к последнему дню, я о нем уже писал, к тем минутам, когда вы остались за барьером, утирая слезы, как будто это был крематорий, а не Шереметьевский аэропорт, и к последнему в моей жизни шмону, выполненному на высоком профессиональном уровне, как будто таможенникам казалось, что не все еще сделано для того, чтобы убить в нас последние сожаления о покинутом отечестве. Где-то у Толстого говорится, что первую половину дороги мысли путника остаются с теми, кого он оставил, а затем устремляются вперед. Лишенные имущества, гражданства, документов и прав, мы по-прежнему находились во власти всемогущего государства, которое словно летело вместе с нами: радио говорило по-русски, и на лацканах у проводниц красовалась эмблема Аэрофлота. Но нескольких часов полета было довольно, чтобы предвкусить небывалое будущее, которое одновременно было священным прошлым. А затем и очутиться в нем.

После безумной спешки отъезда — тишина, спокойные лица, нагретые солнцем камни, знакомые с младых ногтей. Это, конечно, не новость. Я не знаю ни одной книги, написанной в России в XIX веке и описывающей впечатления от Европы, где не говорилось бы о том же самом: о томительном чувстве возвращения, об уверенности, что когда-то, в другой жизни — ты здесь уже был.

И, может быть, самым сильным переживанием первых дней, часов и минут были надписи. Светящиеся вывески венского аэровокзала, рекламные щиты, город с названиями улиц, голос вагонновожатого в полупустом трамвае на Линцерштрассе, объявляющий остановки. Язык! Время шарахнулось вспять. Небрежный и мимолетный, с непривычным акцентом, и все-таки тот самый, знакомый с детства язык. Представьте себе, что вы прикатили в Древний Рим и читаете латинские вывески. "Пейте кока-кола" — на языке Марка Аврелия. Священный язык эпитафий, — на нем здесь запросто болтают изо дня в день; на нем лепечут младенцы и шамкают старухи, его понимают собаки. Здесь уличные мальчишки отлично знают все глагольные формы. Бродяги, сидящие на скамейках, не путают мужской и средний род и оттого кажутся интеллигентами. Вся нация, удивительный народ, от мала до велика, без запинки, с царственной свободой говорит по-немецки. Так вот в чем состояло проклятие и благословение книг. Книг, заставших глаза, музыки, сумевшей заглушить омерзительный треск мотоциклов, вой пикирующих бомбардировщиков и гортанный лай, который, увы, был тоже немецким языком. Германию спасли поэты. Но кто бы мог подумать, что этот язык, откуда он будет восприниматься лишь как код великой культуры, здесь станет помехой, что он будет мстить и бунтовать и что понадобятся усилия, чтобы отучиться глядеть на людей и страну сквозь магический кристалл литературы. Не в том дело, что призыв пить бесподобный напиток составлен на языке Гёльдерлина и Гете, наоборот: Гёльдерлин вещает пергаментными устами на языке реклам и плакатов, мальчишек, старух, полицейских, уличных торговцев, банковских служащих и вагонновожатых.

Так началось для нас приключение, которое Хильда Домин назвала "Одиссеей языка". Кроме воздушной, водной, городской, деревенской и прочей среды, существует невидимая языковая среда; ее не замечаешь, пока живешь на родине. В другой язык входишь, как входит в воду. Холодно, страшно и весело. Постепенно свыкаешься. Превращаешься в человека-амфибию; теперь бы и поплавать! Но нет. Странствия по чужому языку полны восхитительных неожиданностей, его закаты изумляют необычайными красками. Но этот язык беспределен. Его горизонт обманчив: сколько бы вы ни плыли, вы никогда к нему не приблизитесь. Язык, сказал Хайдеггер, это дом бытия. В этом доме чужого бытия вы никогда не будете чувствовать себя дома, ибо для этого надо было в нем родиться. И отныне ваш удел — стоять, вцепившись в борт, на качающейся палубе всю оставшуюся жизнь. Существует профессиональный недуг эмигрантов: он называется морской болезнью.

Однако эта метафора, как всякая метафора, коварна. Она соблазняет возможностью кратко выразить мысль, а в действительности узурпирует ее. Она навязывает говорящему свою собственную логику и договаривает до конца то, чего он вовсе не имел в виду. Метафора моря подразумевает берег, оставленный берег: отеческую сушу. Ага, скажете вы, — тут-то он и выдал себя. Что ж, считайте, что вы получили еще одно послание от Улисса, снедаемого ностальгией. В прошлом году он прислал открытку с видом на дворец царя Алкиноя. Потом со Сциллой и Харибдой. К Рождеству придет поздравление со штампом "Аид". Но только в отличие от того, настоящего Улисса он из этого Аида уже больше не выберется — никогда и никуда.

Ибо мы, политические эмигранты из страны победившего социализма, мы не просто уехали. Уехав, мы перестали существовать. С нами случилось примерно то же, что когда-то происходило с арестованными, увезенными ночью в черных автомобилях, расстрелянными в подвалах, бесследно сгинувшими в лагерях: нас не только нет, но и н и к о г д а н е б ы л о. Кто такой Икс? — не было никакого икса, такой буквы в алфавите не существует. Нас не было, и поэтому наши книги изъяты из библиотек, наши имена выскоблены из всех списков, больные, которых я лечил, вылечены не мною, люди, которые работают на моем месте, живут там, где я жил, смотрят по вечерам телевизор в полутемных комнатах, где прячутся наши тени, и пьют водку в тесных кухоньках, где когда-то и мы с вами сидели и философствовали о жизни и смерти, люди эти понятия не имеют о том, кто тут был до них. Мы, беглецы, ликвидированы, так сказать, посмертно. Мы изменили родины, и значит, нас не было, а потому и наказать нас невозможно. Маленькая история семидесятих годов перечеркнута и начата заново как ни в чем не бывало, как была вычеркнута, вырезана из памяти и заново начата якобы на пустом месте большая история.

Но я-то знаю, что вы меня помните. Для вас я тот самый путешественник в страну, откуда не возвращаются, о котором еще не забыли, — ведь всего-то прошло три года, — но уже никогда не думают в настоящем времени. Еще немного, и я превращусь в тень отца Гамлета, и буду приходить и рассказывать вам о том, что было в незапамятные времена, когда славный король Клавдий еще не сидел на троне. Но если бы в самом деле существовал потусторонний мир, его обитатели считали бы потусторонним миром нашу, земную жизнь. И я ловлю себя на том, что думаю о в а с как о мертвых. Нет, я не хочу сказать, что для вас все кончено. Солдат, раненный в бою, думает, что и все сражение проиграно; эту фразу Толстого я не забыл. И нам, как некогда немецким антифашистским эмигрантам, хотелось бы думать, что все честное и талантливое в стране или упрятано за решетку, или — уже не в стране. Однако что верно, то верно: о т с ю д а Россия представляется страной, в которой остановилось время. Или по крайней мере страной, где вязкость времени — величина, которую когда-нибудь, возможно, научатся измерять с помощью приборов, — во много раз выше, чем в Европе. Слово на какой-нибудь бесконечно далекой обледенелой планете, там тянется один бесконечный год,

пока здесь, на теплом Западе, сменяются годы и десятилетия. Это простое сравнение, может быть, и заключает в себе разгадку того, почему гигантское допотопное государство, казалось бы, исчерпавшее все возможности дальнейшего развития, государство с ампутированным будущим, где нормальному человеку невозможно жить, где дышат азотом, — почему оно все еще существует, продолжает существовать, не желая меняться, делая вид, что ничего не случилось, уверенное, что впереди у него — как и позади — тысячелетнее царство. Потому что перемены, которые можно было бы заметить невооруженным глазом, для него губительны. Огромная туша может позволить себе лишь медленные, тщательно рассчитанные движения. Упав, она не поднимется. Надо ли желать, чтобы она переставляла ноги быстрее? Ничто не дает права на это надеяться. Ничто не заставляет этого опасаться. Перемены происходят, но так медленно, что мы с вами не доживем до их результата. И слава Богу. Обнимаю вас. ●

Себастьян ГАФНЕР (ФРГ)

В ТЕНИ ИСТОРИИ

Автор вышедшей в 1985 г. книги под этим названием ("Im Schatten der Geschichte"), фрагменты которой мы публикуем в этом и следующих номерах, получил широкую известность после выхода в свет небольшой книжки "Примечания к Гитлеру" (1978), она считается одним из лучших исследований о фашизме и его вожде. Гафнер родился в 1907 г., его настоящее имя Раймунд Прецель. Ему принадлежат также монографии о Черчилле и по истории Германии в промежутке между двумя мировыми войнами.

Прыжок в царство свободы, или что осталось от истории

То и дело приходится слышать, что историческое сознание угасло: живое отношение к прошлому само по себе ушло в прошлое. И кажется, в самом деле среди молодежи интерес к истории, знание истории стали редкостью. Древние греки, римляне, Лютер, Старый Фриц, Наполеон — в мое время все это были вещи более или менее привычные, даже интересные для каждого школьника. История выглядела как увлекательная книжка с картинками, и находилось немало охотников узнать о ней побольше. Сегодня от этой книжки воротят нос. Зачем это нам, какое нам дело до всей этой мертвечины, к тому же достаточно лживой? Вот господствующее отношение к истории, причем надо сознаться, что сомнения в правдоподобности доставшейся нам в наследство картины исторического прошлого не вполне беспочвенны.

Что ж, старомодному человеку вроде меня остается только сожалеть об этом, равно как и об утрате других культурных и образовательных ценностей, однако это еще не повод для тревоги. Что действительно беспокоит, так это то, что то же самое поколение молодых людей, которое больше не желает любить и изучать историю, не хочет знать о ней, — то же самое поколение в е р и т в нее, как едва ли верили прежде. Мне даже подчас трудно избавиться от ощущения, что для многих людей, и притом молодых, история как-то незаметно заняла место умирающей веры в потусторонний мир. Вера в историю принимает облик посясторонней религии. В чем смысл жизни, зачем мы здесь, что нам

делать, как и чем оправдать наше существование? Все больше современников, как кажется, ожидает получить ответ на эти вопросы от божественного оракула, именуемого Историей.

Бог, как известно, умер, или, лучше сказать, Бог молчит, с тех пор как в школе естественных наук мы научились поглядывать на него через плечо. Бог не дает ответа, зато история — отвечает. История говорит нам, что надо предпринять, дабы обрести блаженство, и не где-нибудь там, а здесь, на земле. Сознание, что история на твоей стороне, что ты совершаешь нечто угодное ей, исторически правильное, — вливает силы, придает энергию и самоуверенность, успокаивает совесть, внушает готовность к самопожертвованию и даже чувство бессмертия — словно мы в самом деле будем жить вечно. Убежденные в том, что они служат делу истории, что они, так сказать, помогли ей, люди спокойно идут на смерть. Сколько раз мы видели это в нашем столетии, видим и по сей день.

Охотнее, чем когда-либо, люди согласны жить и умереть во имя истории; а интересоваться ею, вникать в нее — нет. Разве это не странно? Впрочем, может быть, не так уж и странно. Может быть, верный инстинкт подсказывает им, что если бы они основательней познакомились с историей, они не стали бы с такой готовностью жить и жертвовать жизнью ради нее. Может быть, люди попросту боятся утратить иллюзии, пережить нечто вроде религиозного кризиса — потерять веру.

Оставим пока этот вопрос в стороне и бросим беглый взгляд на некоторые способы толкования истории, пророчества, основанные на истории и религиозном отношении к ней, какие нам пришлось пережить в этом веке. Наиболее мощным и действенным из этих пророчеств до сих пор остается, конечно, марксизм или неомарксизм во всех его многочисленных разновидностях. Маркс был мыслителем с резко выраженным историческим сознанием, и особую силу и убедительность его построениям сообщает именно то, что в лице своего исторического и диалектического материализма он предлагает безупречную научно-историческую систему, внутри которой — если ее принять — можно точно определить и наше местонахождение, и ближайший шаг. Почти такую же притягательность — я говорю это отнюдь не с намерением с порога опорочить марксизм — сумел придать сходному толкованию истории национал-социализм Гитлера. Для Маркса, как мы знаем, вся история есть история борьбы классов. Для Гитлера вся история была историей борьбы рас за жизненное пространство. Эта концепция в мое время тоже подарила целому поколению просветление, неотличимое от ослепления, и точно так же за нее шли на смерть, в сознании своей исторической правоты, многие миллионы.

Кроме этого, полвека назад в нашем распоряжении было еще одно впечатляющее толкование истории, а именно то, которое принадлежит Шпенглеру. Для Шпенглера вся история представляет собой биологически закономерную смену расцвета и увядания культур. Наша культура — он сумел это показать необычайно убедительно — уже успела завянуть. Героическая безнадежность — вот все, что мог предложить автор "Заката Европы". Тойнби, во многом близкий Шпенглеру, был и, пожалуй, остается более оптимистичным. Божество истории выглядит у него сфинксом, задающим человечеству все новые загадки. Судьба культур зависит от того, удастся ли им в нужный момент найти правильный ответ. Для нашей эпохи такой ответ у Тойнби уже есть. Он гласит: всемирное государство и универсальная религия, — что звучит в общем не так уж глупо.

Но ни Тойнби, ни Шпенглер не добились до сего времени такого успеха, какой стяжали Гитлер или Маркс. Впрочем, все знаменитые систематики истории, все ее пророки так или иначе опирались на Гегеля. Он первым возвестил о том, что история обладает системой, закономерностью, внутренним смыслом; говоря словами самого философа, в истории осуществляет себя мировой дух. При этом дух действует посредством диалектического процесса. Старик Гегель верил, что этот процесс им разгадан, однако он был

осторожней своих последователей: он воздерживался от пророчеств. Что намерен предпринять мировой дух, как дальше пойдет история, — об этом мы, по Гегелю, узнаем лишь после того, как все свершилось. Пока Наполеон одерживал победы, мировой дух пользовался им как скаковой лошастью. Когда же он потерпел поражение, мировой дух передумал, сел на другого коня, — история больше не была на стороне императора. Все очень просто.

Маркса и Гитлера, а также Шпенглера и Тойнби можно в известном смысле назвать учениками чародея Гегеля. Они не умели, в противоположность учителю, в нужный момент усмирить духов, которых вызвали, ибо своими прорицаниями они связали сами себя. Но можно, конечно, сказать: зачем обосновывать закономерный ход истории, если не решаешься эту закономерность использовать и предугадать истории ее ход? Толкование без прогноза — это пустой орех. Не зря со времен Гегеля историю называют пророчеством, обращенным вспяť. К тому же пророчество — вовсе не махание кулаками вслепую, как думают многие. Могучее и просветляющее пророчество подчиняет себе историю, и получается так, что история как бы сама старается его выполнить.

Я начинаю, кажется, говорить колкости и вдобавок сам становлюсь гегельянцем, ибо веду речь об истории, как если бы она была живым существом, живым богом, с которым можно или нужно вести себя определенным образом и которого нужно приклеить на свою сторону. Но я не гегельянец и поэтому не марксист, и любые попытки объяснить историю с единой точки зрения или конструировать исторические закономерности считаю шарлатанством.

Дело в том, что главная, великая и непоправимая ошибка, которую совершают все систематизаторы и интерпретаторы истории, состоит, как мне кажется, в том, что они смотрят на историю как на некую объективную данность, как на совокупность реальностей, которые можно в любой момент пощупать и исследовать. Короче говоря, относятся к истории как к природе. У Маркса это выступает очень наглядно. Центральная идея исторического и диалектического материализма та, что история человечества есть попросту продолжение природного эволюционного процесса, оттого и законы истории суть продолжение естественных законов, а марксизм в целом — нечто вроде прикладного дарвинизма. Впрочем, и у других систематиков истории чувствуется этот исходный импульс, — я бы назвал его завистью к естественным наукам.

Успехи естествознания породили желание создать историознание — историю как науку. Если в качестве естествоиспытателя человеку удалось подсмотреть кое-какие секреты Творца и даже самому немножко поиграть в Бога, почему бы не попробовать то же самое с куда более завлекательным предметом — собственным прошлым? Идея соблазнительная, что и говорить; даже опьяняющая. Человек — повелитель природы, отлично, — но этого повелителя не сравнить с человеком в роли господина над историей. Только тот, кто постигает и покоряет собственное прошлое так, как он научился проникать взглядом и подчинять себе существующую вне людей природу, — только он станет подлинным владыкой над самим собой. Ибо покорение прошлого делает его и свободным преобразователем будущего. Вот он, знаменитый прыжок из царства необходимости в царство свободы.

Как уже сказано — в высшей степени соблазнительная мысль. Но это одна из тех идей, отцом которых является желание. Из подобных идей, как известно, чаще всего ничего не выходит; так и с этой идеей. Исторической науки, сравнимой с науками о природе, нет и не может быть по очень простой причине: природа есть настоящее, история же имеет дело с минувшим. Настоящее реально, конкретно и доступно исследованию. Тогда как прошлое не то чтобы перестало быть реальным, но стало ирреальным. Время отняло его у нас, его больше нет, его уже невозможно исследовать. В сущности, вся историческая наука основана на подмене понятий, на смешении таких понятий, как прошлое и история. Прошлое имеется в достаточном количестве, точнее — имелось.

Если бы мы могли повернуть время и превращать по мере надобности историю в реальность, все минувшее — в нынешнее, чтобы затем его досконально изучить, посмотреть, каким оно, собственно, было, тогда, конечно, история была бы наукой. Тогда, быть может, нам удалось бы открыть и ее закономерность, если таковая в ней имеется. Однако человеческое прошлое было и остается для нас в значительной мере неизвестным.

Сто тысяч лет живут люди на земле, но отдать себе отчет об их жизни мы можем в лучшем случае за последние три тысячи, да и то весьма приблизительно и несвязно. О некоторых коротких периодах, таких как история Израиля, Афин или Рима, мы знаем довольно много, а о том, что в это же время происходило у других народов, — почти ничего. Нашу собственную историю мы в состоянии проследить на протяжении целого тысячелетия, однако и тут традиция оказывается временами очень и очень бедной. Что касается нескольких последних столетий, то тут, правда, мы буквально захлебываемся в потоке фактов; но опять-таки не знаем, какие из них по-настоящему важны для истории. Одним словом, история не есть нечто данное, как природа. История сама по себе — искусственный продукт. Не все, что когда-либо произошло, становится историей, а лишь то, что где-то или когда-то историк счел достойным исторического рассказа. Только записанная история, историография, — создает историю. История, скажем мы, слегка педалируя, — не есть реальность, история — ветвь литературы.

Отсюда следует еще кое-что. История пишется по литературным меркам — в лучшем случае. В худшем же случае, и отнюдь не редко, она пишется по политическим меркам, с политической точки зрения, и тогда она просто-напросто — застывшая пропаганда. Но давайте все же говорить о лучших образцах, об истории, написанной историками, бескорыстно преданными истине, такими, как, например, Фукидид. Ведь и они отбирают материал для рассказа, другими словами, отдают предпочтение тому, на чем можно построить хороший рассказ: не будничной жизни, а необычному, драматическому, конфликтам, борьбе за власть, возвышению и упадку, переворотам и войнам, и прежде всего — личности и судьбе выдающихся людей.

Великие люди, как правило, не делают историю, чаще они терпят фиаско, — но зато главным образом делают хорошую историю. Этот афоризм Г. Трейчке, вызвавший столько насмешек, справедлив по сей день. Даже самый преданный истине, ни на шаг не отступающий от фактов историописец в определенном смысле вынужден сочинять, иначе никакой истории не получится. Пускай факты, о которых сообщает историк, трижды проверены и перепроверены, — их сочетание, их связь, то, что собственно превращает их в историю, есть дело воображения. Больше того: самый выбор фактов, — а выбирать приходится так или иначе, — остается на совести историографа. Прочтите историю немецкого XIX века Трейчке, а потом прочтите историю Франца Шнабеля. Оба труда битком набиты фактическим материалом. А между тем у вас то и дело возникает сомнение, действительно ли речь идет об одной и той же стране, об одной и той же эпохе.

Не звучит ли это снова издевательски? Я этого, во всяком случае, не хотел. Но я думаю, что тот, у кого хватило терпения дочитать мои рассуждения до этого места, уже сам ответил на вопрос, заданный вначале, — не рискует ли серьезный интерес к истории сокрушить нынешнюю веру в историю. Да, именно так. Хочешь сделать из истории науку и нечто такое, что может заменить религию, — остерегайся близко знакомиться с ней. Ожидать от истории, что она научит, как жить, — нелепость. Использовать историю в качестве гороскопа — злоупотребление. История бесконечно интересна. Но если вы спросите: в самом ли деле все должно было случиться так, как случилось? — она промолчит. А на вопрос, что будет дальше, даст загадочный ответ, подобный улыбке сфинкса. Этот ответ гласит: всегда именно так и всегда иначе. ●

ВТОРАЯ РЕФОРМАЦИЯ, ИЛИ БУДУЩЕЕ ХРИСТИАНСТВА

Теология свободы как освобождения

I. Прощание с буржуазной эрой

Говорить о Реформации не как об историческом прошлом, но как о надежде и толчке к преобразению для меня, католика, да и для всех нас, значит связать вопрос о реформаторстве, о познании того, что есть реформаторство, с общей всем нам современностью. Имея в виду эту связь, я хотел бы предложить концепцию будущего христианской веры в послебуржуазном обществе. Я знаю, что эта концепция в высшей степени спорна; она не может не вызвать возражений. Но дерзнуть высказывать спорные мысли, стать мишенью для стрел именно в качестве теолога — в этом, по-моему, заключена немаловажная часть этического наследия Реформации. Итак, вот мой тезис:

Реформация прощается с миром феодального средневековья и стоит у колыбели так называемого буржуазного, точнее раннебуржуазного мира. Реформация привносит в этот буржуазный мир покоряющий образ исторически самоутверждающегося христианства. Реформацией оказывается так или иначе задетым и католицизм. И даже так называемая Контрреформация несет на себе отпечаток того, на что она ополчается; пусть не полностью, но и она усваивает проблематику и противоречия, вносимые христианством в буржуазию, противоречия, коренящиеся в том, что бюргер мало-помалу становится нормальным, "образцовым" представителем христианства, христианским субъектом в собственном смысле слова. Но коль скоро мы употребляем слова "бюргер" и "бюргерский", "буржуа" и "буржуазный" в историческом смысле, мы не можем не заметить, что мы тем самым предрекаем конец и рубеж этого бюргерского, буржуазного мира. Христианство прощается с буржуазным миром и стоит у колыбели послебуржуазного, посткапиталистического мира. Однако сохранить смысл своего существования и продолжать существовать в этом мире христианство сумеет лишь при условии, если ему удастся в целом *продумать еще одну Реформацию*, если оно сподобится, так сказать, вкусить от древа реформаторского познания во второй раз.

Прощание с буржуазным миром и переход в мир послебуржуазный, где Европе, а вместе с ней и всему христианскому Западу уже не будет безоговорочно принадлежать первое место и где позднеевропейский индивидуализм окажется скорее краевым феноменом культуры, — уже дает о себе знать некоторыми проявлениями и приметам; приближаясь, этот момент, однако, чреват риском — исход его неясен. Неподвижность ми-

Из сборника "Jenseits der bürgerlichen Religion" ("По ту сторону буржуазной религии", 1980). Сведения об авторе приведены в статье Бор.Хазанова "Мец и теология политической активности", "Страна и мир", № 5, 1984.

ровых политических лагерей не оказывает стабилизирующего действия, а лишь вызывает растерянность и страх перед надвигающейся катастрофой. В этой ситуации предсказанного и предчувствуемого прощания и перелома по-новому встает перед нами старинный вопрос Реформации: как обречем благодать?

Человеку нашего времени, — утверждают многие теологи, пишущие сегодня о Реформации, — знаменитый основополагающий вопрос Лютера, вопрос о милости Божьей, о ниспослании благодати, едва ли понятен, не говоря уже о том, чтобы увидеть в нем насущную проблему жизни; он будто бы принадлежит ушедшей эпохе. Я не разделяю эту точку зрения. Суть вопроса — как же нам обрести благодать — исполнена жгучей актуальности. Так называемый современный человек, то есть человек нашего позднебуржуазного мира, мечущийся между отчаянием и завербованностью, между апатией и эгоистичной любовью, между безудержным самоутверждением и слабыми порывами к солидарности, беспомощный и утративший ту уверенность в себе, которая отличала людей всего несколько поколений назад, до такой степени неуверенный, что он едва ли захотел бы стать своим собственным потомком, — неужто этот человек больше не в силах понять, что значит воззвать к милости, понять смысл тревожного вопроса: может ли быть нам дана и будет ли дана благодать? Нет, я с этим решительно не согласен. Если что и чуждо этому человеку, и отталкивает его, и кажется ему несовременным, так это не то, что христианство вопрошает о благодати и говорит о благодати, а то, как оно это делает, какими словами говорит. В таком случае как нужно говорить о благодати, как о ней вопрошать? Что значит вторично вкусить от древа реформаторского познания? Что это такое — Вторая Реформация, каким образом произойдет перелом, открывающий путь в послебуржуазный мир?

Эта Вторая Реформация касается всех христиан, она увлечет за собою всех, захватит обе великие церкви христианства; следовательно, будет в полном смысле слова экуменической. Мы больше не сможем исповедовать оба наших полупарализованных христианства именем Евангелия и от имени мира. Однако прежде чем перейти к непосредственным носителям Второй Реформации, нужно сказать о ее содержании и целях. Я хотел бы охарактеризовать их, исходя из тройкого устремления к благодати:

Призыв к благодати в чувствах — протестантская Вторая Реформация.

Призыв к благодати в свободе — католическая Вторая Реформация.

Призыв к благодати в политике — всемирно-политическая Вторая Реформация.

Возвращаясь к буквальному этимологическому значению слова *reformatio* — "преобразование и восстановление", то есть восстановление первоначальных отношений и связей, — мы должны будем говорить о возвращении благодати в чувства, о возвращении благодати в свободу и, наконец, о возвращении благодати в политику.

Разумеется, я могу обрисовать эти три стороны или направления Второй Реформации лишь в типической, то есть идеальной форме. Я рассчитываю на понимание читателей, в противном случае краткость изложения покажется поверхностной, простота — упрощением, конспективность — односторонней. Ничто здесь не мыслится небратским и лишенным любви. Совсем наоборот. Я говорю не с обдуманной вежливостью постороннего, но, если позволено будет так выразиться, со страстной и озабоченной придирчивостью брата.

II.

Призыв к благодати в чувствах — протестантский аспект Второй Реформации

Начну в высшей степени субъективно и, может быть, неосторожно — с личного впечатления. Протестантизм для меня, в общем и целом, слишком уж очищен от чувствен-

ного начала. Немного толку от благодати, когда ее полностью отодвигают в незримое и сверхчувственное; благодать умалается от того, что ее вырывают из сферы чувства и тем самым отстраняют от социальных бед человечества. Страх перед грехом, характерный для Реформации, мало-помалу превратился в другой страх. Назову его здесь страхом соприкосновения. Это — страх прикоснуться к земному, к чувственному, страх перед телесно-социальной жизнью, в которой, однако, хочет быть благодатной для нас благодать воплотившегося и пробуждающего мертвых Бога. Разумеется, эти мои замечания не имеют ничего общего с позой закоренелого католического законника, которому-де все это "виднее". Хотя католицизм, по-видимому, теснее связан с чувственным миром и сохранил больше отзывчивости и восприимчивости к зримому и земному в христианских таинствах и самой благодати, однако он едва ли достиг того уровня свободы, на который поднимают мир чувственного Евангелие и Реформация. Но откуда же у протестантства этот страх соприкосновения с миром? Реформация проникнута пафосом чистоты учения. Она противопоставила "чистое учение" — по вполне понятным причинам — язычески-притягательной чувственности тогдашнего ренессансного католицизма. Вот почему Реформация отвергала всякие "опосредования", всякие уступки земному и попытки заключить союз с чувственным материальным миром. В этом союзе ей чудился позорный, предающий Господа и Его благодать компромисс, святотатственная узурпация власти над благодатью, совершаемая человеком.

Но сегодня мы вправе спросить (вместе с Кьеркегором): не переборщила ли Реформация? Можно ли вообще считать "чистоту" библейской, подлинно христианской категорией? Сохраняет ли определение "чистый" качество христианской категории, когда оно предлагается не как корректив, а как суть христианства? И не получится ли так, что такое "чистое" учение утратит всякую реальную почву и окажется синонимом нервического, абстрактно-внечувственного, головного христианства, которое намерено внушить нам веру в то, что благодать возвестит о себе исключительно через Слово и потому якобы не содержит в себе ничего такого, что можно было бы увидеть, пощупать, ощутить, с чем можно было бы что-то делать? Не совершила ли Реформация ошибку, полагая, что общение с благодатью и реформа церкви возможны лишь через Слово, путем восстановления "чистоты" учения, а не через людей и их чувственную и исполненную страданий практику, которую она, Реформация, сумела очень быстро втиснуть в весьма тесные рамки? Вот на что (а вовсе не на догматическое сопоставление отрешенных от живого человека и жизненной практики пунктов вероучения) нацелена реформаторская критика, вот объект реформаторских усилий того течения, которое я называю Второй Реформацией.

Разрешите мне кратко описать симптоматику упомянутого страха перед соприкосновением и смешением. Мне представляется, что это — страх всего естественного, природного, "языческого", словно праздник чувств, чувственная радость безблагодатны, а благодатью осенена лишь натужная, напряженная и нередко притворная радость духа. Это страх перед нечистыми, вызванными социальной несовместимостью конфликтами, словно благодати, проникающей все, можно сподобиться, минуя чувства и помимо общества, по ту сторону материально-общественного бытия (хотя я вовсе не хочу сказать, что бесцеремонность, с которой мы, католики, обыкновенно вмешиваемся во все, — самый правильный путь). Существуют страхи перед так называемыми требованиями жизни, перед биологической спецификой жизни, плотским характером ее страданий, как будто таинства христианской веры не соединены раз и навсегда с этой землей, с этой плотью — по-иному и решительнее, хотя вместе с тем и рискованнее, чем это имеет место в других религиях. Наконец, есть страх перед тем, что именуется "религией" в общепринятом смысле слова. Какой могучей религией было бы протестантство, если бы оно отважилось быть только религией и больше ничем! На самом же деле оно, несомненно, является единственной в мире религией, которая провозглашает устами своих теоло-

гов, что она, собственно, не хочет быть религией, — она желает оставаться "только верой", "только благодатью". Как будто зримая религия, праздничная религия, религия с плотски-осязательной литургией, с несущими чувственную радость образами и мифами не есть необходимое, хотя и не свободное от риска, восславление благодати, даруемой чувству!

Через посредство просвещенной, бюргерски-идеалистической теологии эти страхи мало-помалу завладели новейшим христианством. Такая теология, с моей точки зрения, есть не что иное, как теоретическое отражение буквально вошедшего в плоть и кровь страха соприкосновения с реальным миром. Претензии этой бюргерски-идеалистической теологии на научность, убеждение, будто все чувственно воспринимаемое, а паче все жизненно-практическое — это лишь нечто внешнее, скрывают в себе ее иррациональную суть.

И пусть не говорят, что этот страх соприкосновения — всего лишь побочный признак протестантизма, чисто психологическое наслоение. Нет, сменяемое именно этим страхом, в течение нескольких столетий развилось и оказало мощное воздействие на историю буржуазное христианство с характерной для него двойственностью мира благодати и мира чувства. Безблагодатное, всецело поглощенное погоней за вещами, за успехом, занятое конкурентной борьбой человечество — и над ним, как некий свод, благодать. Пусть этот образ схематичен и преувеличен, — он кажется мне все же наиболее подходящим для христианства как буржуазной религии, того христианства, которое сложилось в последние века, причем это относится уже не только к протестантизму: постепенно, с соответствующим запозданием, это проникло и в католицизм. В такой буржуазной религии все центральные положения Нового Завета, прежде всего положения Нагорной проповеди и знаменитые слова о превращении, толкуются и воспринимаются в "чисто духовном" смысле, как чисто мировоззренческие постулаты: "Последние станут первыми, первые — последними... Кто хочет сохранить свою жизнь, тот ее потеряет, кто отдает — спасется..."

В библейских рассказах и событиях благодать выступает как чувственно воспринимаемый, социально-исторический опыт: в историях восстания и ухода, преобразования и освобождения, наследования и жизни с высоко поднятой головой. Подобные истории — не задним числом изготовленные украшения невидимого благодатного события, нет, в них благодать непосредственно проявляет себя, например, в исторической и социальной действительности народа в изгнании, в практике наследования возникающей общины, в ее сопротивлении представителям государственной религии Рима, в опыте солидарности с наименьшими из братьев. Во всем этом благодать "видна", она есть зримочувственная благодать. "Кто зрит брата своего, зрит своего Бога", — гласит приписываемое Иисусу неканоническое изречение. Оно, однако, звучит как подлинное, ибо оно близко другому, всем нам знакомому слову, тому слову, сказанному накануне суда, по которому сам Иисус хочет, чтобы в меньшем из братьев видели Его, — хотя мы явным образом и постоянно пренебрегаем этим заветом: "Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице?...". Когда еще могли бы мы Тебя увидеть? Что ж, выходит, что и тогда нечего было бы видеть, воспринимать, осознать? Выходит, милость не имеет ничего общего со зрением, благодать — с физическим ощущением? Неужто она дарована лишь ушам, через слово? А все остальное, значит, "профанно", остальное — лишь вопрос "применения" христианства, но не место обретения его благодати?

Иисус явно полагается на наглядность, хочет, чтобы стало зримым, ощутимым, очевидным то, чем страдает человек и как он страдает. Мы же делаем ставку на незримость. Незрима милость, незрима благодать. Так ли это? То, чего нельзя увидеть, может тем не менее не быть невидимым — в том смысле, что оно пробуждает телесную боль нашей надежды. То, чего, вообще говоря, невозможно ощутить, не обязательно являет-

ся неосязаемым — в том смысле, что оно привлекает к себе томление нашей страсти. Да, слишком глубоко наше буржуазное христианство увязло в пресловутой незримости, слишком оно печется о не-смещении, не-касании, — о двойственности! И как это у нас все ловко превращается в невидимость. Вернейший шанс увидеть Христа воочию — когда встречаешься с бедняком, с горемыкой, с парией и изгоем, — умеем ли мы ухватиться за этот шанс, действительно ли этот опыт находится в центре нашего так называемого "религиозного опыта"? Разве все мы, и протестанты, и католики, не лезем из кожи вон, чтобы именно эти, язвящие противоречия между нищетой и богатством, между счастьем и горем, между успехом и поражением — и сколько еще таких "между"! — сделать невидимыми? Невидимыми, и где же? Там, где мы собираемся во имя Христова. В таком случае какая же благодать руководит нами? Не называем ли мы благодать невидимой просто-напросто для того, чтобы оставался невидим наш собственный грех? И не эта ли "невидимость" Бога и Его благодати привела нас к краху, о котором еще в 1932 году предупреждал Бонгеффер? Наше буржуазное христианство хворает, опоенное сладкой отравой, притворным ядом веры, которую просто приняли на веру, наследования, которое приняли на веру, любви и преображения, которые всего лишь приняли на веру. Вся, какая ни есть, благодать упрятана в сфере незримого и неощутимого — а мы, мы все те же, и все так же равняемся на удобоприемлемые стандарты нашего буржуазного самоотжествления. И благодать здесь уже вовсе не та благодать, которую Бог, находящийся среди нас, посылает или готовит нам, а благодать, которую мы презентуем сами себе: неутоляющая благодать буржуазной религии, дешевая благодать, как сказал о ней Бонгеффер. Благодать, которая не достигает и не поражает, а лишь "осеняет", наподобие парадной арки, нашу земную социальную жизнь, абсолютно недоступная чувству, невидимая и неуловимая, благодать, которая ставит удостоверяющий штамп на наше безнадежное, без-надежное существование, вместо того чтобы стать, если можно так выразиться, задатком или залогом утешения. Христианство, когда оно стало буржуазной религией, не утешает.

Перед Второй Реформацией встанет, таким образом, жгучий вопрос — что же нам делать с утешением и благодатью. Вторая Реформация метит в чувственно-практическое зерно благодати, она ставит своей целью заново открыть — говоря словами того же Бонгеффера — дорогостоящую благодать. Не в нашей власти оторвать эту благодать от чувственной — общественной и политической — действительности. Тот факт, что мы пренебрегаем всякой чувственной практикой благодати — чувственностью, вне которой не может быть и мистики благодати, — наклеивая на нее ярлыки политиканства, пошлого деячества и т.п., — есть неопровержимое свидетельство того, как далеки мы от умения внести живое чувство в благодать. Так мы и вертимся в кругу пресного материализма, из которого мы не в силах вырваться и тогда, когда во вкусе буржуазной религии напяливаем на этот материализм, в качестве некой незримой драгоценности, христианские таинства и благодать.

Вот почему призыв к благодати в чувствах и чувственной практике нашей жизни по сути дела означает разрыв с нашим буржуазным христианством, поскольку такое христианство зиждется на дуализме невидимой благодати и безблагодатного мира человеческих дел и делишек. Слишком долго мы связывали этот дуализм мира благодати и чувственного мира с жизнью отдельного индивидуума. На самом деле он имеет свои социальные корни. Ибо дуализм этот укрепляет эксплуатацию, из-за него благодать слишком легко начинает принимать вид надстройки над несвободным, отмеченным печатью неизбывного порабощения чувственно-социальным миром. Вот почему Вторая Реформация восстает против господства невидимой благодати. Вторая Реформация устремляется по ту сторону буржуазной религии — через призыв и открытие благодати в эмоционально-чувственной социальной жизни.

III.

**Призыв к благодати в свободе —
католический аспект Второй Реформации**

На первый взгляд кажется, что католичество с особой бдительностью следит за тем, чтобы так называемый просвещенный человек, человек в высшей степени неэмоциональный, с его тайным культом господского, "хозяйского" отношения к миру, человек, захвативший абстрактную власть над природой, — чтобы он не сделался во имя благодати еще бесчувственной. В самом деле, католичество прочно держится того взгляда, что чувства не могут быть изъяты из благодати, так как в противном случае благодать потускнеет, либо вовсе обратится в ничто. Разумеется, католичеству знакомо и то, что можно было бы назвать манихейской ненавистью и чувственным наваждением, однако пуританское игнорирование чувств ему вполне чуждо. Но, увы, в чувственности католицизма недостает, как кажется, закваски свободы, в этой чувственности слишком мало свободы детей Божьих. Подобно тому как для протестантства характерна прямо-таки врожденная неприязнь к чувственному началу, к зримости и наглядности благодати, короче говоря, к так называемому принципу инкарнации, — для католичества типично врожденное неприятие благодати как свободы. Оттого чувственное начало в католичестве зачастую оборачивается такой грубой предметностью, такой железобетонной несокрушимостью обрядов и ритуалов, такой жесткой регламентацией, словно человек с его спонтанностью и свободой вовсе тут не присутствует.

Очевидно и то безучастное, кислое отношение, какое встречает со стороны католицизма борьба за буржуазную свободу в Новое время. Так называемые "католические эпохи" внутри этого исторического процесса всегда проходили — по крайней мере в нашем западноевропейском культурном регионе — под знаком "против", под лозунгом "анти" по отношению к освободительной борьбе. И лишь последний, недавно состоявшийся Ватиканский собор сумел, по-видимому, впервые присоединиться к традициям свободы, по крайней мере признал их — как первый шаг — в качестве церковных, заложенных в самом Евангелии элементов свободы детей Божьих: эта нота прозвучала, например, в высказываниях о свободе совести и свободе вероисповедания.

Что можно сказать об этой исторической эволюции католицизма? Выходит, мы, католики, попросту проспали борьбу за буржуазную свободу в христианской религии, да и в церкви? Не есть ли католическое упрямство, католическое нежелание "идти в ногу со временем" касательно вопроса о свободе всего лишь самая обыкновенная отсталость? Может, нам ничего не остается, как последовать советам нашей собственной переловой теологии и смиренно и отважно пуститься вдогонку за Первой Реформацией с ее идеалом общедоступных свобод? Или, может быть, в католицизме складываются предпосылки для собственной реформации, возникает ситуация, когда он способен выработать самостоятельную концепцию свободы, самостоятельно сделать рывок в свободу Божьих детей? Я думаю — да; и я хотел бы разъяснить мою точку зрения, ибо она имеет в виду католический вариант Второй Реформации.

Протестантский путь призвания и открытия благодати свободы нам всем знаком, он раскрыт перед нами в истории Реформации вплоть до наших дней. Тут речь идет о свободе индивидуума, который никому не слуга, никому не раб перед лицом своего Господа, подателя благодати. Эта "свобода христианина" привела, как известно, в сложном переплетении причин и следствий, и к политической свободе гражданина. Но наряду с этим путем мне представляется возможным другой путь или тип достижения христианской свободы, открытия благодати как свободы. Возможно, когда-нибудь в будущем экуменическом христианстве он будет назван католическим. Что я имею в виду? Речь идет о христианском опыте *свободы как освобождения* — о процессе, в котором личность осознает себя свободной перед своим Богом не в одиночку, а в солидарной общ-

ности с другими людьми; о процессе, в ходе которого свободным становится "народ" и в этом освобождении ощущает себя призванным стать субъектом своей собственной истории перед лицом своего Бога. Здесь на переднем плане — не обособленная история свободы индивидуума, но совокупная история освобождения: превращение в субъект "народа" и в нем естественно и необходимо — отдельного человека.

Да и Евангелие знает не один только павловский тип христианского завоевания свободы, на который прежде всего ориентировалась Реформация. Евангелие знает и синоптический, то есть указанный синоптиками путь христианского завоевания свободы. Я думаю об Иисусе, который освобождает "народ", преобразуя его в "новый народ", не тем, что он на простонародно-фольклорный лад созывает его, но тем, что он призывает его и вызывает его из тьмы архаических страхов и принуждений. Сугубо схематически можно сказать, что в самом Евангелии наличествуют две линии, два подступа к свободе — причем они постоянно и необходимо сплетаются между собой: один, носящий скорее личностный и либералистический характер, и другой, который можно было бы назвать почти социалистическим.

Коль скоро реформационный призыв к благодати в свободе понимается как призыв к благодати в освобождении, не значит ли это, что ныне пробил час Реформации, реформационный час свободы — для католицизма? Ведь именно в католической, все-светной церкви — если уж договаривать до конца — возникают предпосылки к такому призыву к благодати освобождения бедных и угнетенных людей и народов. Я говорю о базисных церквях освобождения, а также о *теологии освобождения* в бедных странах нашей Земли, и в первую очередь — если иметь в виду католический регион — о латиноамериканской церкви, об ее энергичных попытках связать чаяния спасения с чаяниями освобождения, пережить и возвестить вырисовывающийся в этих чаяниях образ свободы как драгоценное наследство евангельской вести. Конечно, все будет зависеть от того, окажется ли католичество в наших богатых странах готовым к тому, чтобы признать провиденциальную реформаторскую миссию бедных церквей для всей нашей церкви и всего христианского мира в целом, открыть сердце церкви для нового понимания свободы, а не отворачиваться под предлогом, что-де все это лишь преходящая форма развития, присущая исключительно так называемым "развивающимся" (то есть попросту недоразвитым) странам и их церквям, если не вовсе измена законному достоянию христиан — благодати.

Ясно, что Реформация придет не из Виттенберга и не из Рима. Она вообще придет к нам не из христианской Западной Европы, она придет от освободительного христианства бедных церквей планеты.

Но что означают для нас в действительности эти бедные церкви, в чьих недрах тяжело и трудно пробивает себе дорогу новый опыт христианской свободы? Действительно ли они для нас — что-то большее, чем объект досужей благотворительности, окрашенной в сентиментально-рождественские тона? Действительно ли они для нас — очаг, избранный провидением, откуда снизойдет на всех нас благодать? Верно ли, что для нас они суть церковь католической Реформации? Да, мы подаем этим бедным церквям милостыню, мы жертвуем деньги, — но не будем же забывать, что деньги эти просто маскируют от наших глаз те борения и страдания бедных церквей, в которых *они, а не мы*, обретают опыт благодати. Да, мы помогаем им, но не забудем, что вспомоществование — это еще не все, это даже не самое важное, что связывает нас с этими церквями. Самым важным будет сознание того, что именно оттуда, из бедных церквей, готовится выйти импульс к Реформации для нас всех.

Увы, метеорологическая ситуация в нашей церкви не обещает в этом отношении благоприятного прогноза погоды. Народные церкви освобождения в общем и целом вызывают к себе скорее скептическое отношение, если не прямую неприязнь и нежелание иметь с ними дело. Всякий же, кто стучится в дверь, кто настаивает на том, что связать

благодать с освобождением — неотложная задача всей церкви, обречен на немедленную внутрицерковную изоляцию и пренебрежение. Если я не ошибаюсь и не сужу слишком поспешно, при нынешнем Папе моя католическая церковь энергично стремится вновь отвоевать и закрепить в качестве основы западноевропейскую ориентацию. В прежние годы, при понтификате Иоанна XXIII и Павла VI, римская церковь как будто проявляла все возрастающее понимание общецерковной и, более того, общехристианской роли бедных церквей. Казалось, что теологические и пастырские авторитеты в Риме, хоть и осторожно, но определенно меняли курс. Сегодня я вижу явное движение вспять. В частности, оно проявляется в том, что составляет предмет главных забот, пастырских и учительских, нашего теперешнего Папы. И пусть многим у нас в стране и за рубежом это нравится, отвечает их давним надеждам. Лично я усматриваю в этом опасность, — разрешите мне быть откровенным. Опасность того, что наша католическая церковь упустит шанс Реформации, иначе говоря, упустит возможность сделать опыт благодати как освобождения *своим* опытом свободы. Именно такой опыт свободы открыл бы ей, наконец, доступ к свободе христиан, уже завоеванной протестантизмом. И тогда она услышала бы в призыве к правам на свободу в католической церкви, в призыве к церковным авторитетам и институтам церкви быть готовыми к покаянию — не просто ноты либеральной эмансипации, но протест, тот протест, который само Евангелие поднимает против нашей церковной жизни, какая она есть не на словах, а на деле.

IV.

Призыв к благодати в политике — политический аспект Второй Реформации

Упор на благодать в чувствах и благодать в освобождении есть не что иное, как упор на благодать в политической жизни. Но благодать в *политике* — что это еще такое? Существует ли, может ли существовать таковая вообще? И разве наша современная политика не несет на себе прежде всего клеймо неизбывной безблагодатности, той самой, которая на обычном языке скромно именуется "реализмом", "деловитостью"? Политика под знаком благодати взамен политики под знаком "дела" — не будет ли это по меньшей мере самообольщением, наивным прожектерством, не ведающим, что его ждет? А если говорить серьезно, то не возвращает ли она нас к ушедшим, как нам казалось, в безвозвратное прошлое претензиям религии совать свой нос в политику?

Приглядимся, однако, повнимательней. О каких "делах" или, вернее, о каких средствах, которые политика обычно объявляет сферой своей компетенции, идет речь применительно к сегодняшней политической жизни? Правда такова, что в наши дни впервые речь уже больше не идет о том или ином деле, о том или ином способе; речь идет о цели, то есть о самом человеке, о новом отношении людей к самим себе и к миру, в котором и с которым они живут. *Человек — вот с кем имеет дело политика*, оттого-то многие испытывают такую усталость от политической жизни, оттого наша "текущая политика", мало озабоченная благодатью, а пуще всего пекущаяся о делах, демонстрирует подчас свою полнейшую беспомощность. Но что это значит — человек сам есть содержание политики? Все большие социальные, экономические и экологические проблемы, собственно говоря, могут быть сегодня решены только путем изменений в нас самих и у нас самих, изменений, носящих характер антропологической революции. Сегодня в политике, и прежде всего в политике, вопрос стоит о том, чтобы мы начали "жить по-иному", дабы другие могли выжить вообще. Жить по-иному? — но это и было всегда главной чертой христиан. И если христиане на самом деле веруют в благодать, в ее освобождающее присутствие в свободе и в чувствах, то ведь это означает также, что и в общественном смысле они живут не под знаком анонимных требований дела, а по

”требованию” благодати. Благодать же равнозначна в этом случае решимости порвать, перестать, пониманию того, что нельзя больше жить так, как жили до сих пор. Благодать — это есть, наконец, способность и политически смотреть на вещи не только своими глазами, оценивать обстановку не со своей колокольни, а смотреть глазами наших жертв, да, их глазами, сквозь которые на нас — не сам ли Он убеждал нас в этом? — взирает Бог.

Вот эта смена взгляда, вот эта способность порвать, покончить, это стремление не допустить, чтобы все шло по-старому, словом, этот акт протеста против нас самих и нашей устоявшейся жизни — они-то и поставлены сегодня на карту в политической игре. С нашим лакированным и расчетливым гуманизмом в политике, с безблагодатной, утилитарной моралью буржуазного образа жизни мы в этой ситуации никуда не сдвинемся. Здесь, в сердцевине нашей политической жизни, встает вопрос, пребудет ли с нами вновь благодать. Та благодать, которая не снисходит к нам и не щадит, а вырывает нас из тенет принудительности, с которой будто бы ничего не поделаешь; та благодать, что в конце концов делает для нас возможной новую солидарную жизнь, условием которой больше не будет угнетение людей. Та благодать, которая страстно восстает против систематического искажения солидарности омассовлением или соединением в ненависти, но не отринет новой солидарности, безоговорочно требующей от нас добиваться нашего социального самоопределения не в противовес другим, слабейшим, экономически зависимым и беззащитным группам и классам в мире, но вместе с ними.

Когда в этих политических условиях христиане призывают к дающейся столь дорогой ценой благодати во всей ее чувственной конкретности и освободительной мощи, они тем самым включают в давно уже разгоревшуюся историческую борьбу с грозящими миру всесветными социальными раздорами и экологическими крушениями, в борьбу за послебуржуазный, посткапиталистический мир и новую, в определенном смысле послебуржуазную человечность. Быть может, именно от христиан зависит, придет ли реально на смену бюргеру его исторический преемник, наследник завоеванных им с таким трудом политических свобод, без которых любая по-настоящему заслуживающая этого названия политическая культура новой солидарной жизни просто немыслима. Разумеется, христиане вправе отстаивать возврат благодати в политику лишь после того, как они преодолели в самих себе тот образ христианства, который я обозначил выше как чисто буржуазную религию. Обе разновидности Второй Реформации — и протестантская на пути чувственного воплощения благодати, и ожидаемая католическая на пути постепенного обнаружения освободительного характера благодати — в конечном счете устремлены к имеющему быть христианству *по ту сторону буржуазной религии*.

V.

Носители Второй Реформации

Кто же будет носителем этой Второй Реформации? Хотя из сказанного ясно следует, что в обеих главных церквях для нее сейчас едва ли имеется массовая основа, необходимо подчеркнуть, что Вторая Реформация ни в коем разе не представляет собой инициативу единичных великих реформаторов. Ее ведущие представители — не отдельные религиозные и тем паче политические вожди, не влиятельные богословы или деятели церкви, не одинокие пророки или святые. Эта Вторая Реформация, как я ее понимаю, есть, собственно говоря, ”реформация снизу”, своего рода базисная реформация, и она не нагрянет к нам как нежданное драматическое событие; скорее это медленный, затяжной и даже малозаметный процесс — вязкий, перебиваемый многими отступлениями, а быть может, и глубокими заблуждениями.

Не думаю также, чтобы главными проводниками реформационного процесса стали традиционные церковные общины, — и уж во всяком случае не в нашей стране с преобладающим в ней идеалом "чисто религиозной", пастырской общины, каковая слишком явно представляет собой организационное отражение той самой буржуазной религии, которую как раз и надлежит, пускай не сразу, но бесповоротно, преодолеть в ходе Реформации.

Хотелось бы здесь еще раз напомнить, специально для моей церкви (но не только для нее) о бедных церквях Третьего мира. Дело в том, что именно там выявляются — правда, при особых и не поддающихся автоматическому копированию условиях — носители реформационного процесса. В этих церквях сформулировались так называемые низовые, или базисные общины, которые в наиболее существенных направлениях своей деятельности стремятся снизу, в базисном, так сказать, слое церкви и общества соединить мистику с политикой, религиозную практику с общественной и вобрать в свою евхаристическую общность, в круг сотрапезников Тайной вечери наиболее серьезные социальные беды и коллизии. Так христиане из объекта попечения, социального и церковного, становятся субъектами своей собственной религиозно-политической истории.

Если не ошибаюсь, это и есть предпосылка подлинно реформационного (а не просто реформистского) процесса в сегодняшнем христианстве. Ибо сегодня акт Реформации осуществляется не в едином христианском мире, как во времена Лютера, не в недрах общества, провозглашающего чисто религиозные цели, а в обществе, идеологически в высшей степени неоднородном, в антагонистическом обществе. Поэтому реформационный процесс должен сегодня иметь конкретный социальный адрес, конкретное общественное "местоположение", и ни на одну минуту не может быть отчужден от общественной ситуации своих носителей. Лишь при этом условии он не вырождается в сектанство и не примет тоталитарные черты.

В нашей стране престиж этих базисных общин до сих пор, что и говорить, невысок. Иногда приходится слышать, что они имеют специфическое значение для развития церквей в Третьем мире. Тем самым подчеркивается, что перенимать их опыт нет смысла, а то, дескать, замарается наш идеал "чисто религиозной" общины, если мы будем тащить в нее социальные неурядицы низов. Как будто благодать набрасывает стыдливый покров на общественные язвы и на тех, кто страдает ими, а не делает их, наоборот, зримыми для всех; как будто благодать сводится к беззубой филантропии и осеняет дряблую внепартийность! Цена, которую общины у нас в стране платят за подобную декретированную свыше общественную индифферентность, — цена немалая. Ибо уж слишком явно в них начинают проступать те самые черты, которых старались избежать, укрывшись мнимым общественно-политическим нейтралитетом, — нарочитая односторонность, враждебность по отношению ко всему, что "не наше", ледяная отчужденность, неумение привлечь к себе людей, особенно молодежь, и неумение помочь им найти себя.

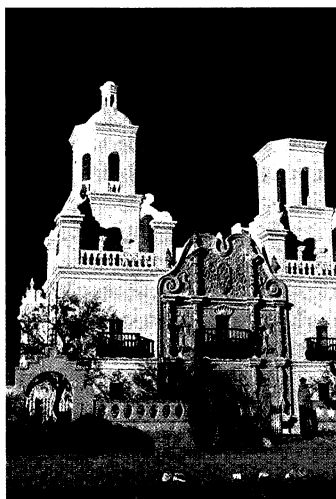
Вдобавок наши главные церкви стремятся упрочить свое положение в обществе на чисто институциональной основе, другими словами, на почве взаимодействия церкви и государства, так что порой начинает казаться, что церковь — это какая-то многоэтажная канцелярия, разветвленный институт, функционирующий даже тогда, когда общественный базис давно исчез.

Этим я вовсе не хочу сказать, что нам ничего не остается, как просто копировать низовые общины, какими они складываются главным образом в бедных церквях Третьего мира. И, однако, процесс Второй Реформации сможет начаться у нас только в том случае, если наши главные церкви разукрупнятся, "раздифференцируются" на своем собственном базисе, то есть создадут со своей стороны что-то вроде базисных общин — общин, сосредоточенных вокруг Господней трапезы, отнюдь не управляемых по территориальному признаку и не обреченных на показной общественно-политический нейтралитет. Они, эти базисные общины, стали бы вместе с тем зачатками новой экумены.

Энергичному развертыванию таких общин в нашей стране мешают не только существующие церковные порядки и установления, ориентированные не на идеал низовой церкви, а на некую просвещенную церковность в рамках современного государства с особо привилегированным положением институций главенствующих церквей. Если мы хотим решительно держаться евхаристического ядра базисных общин, то придется признать, что развитию их противостоит прежде всего традиционный для католической церкви, но, конечно, отнюдь не вечный регламент, единый для всей церкви; этот регламент предусматривает и тип общины, и критерии допуска к церковным должностям; он устанавливает определенный облик руководителя общины и предстоятеля евхаристии — попросту говоря, предписывает, каким должен быть священник. Вообще-то главой базисной общины, предстоятелем на празднике Господней трапезы должен иметь возможность стать выходец из самой этой общины. Однако в моей церкви появлению такого типа священника препятствует обязательный для всех священнослужителей celibat, практически отсекающий возможность выдвижения священников из народной среды. И конечно же, руководители и предстоятели такой базисной церкви должны не только иметь призвание к своему служению; нужно, чтобы свою должностную деятельность в церкви они сочетали со светской профессиональной деятельностью, — чего у нас практически никогда не бывает и что даже навряд ли считается желательным. И многое другое.

Можно ли в таком случае вообще приступать широким фронтом к работе по созданию базисной церкви? Возьмут ли действие реформационные импульсы, исходящие от бедных церквей и стучащиеся в сердце вселенской церкви здесь, у нас? На ближайшее будущее мне это кажется маловероятным. Вообще реформационный переход к базисной церкви обойдется нам недешево. Впрочем, заплатить за него придется всем — от князей церкви до церковного народа.

Вторая Реформация — повторим это снова — больше, чем когда-либо прежде, означает реформацию "снизу". *Как таковая она уже началась*, и притом в обеих церквях. Указать точную дату этого начала невозможно. Так или иначе, ее носителями и приверженцами могли бы стать мы все; так что оснований для надежды достаточно. "Spiritus sanctus, — позвольте мне закончить этими словами, — spiritus sanctus nec scepticus est, pes opportunistus". В очень вольном переводе это означает: дух Божий — ни со скептиками, ни тем более с довольными. Все так же дух веет, где хочет и когда хочет, — да и столько, сколько хочет. ●



ТЕОЛОГИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ

*Надо до алмазного закала
Прокалить всю толщу бытия.
Если ж дров в плавильной печи мало,
Господи, — вот плоть моя!*

М. Волошин

Двадцать лет назад Второй Ватиканский собор торжественно провозгласил: "Церковь... не отождествляет себя с какой-либо политической системой. Политическое сообщество и Церковь автономны и независимы в своих собственных областях". Казалось, был положен конец злосчастной вовлеченности Церкви в дела мирской власти. Но едва ли иерархи, собравшиеся в Ватикане, понимали тогда, что очень скоро Церкви предстоит столкнуться с новыми проблемами, связанными с такой вовлеченностью, что вновь возникнут споры о том, что есть Богово, а что — кесарево, что проблемы мирской власти и общественных систем оживят — в который уже раз — споры о том, что же такое христианство.

Впрочем, первые зерна нового конфликта были посеяны уже самим собором, призвавшим священников уделять особое внимание нуждам бедных и угнетенных. Зерна эти быстро нашли благодатную почву. Ею стал целый континент — Латинская Америка.

Латинская Америка — часть того, что принято называть Третьим миром, развивающимися странами. Эти мало что проясняющие эвфемизмы должны обозначать народы и страны, которые лишь календарно живут в XX в., лишь поверхностно затронуты современной западной цивилизацией, в которых нищета и несправедливость составляют неотъемлемую часть повседневной жизни.

Начавшееся после Второй мировой войны бурное экономическое развитие Латинской Америки, как это ни парадоксально, не улучшило, а даже в чем-то ухудшило положение. Резко возросли социальные контрасты: богатые стали еще богаче, бедные — еще беднее. Особенно пострадало крестьянство: если в жизни городской бедноты заметили хоть слабые положительные сдвиги, то о крестьянах этого не скажешь. Участились сгоны с земли, резко упали доходы, хотя и до того значительная часть крестьянства жила почти что на уровне нищеты.

Эта нищета, которую невозможно скрыть от постороннего глаза; высокая заболеваемость при зачаточном уровне здравоохранения; неграмотность значительной части населения; произвол полиции и местного начальства, от которого негде найти защиту; политическая неустойчивость, при которой один диктатор в очередном *pronunciamento* свергает другого, чтобы затем быть свергнутым самому, — все это и по сей день в той или иной мере остается повседневной реальностью многих стран Латинской Америки.¹

Ситуацию в свое время четко сформулировал Радомиро Томич Ромеро, бывший кандидат в президенты от христианских демократов в тогда еще не пиночетовском Чили: "Мы — континент, пораженный несправедливостью. Спросим сами себя: этого ли хотел для нас Бог?"

¹ В этом номере мы публикуем статью о Бразилии, которая может служить иллюстрацией сказанному.

Конечно, в мире есть и другие районы, где ситуация не менее, если не более катастрофична. Но Латинская Америка отличается еще и тем, что подавляющая часть ее населения — 338 из 382 миллионов — католики. Здесь проживает 46% всех католиков мира. И это сочетание страшной социальной несправедливости и ревностного христианства дало свой плод, ныне вызывающий серьезную тревогу католических верхов и пробуждающий надежды в низах. Плод этот — теология освобождения.

1.

Выражение "теология освобождения" еще 20 лет назад было невозможно найти на страницах богословских трудов. Появившись впервые в конце 60-х годов, теология освобождения вскоре привлекла к себе всеобщее внимание. Она быстро нашла себе множество последователей почти во всех странах Латинской Америки, широко распространяется в Африке, проникает и на другие континенты. Родившись на стыке богословия и политики, теология освобождения волнует и священнослужителей, и общественных деятелей. Ею обеспокоен Ватикан, ее оживленно обсуждают крупнейшие газеты мира.

Название "теология освобождения" пустил в свет перуанский католический священник и психолог о. Густаво Гутьеррес. Так он озаглавил свою первую книгу (1971 г.), где была сформулирована его богословская (или общественная?) концепция. Сейчас идеи, впервые изложенные Гутьерресом, развивают многие — преимущественно латиноамериканские — богословы. Наиболее известны среди них уругвайский иезуит о. Хуан Сегундо, аргентинец о. Энрике Дуссель, ныне проповедующий в Мексике, о. Хон Собрино (также иезуит), прибывший в Сальвадор из Страны басков, бразильский профессор теологии францисканец о. Леонардо Бофф.

Теологи освобождения имели своего предшественника. Это — архиепископ бразильского города Ресифе Дом Хельдер Камара, получивший в Латинской Америке широчайшую известность своими выступлениями за социальную справедливость. Он не ограничивается чисто словесными декларациями, принимает активное участие в общественной жизни родного города и штата. Дом Хельдер получил даже прозвище "красного епископа", по сути своей несправедливое, ибо архиепископ Ресифе всегда был далек от марксизма и даже враждебен ему. Во время посещения Колумбии Дом Хельдер отказался поклониться могиле о. Камильо Торреса, священника, пошедшего в ряды партизан-коммунистов и павшего в бою. О классовой борьбе Дом Хельдер высказался вполне определенно: "Она заменяет надежду фатализмом, а милосердие ненавистью".

Основоположники теологии освобождения сделали очередной шаг, которого Дом Хельдер Камара не сделал: они подняли практическую борьбу за социальную справедливость до уровня теологического учения и включили в него элементы марксистского анализа. Как пишет один из идеологов теологии освобождения о. Хон Собрино, "влияние Маркса на наши теологические концепции очевидно". Впрочем, теологи освобождения вдохновлялись, пожалуй, не столько самим Марксом, сколько его переложениями, сделанными Луи Альтюссером, французским философом-марксистом, серьезно интересовавшимся проблемами Латинской Америки.

Воспринятая теологами идея классовой борьбы приобрела у них почти откровенно манихейский характер. Для того чтобы обеспечить победу "добрых" — бедных над "злыми" — богатыми, необходимо изменить политические структуры. Достижение этой победы добра над злом, достижение освобождения — это и есть цель христианства. Теология, как таковая, по их убеждению, есть не только толкование христианского вероучения, но также и политическое призвание к изменению общества.

”Будущее институционализированной Церкви — в том малом зерне, которое новая Церковь проращивает на полях бедных и бесправных... Новая Церковь должна оставаться верной своему пути. Она должна быть лояльно непокорной. ...Она должна прислушиваться к старому церковному вопрошанию о верности нашего прочтения Евангелий”, — писал о. Леонардо Бофф в своей книге ”Церковь: харизма и власть”.

Прочтение Евангелий у теологов освобождения действительно далеко от традиционного.

Путем к истине, по их мнению, является политическая вовлеченность. ”Лишь то истинно, что содействует освобождению человека”, — пишет о. Хуан Сегундо в книге ”Теология для строителей нового человечества”. Теология не должна быть оторвана от жизни, доказывает о. Гутьеррес в книге ”Маркс и Иисус”. ”Мы должны, — пишет он, — положить конец тому типу теолога, которого можно назвать ”идеалистом”, то есть теолога, который не имеет ничего общего с реальным призванием. Неважно, насколько он исполнен доброй воли и как много он читал из св. Августина, — этот тип теолога всегда останется ”идеалистическим...” Я употребляю термин ”идеалист” в марксистском смысле, ибо только пастырски призванные теологи соответствуют определению истинной теологии”.

Протестантский пастор Мигель Бонино (последователи теологии освобождения есть не только среди католиков) утверждает, что нет истины помимо и вне исторических событий, в которых принимают участие люди. Знание можно получить лишь через действие, лишь участвуя в процессе преобразования мира. Примат действия — лейтмотив вообще всех теологов освобождения.

Теология освобождения отвергает традиционное противопоставление двух сфер или ”царств” — царства духа и бренного земного мира. Такой дуализм, по мнению ее последователей, реакционен. О. Гутьеррес подчеркивает, что есть лишь один ”призыв к спасению”, охватывающий всех людей. Члены истинной Церкви Тела Христова, по мнению о. Сегундо, — лишь те, кто принимает участие в борьбе за освобождение.

Большинство библейских текстов теология освобождения предпочитает брать из Ветхого Завета, в особенности, из Книги Исход, описывающей спасение еврейского народа, его освобождение из плена египетского под руководством Моисея. В Новом Завете излюбленные строки этих теологов находятся в величании Богородицы: ”Низложил сильных с престолов, и вознес смиренных; алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем” (Лука, I, 52, 53). Для теологов освобождения Моисей, руководитель еврейской ”освободительной борьбы”, в каком-то смысле лучший образец, чем Иисус, который не захотел возглавить восстание против римлян.

Идея классовой борьбы в теологии освобождения используется очень настойчиво. О. Гутьеррес указывает, что Маркс не изобрел классовой борьбы: он всего лишь проанализировал ее причины и показал, как она может привести к созданию бесклассового общества. Нейтралитет в этой борьбе невозможен. Мечта о классовом мире, выраженная в нескольких папских энцикликах, это ”самообман”. Долг теолога — поднять уровень сознательности рабочего класса до понимания сути классовой борьбы и необходимости в ней участвовать.

А как же с призывом: ”Любите врагов ваших, делайте добро ненавидящим вас” (Матф. 5, 44)? О. Гутьеррес утверждает, что классовая борьба — единственный способ принести в мир всеобщую любовь. Принимать участие в классовой борьбе — это и значит любить: ”Ибо это участие ведет к созданию бесклассового общества без собственников и неимущих, без угнетателей и угнетенных. С точки зрения диалектики, примирение — это преодоление конфликта”. Конфликт, даже приводящий к насилию, — это средство принести в мир любовь.

Применительно к самой Церкви та же логика ведет о. Сегундо к отрицанию идеи о ”единении в таинствах” — духовного единения верующих в Церкви. О. Сегундо на-

зывает такое единение иллюзией. По его мнению, невозможно единение с теми, "кто думает и поступает совершенно по-иному", или с теми, кто противодействует воле Божьей.

Освобождение человека, по мнению теологов освобождения, — процесс трехступенчатый. Начинается он с социологического анализа, с раскрытия форм эксплуатации и разоблачения угнетателей. Следующий этап — "просвещение" эксплуатируемых, разъяснение им того, что с ними происходит. Процесс завершает борьба против угнетателей, формы которой могут быть многообразны. Это и открытая политическая деятельность (где она разрешена), и мирные демонстрации, и создание особых небольших групп (по-испански — *comunidades de base*, "низовые общины"), которые при определенных обстоятельствах могут стать и ячейками партизанской войны.

Низовые общины являются, пожалуй, наиболее важным новым явлением в церковной жизни Латинской Америки. Возникновение их, впрочем, объясняется не только идейными причинами, связанными с распространением теологии освобождения, но и чисто практическими обстоятельствами. Дело в том, что Латинская Америка с ее 338 миллионами католиков испытывает резкую нехватку священников. На континенте всего 32000 священников, по одному на 10500 католиков (в США — 1 на 880 чел.).

Причин этому немало. Тут и традиционное нежелание местного населения пополнять ряды священства, которое до недавнего времени на практике отождествляло себя с угнетателями (традиция, заложенная еще испанской и португальской инквизициями). Тут и ограничение въезда иностранных священников, введенное во многих латиноамериканских странах (после провозглашения независимости в XIX в. многие священники были даже отосланы домой как иностранцы). Тут и введенная в некоторых странах (например, в Мексике) обязанность для священников работать также и в какой-либо сфере национальной экономики. Количество священников в результате не только малó, но и непрерывно сокращается: еще в 1965 г., в год Второго Ватиканского собора, их в Латинской Америке было 52000 — на 62% больше, чем сейчас.

Во многих сельских общинах *надре* появляется не чаще чем раз в несколько месяцев — исповедать паству и отслужить мессу. В результате прихожане вынуждены были перейти на своего рода самообслуживание, создав низовые общины, в которых религиозные обряды совершаются коллективно, часто под руководством какого-либо относительно образованного мирянина. Сейчас в Латинской Америке около 150000 таких низовых общин. Особенно они многочисленны в Бразилии — на северо-востоке и в штате Мату-Гроссу, в Боливии и в аргентинской Гран Чако. Эти низовые общины, не только не оторванные от повседневной жизни, но сами являющиеся куском этой самой жизни, — благодарная питательная среда для теологии освобождения. Теологи же, в свою очередь, поощряют образование таких общин.

В средней низовой общине от 10 до 30 членов. Главное их занятие — молитва, просвещение и общинная взаимопомощь. Однако упор делается на увязывание уроков Библии с повседневной жизнью членов общины: обитателей бидонвиллей или *campesinos*, крестьян.

Типичная община в городе Кампос Элисеос, в 20 км к северо-западу от Рио-де-Жанейро. Каждую пятницу вечером три десятка местных жителей встречаются в шлакоблочной лачуге стрелочника Антонио Жойнаса. А. Жойнас рассказывает, например: "Прочитав о том, как одна библейская община помогла другой, мы решили, что тоже можем работать вместе. Мы собрали в общине деньги на стройматериалы, рабочую силу поставили сами и построили общественную больницу. И все это благодаря Библии"...

Для о. Леонардо Боффа и других теологов освобождения низовые общины — прообраз будущей Церкви, "рожденной из веры бедных". Низовые общины, по их мнению, — независимый источник вдохновения для верующих, составляющий аль-

тернативу Риму. "Римская Церковь, — говорит о. Бофф, — создала свой собственный правящий класс, власть находится в руках папы, епископов и священников". Низовые общины с их упором на роль мирян, на соединение молитвы и политического образования — реальный вызов традиционной церковной структуре.

Для латиноамериканского континента школой теологии освобождения является Перу. Два раза в год, в феврале и в августе, более 7000 священников, монахинь и мирян со всей Латинской Америки записываются на курс в Католическом университете Лимы. Две недели преподаватели, воспитанные о. Гутьерресом и другими теологами освобождения, обучают студентов организации просвещения бедных в низовых общинах.

Для теологов освобождения, как уже говорилось, низовые общины — это также и ячейки, где рождается будущее революционное действие. Долг пастыря — не только содействовать революции, но и участвовать в ней. Теологи указывают, что в этом вопросе они не так уж и отклоняются от католической традиции. Они напоминают об энциклике Павла VI "Прогресс народов", где он признавал, что "революционное восстание может быть оправдано в случае, когда очевидная и дрящущая тирания ставит под угрозу благоденствие страны". (Вряд ли покойный папа предполагал, что эти его слова будут столь последовательно развиты до логического конца.)

Вскоре теоретикам представился случай применить свои положения на практике: разразилась революция в Никарагуа. В свое время священник из США о. Пол Шмиц, ныне епископ в Никарагуа, на волне эйфории, вызванной победой сандинистов, заявил, что эта страна — "лаборатория для всей Латинской Америки". Большая группа никарагуанских католических клириков открыто перешла на позиции сандинистов и даже участвует в правительстве. Это министр иностранных дел о. Мигель д'Эското Брокман, министр образования иезуит о. Фернандо Карденал Мартинес, его брат, министр культуры монах-траппист о. Эрнесто Карденал, о. Эдгар Парралес, посол Никарагуа при Организации американских государств.

2.

Рождение теологии освобождения можно датировать 1968 годом. Тогда на сентябрьской встрече в Медельине (Колумбия) латиноамериканские епископы дали свое благословение концепции *liberacion* — "освобождения". "Бог послал своего Сына, — объявили они, — чтобы он мог во плоти явиться для освобождения всех людей от греха, невежества, голода, нищеты, угнетения, короче говоря, от всех несправедливостей и ненависти, порожденных эгоизмом".

Однако весьма скоро теология освобождения подверглась суровой критике. Как сказал монсеньор Карло Кафарра, теолог из римского Латеранского университета, "это учение нацелено в самую суть христианской веры, в сущность самой Церкви". В 1976 г. международная теологическая комиссия католической церкви опубликовала предостережение против теорий, которые "открыто или скрыто включают в себя идеологические элементы, основанные на спорных философских предположениях или ошибочной антропологии". В предостережении был особо упомянут "анализ, вдохновляемый марксизмом-ленинизмом".

Поворотный пункт во взаимоотношениях Ватикана с теологами освобождения наступил с избранием папы Иоанна-Павла II. В своем обращении к участникам встречи латиноамериканских епископов в Пуэбле (Мексика) в январе 1979 г. папа одобрил движение за освобождение, при условии что это — "подлинное освобождение", основанное на правильном понимании учения Христа. Царство Божие, сказал папа, не следует смешивать с мирской властью. Политическое, экономическое и социальное освобождение не совпадает со спасением. Христос вовсе не был "революционером, мятежни-

ком из Назарета”, он отвергал насилие и открыл путь к обращению для всех, даже для мытарей.

Ватикан опубликовал ”Наставление по некоторым аспектам теологии освобождения”, в котором позиция, занятая папой в самом начале своего понтификата, получила дальнейшее развитие и детализацию. В ”Наставлении” поддерживается стремление бедных к лучшей жизни, высказывается суровое осуждение экономического и политического угнетения в Латинской Америке. ”Интересно, что, критикуя теологию освобождения, документ подтверждает все ее основные посылки”, — говорит о Вирхилио Элисондо, редактор либерального католического журнала ”Concilium”. Ватикан явно хочет показать, что он не игнорирует бедность и политическое насилие, которые вызвали к жизни теологию освобождения.

Однако сразу вслед за этим в ватиканском документе подвергаются подробной критике ”отклонения.., содержащиеся в некоторых формах теологии освобождения, недостаточно критически использующих концепции, заимствованные из разных течений марксистского учения”.

Что это за ”отклонения”? Прежде всего представление о том, что любой грех имеет социальную природу и коренится в плохой организации материальной жизни общества. Затем — ”исключительно политическое” прочтение таких библейских текстов, как Исход и величание Богородицы. Такие интерпретации, говорится в ”Наставлении”, игнорируют радикальную новизну Нового Завета. Освобождение в Исходе не было делом только политическим. Свобода в христианском смысле есть прежде всего свобода от порабощения грехом. Главное возражение, которое вызывает теология освобождения, состоит в том, что она политизирует Евангельскую весть. Трансцендентальные аспекты ее исчезают. Социальная теория возводится до уровня теологии. Более того, сам Бог отождествляется с Историей, иначе говоря, с революционным процессом.

Ватикан одобряет мысль о том, что любая действенная борьба с бедностью требует научного анализа ее причин. Вместе с тем он заявляет, что некоторые теологи, придерживающиеся идей теологии освобождения, смешивают понятия марксистского и научного анализа. Марксизм, говорится в ватиканском документе, исходит из идеологических предпосылок, несовместимых с христианской верой. В их числе концепция ”партийной истины” и представление о том, что классовая борьба — это движущая сила истории. Для марксистов вера заменяется ”верностью истории”, надежда — ”верой в будущее”, любовь — ”защитой угнетенных”. ”Бедные”, о которых говорится в Писании, отождествляются с ”пролетариатом” Карла Маркса. Даже евхаристия — причащение Жертве — превращается в праздник борьбы.

”Наставление” подчеркивает, что Библия призывает любить бедных потому, что их любит Бог, а не потому, что они являются носителями социального спасения. Что касается марксизма, то он порождает ложную надежду на то, что революционное общество будет обществом справедливым. На деле же оно лишь создает новые формы угнетения, и те, кто помогает такого рода революциям, ”предают тех бедных, кому они хотели помочь”. ”Миллионы наших современников законно требуют возврата тех основных свобод, которые отняли у них тоталитарные и атеистические режимы, пришедшие к власти путем насилия во имя освобождения народа”.

”Представление о классовой борьбе, — говорится далее в ватиканском ”Наставлении”, — как о пути к бесклассовому обществу — это миф, который замедляет реформы и усиливает бедность и несправедливость”. Тем, кто верит в этот миф, документ предлагает ”подумать о горьких примерах того, куда этот путь ведет, примерах, которые дает нам история”.

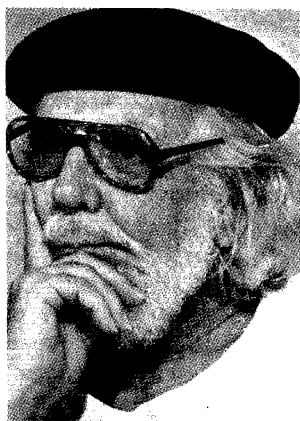
Защитников теологии освобождения это замечание приводит в ярость. Они отвечают, что их надежды на преобразования в Латинской Америке не имеют ничего об-



Священник-партизан беседует
с вооруженными прихожанами в Сальвадоре



О.Густаво Гутьеррес



О.Эрнесто Карденал, министр
культуры Никарагуа



Низовая община в Никарагуа.
Празднование годовщины революции



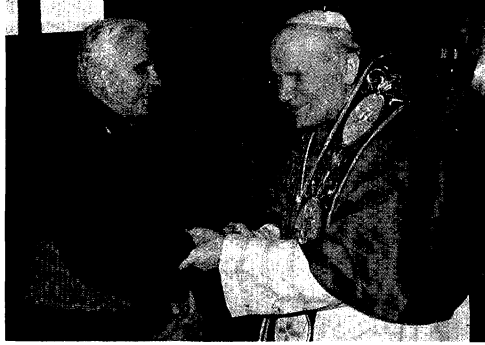
Католическое богослужение в Заире



Архиепископ Десмонд Туту
выступает перед паствой



Архиепископ Ресифе,
монсиньор Дом Хельдер
Камара



Кардинал И.Ратингер
с папой Иоанном-Павлом II



О.Леонардо Бофф по
приезде в Рим для дачи
объяснений



Заседание Второго Ватиканского собора



Папа Иоанн-Павел II в Латинской Америке
(Каракас, Венесуэла)

щего с тем, что случилось в Советском Союзе и странах Восточной Европы. Самый факт наличия столь многих католиков, в том числе священников и членов религиозных орденов, в левых латиноамериканских движениях — от Никарагуа до Чили — есть, по их мнению, залог того, что монолитные режимы, находящиеся под контролем коммунистов, — вовсе не обязательный исход борьбы за освобождение.

Тем не менее Ватикан утверждает, что невозможно пользоваться марксистскими принципами и терминологией, не принимая в конце концов также марксистские методы и цели. "Пытаться ввести в теологию анализ, критерии которого основаны на атеистических представлениях, значит обречь себя на ужасные противоречия". Этот тезис далеко не всем кажется убедительным. "Бессмысленно утверждение, что нельзя использовать элементы марксистского анализа, не становясь марксистом, — пишет о. Дэвид Треси, священник и профессор теологии Чикагского университета. — Это все равно, что сказать: христианский теолог не может использовать труды Аристотеля (как это делал Фома Аквинский), не рискуя стать язычником".

О. Леонардо Бофф энергично возражает, что нападки Ватикана на теологию освобождения — это дело рук "европейцев, видящих латиноамериканскую действительность из окон своих домов". "Одно дело видеть бедность по телевидению, — говорит он, — а другое — жить среди бедности". "Священники, епископы и кардиналы проповедуют слово Божие, но кто принесет Евангелие им самим?" — спрашивает о. Бофф и отвечает: "Бедные".

В сентябре 1984 г. о. Бофф был вызван в Ватикан, в Конгрегацию по вопросам верования. Беседы с главой Конгрегации кардиналом Йозефом Рацингером были, по словам самого о. Боффа, "сердечными". Рацингер в основном сидел и слушал своего красноречивого собеседника. Тем не менее через несколько месяцев Конгрегация выпустила 11-страничный документ, в котором осуждается учение о. Боффа и его книга "Церковь: харизма и власть". На самого о. Боффа наложено церковное наказание: покаянное молчание. О. Бофф заявил на это, что он подчиняется, ибо "предпочитает идти вместе с Церковью, чем в одиночестве" со своей теологией, но не захотел отречься от ранее высказанных взглядов.

Особой заботой Ватикана является церковная ситуация в Никарагуа. Никарагуанских епископов, как и папу, беспокоят попытки сандинистского режима вогнать клин между сильно политизированной "народной церковью", руководимой священниками-сандинистами, и официальной церковью, возглавляемой кардиналом Мигелем Обандо-и-Браво. Во время поездки папы по странам Латинской Америки в марте 1983 г. город Манагуа был единственным местом, где папе чуть ли не помешали говорить во время мессы под открытым небом. Министры правительства, в том числе несколько священников, постоянно прерывали его возгласами: "Народная церковь!"

Во время пребывания в Никарагуа папа встретился с о. Эрнесто Карденалом. Когда последний преклонил перед папой колена для благословения, папа погрозил ему пальцем и жестко сказал: "Вам следует урегулировать свои отношения с Церковью". Согласно каноническому праву, католический священник не может занимать политического поста. Эрнесто Карденал — да и другие священники — не вняли предупреждению. В декабре 1984 г. генерал ордена иезуитов о. Петер-Ганс Кольвенбах исключил о. Фернандо Карденала из ордена, членом которого тот являлся (Кольвенбах вообще сильно озабочен позицией латиноамериканских иезуитов, многие из которых поддерживают не только теологию освобождения, но и левые движения в Центральной и Южной Америке). В январе 1985 г. Ватикан наложил на всех никарагуанских министров-священников временный запрет на отправление служб. Священники все же предпочли остаться в правительстве.

В самом Ватикане ближайшими союзниками папы в вопросе о теологии освобождения являются кардинал Йозеф Рацингер, новый глава Конгрегации по делам

религиозных орденов архиепископ Хамер, который на посту предшественника Рацингера заслужил прозвище "молот еретиков", и глава иезуитов Кольвенбах.

Но оппозиция папе на местах не ослабевает. О. Боффа в его поездке в Рим для дачи объяснений демонстративно сопровождали два бразильских кардинала — Хосе Лоршейдер и Пауло Эваристо Арнс, — явно желая этим показать, что они на его стороне. 52 перуанских епископа, вызванные в Рим для бесед с папой и кардиналом Рацингером, разделились по вопросу об их соотечественнике о. Гутьерресе, "создателе" теологии освобождения. Хотя две книги о. Гутьерреса сейчас изучают в Конгрегации по вопросам вероучения, большинство перуанских епископов было склонно поддержать священника-"диссидента". В конце концов был достигнут некий компромисс: открытого запрета на труды о. Гутьерреса не было наложено, но епископы согласились поддержать осуждение марксизма, сделанное кардиналом Рацингером.

На синоде католических епископов, проходившем в ноябре—декабре 1985 г. в Ватикане в связи с 20-летием Второго Ватиканского собора, прозвучала суровая критика теологов освобождения. Наиболее резко выступил колумбийский кардинал Дарио Кастрильон Хойос, ответственный секретарь латиноамериканской конференции епископов. Латиноамериканская церковь, сказал кардинал, завоевала себе авторитет, отождествляя себя с бедными, и ныне "видит со все большей ясностью размеры нищеты, бесправия и эксплуатации. Анализируя действительность в свете Евангелия, — продолжал он, — церковь рассматривает сложившуюся ситуацию как скандальную". Далее, однако, он заметил: "Но некоторые тенденции теологии освобождения принесли крайне печальные плоды как для народа, так и для Церкви. Мы не можем пользоваться ненавистью как орудием для изменения системы. Само существо Церкви — это любовь. Когда передо мною священник с пулеметом, я не вижу в его церкви Христа распятого".

Кардиналу Кастрильону Хойосу энергично возражал председатель бразильской иерархии епископ Хосе Лоршейдер, утверждавший, что теология освобождения вовсе "не толкает к насилию, не принимает и не оправдывает марксистской идеологии и не рвет с католической теологической традицией". Для епископа Лоршейдера это движение "незаменимо для развития церковной активности и социального призвания христиан, даже если это влечет за собой некоторый риск".

Споры вокруг теологии освобождения вышли уже за пределы Латинской Америки. Есть все основания думать, что эта теология найдет себе — и уже находит — благодатную почву в католической Азии, особенно на Филиппинах, и в Африке — до недавнего времени величайшей надежде католической церкви.

Подобно латиноамериканским клирикам, африканские епископы становятся все более и более политически активными, выступают против нарушений прав человека, осуждают правительственную политику и поддерживают антиправительственные движения. Самым ярким примером такой политической вовлеченности является деятельность южноафриканского епископа Туту, лауреата Нобелевской премии мира: в последнее время он все больше играет роль духовного вождя движения против апартеида.

В Заире католические священники — наиболее резкие критики авторитарного правления президента Мобуту (заметим, впрочем, что Церковь в свое время была также одним из главных противников колониального бельгийского правления в этой стране). В соседней Руанде католический архиепископ занял важный правительственный пост. Архиепископ Кампалы Эммануэль Нсубуга сыграл в свое время ключевую роль в падении угандийского президента Милтона Оботе, а суданский архиепископ Габриэль Зубейр Вако много содействовал свержению диктатуры генерала Нимейри. В Кении кардинал Морис Отунга бросил правительству открытый вызов по вопросу планирования семьи и контроля над рождаемостью.

Процессы эти не проходят мимо внимания Ватикана. В августе 1984 г. папа направил специальное послание съезду 67 епископов юга Африки, состоявшемуся в Зим-

бабве. Папа заявил, что "Церковь безусловно солидарна с бедными, жертвами несправедливых законов и несправедливых социальных и экономических систем". Но путь, на котором достигается такая солидарность, "не может определиться в результате анализа, основанного на классовых различиях и классовой борьбе". Предупреждение, пока еще, быть может, преждевременное, но Ватикан не хочет опоздать.

3.

Легко понять, почему коммунисты приветствуют в качестве своих союзников католиков, особенно священнослужителей. Че Гевара сказал: "Когда христиане найдут в себе смелость отдать себя безраздельно делу латиноамериканской революции, она станет непобедимой". В католической Латинской Америке революция для победы нуждается в поддержке Церкви. Вот почему сандинисты в Никарагуа хотят, чтобы о. Мигель д'Эското Брокман, о. Эрнесто Карденал и другие известные священники оставались в правительстве, даже если для этого надо нарушить церковный запрет священникам на занятие политических постов. Режиму надо доказать рядовым никарагуанцам, что Церковь — за революцию.

Польскому папе, с его личным опытом жизни в коммунистической стране, вовсе не улыбается перспектива того, что его огромная латиноамериканская паства в один прекрасный день окажется под властью коммунистов, и притом с помощью Церкви. Католики уже не раз играли роль "полезных идиотов" (по выражению бывшего секретаря Коминтерна Д. З. Мануильского), помогая победе коммунистической революции. В Словении, наиболее католической части Югославии, многие левоориентированные католики, в том числе и священники, в свое время присоединились к партизанам Тито в их борьбе против немецких и итальянских оккупантов. Но после победы эти бывшие союзники Тито перестали быть значимой политической силой. Некоторые вступили в компартию и сделали в ее рядах карьеру, но те, кто протестовал против усиления тоталитарных тенденций режима, — такие, например, как Эдвард Кочбек, видный писатель и первый титовский министр просвещения, — были вскоре убраны. Словенские левые католики не создали в свое время "теологии освобождения", но они находились под сильным влиянием французских левых католиков, таких как Эммануэль Мунье, крупнейший представитель философии персонализма, основатель и руководитель журнала "Esprit", красноречивый защитник сотрудничества марксистов и христиан в борьбе за социальную справедливость.

Латиноамериканский кризис ставит Ватикан в очень сложное положение. Ему надо показать, что когда он говорит, что главная область забот Церкви — сфера духа, это не является всего лишь предлогом для защиты статус-кво, как утверждают марксисты и их союзники. Церковь должна продемонстрировать, что она — за прогресс и справедливость.

Папа всячески стремится воспринять все приемлемые для него тезисы теологии освобождения, отвергая спорные и просто недопустимые элементы. Как сказал один из высокопоставленных членов римской курии: "Папа хочет показать, что он — первый и самый главный теолог освобождения".

Резкая позиция Ватикана по отношению к теологам-реформаторам вызывает сопротивление либеральных католических кругов. Известный теолог Ганс Кюнг, сам в свое время осужденный Церковью, заявил, что, по его мнению, началась "новая фаза инквизиции". "Нынешний папа, — сказал он, — подавляет проблемы вместо того, чтобы их решать". Указывают в качестве исторического прецедента, что в 50-е гг. консерваторы в Ватикане подвергали наказаниям таких новаторов, как Карл Ранер, автор идеи "анонимного христианства", ныне признанный одним из крупнейших теологов века, Джон Керт-

ни Меррей, которому мы обязаны решением Второго Ватиканского собора о религиозной свободе, и многих других.

Едва ли эти обвинения справедливы. Самый факт, что папа то и дело делает шаги навстречу теологам освобождения, воздерживаясь от чрезмерных церковно-административных мер, показывает, что дело вовсе не в "реакционерстве" римского понтифика, что все гораздо сложнее. Ватикан объявил, что он готовит новый документ, который, как ожидается, будет содержать "официальный" вариант теологии освобождения, применимый не только к Латинской Америке, но и к коммунистическому миру, и даже к Западу, но в то же время не будет отягощен "отклонениями" от доктрины. Задача, прямо сказать, не из легких.

Тот факт, что документ до сих пор так и не издан, хотя ждут его давно, показывает, что составители осознают сложность стоящих перед ними проблем, а может быть, даже их неразрешимость.

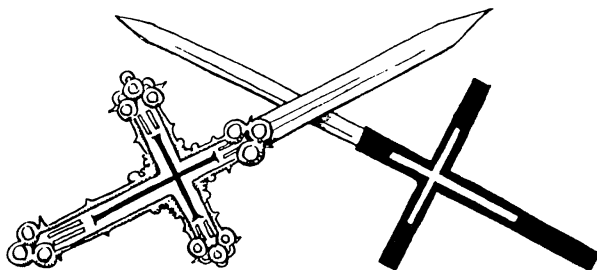
С одной стороны, Церковь, если она действительно хочет остаться покровительницей и защитницей "малых сих", как это снова провозгласил Второй Ватиканский собор, а не отождествлять себя с властью имущими, как это было не раз в истории, — такая Церковь не может оставить без внимания настоятельные нужды сотен миллионов своей паствы. Сделать так — значит потерять в ее глазах всякий авторитет. Церковь, и без того столкнувшаяся в XX в. с мощным вызовом рационализма, не может себе этого позволить и не хочет этого.

С другой стороны, принять то, к чему зовут теологи освобождения, значит, в сущности, перестать быть Церковью. Христианство, понимаемое так широко, становится настолько расплывчатым, что просто перестает быть христианством, да и религией вообще, потеряв свою духовную, сакральную сущность. Какая, в сущности, разница между священником Камилло Торресом с пулеметом в руках и, скажем, Че Геварой? Политизация религии всегда таила и таит в себе страшную опасность для самой религии. Неважно при этом, в каком направлении эта политизация происходит: под знаменем ли марксизма или под знаменем, например, консервативного национализма. Иного же, своего решения у Церкви нет. Вернее, ее ответы — не на те вопросы, которые перед ней ставит жизнь.

Каков же выход? Но из всякого ли конфликта, всякого ли кризиса есть выход, если не считать, конечно, выходом трагедию для одной из сторон? Приходится признать, что история давала нам множество примеров конфликтов, из которых выхода не было найдено, так как его просто не было.

Ибо нет одной, единой, общей для всех правды, и моя правда лучше других только потому, что она моя, — довод для человека с живой совестью недостаточный. Можно только пытаться представить себе чувства римского понтифика, постоянно осознающего (а может быть, уже давно осознавшего в глубине души), что есть и другая правда, кроме той, Высшей Правды, которой он служит.

Мысль эта должна быть для Первосвященника непереносима. ●



О Н И

Государственный человек № 2

В начале восьмидесятых годов польская журналистка Т. Тораньская взяла интервью у большой группы бывших членов руководства Польской Народной Республики времен Берута и Гомулки. Недавно появился первый том этих интервью (Т. Torañska, "Oni", 1985), выпущенный свободным польским издательством. Книга вызвала большой интерес и переиздана за границей. Вместе с краткими сведениями о собеседниках в нее вошли семь интервью, в том числе занявший почти половину книги разговор — точнее, спор — с Якубом Берманом, членом Политбюро ЦК ПОРП и вторым после Берута человеком на иерархической лестнице.

Мы публикуем избранные страницы из книги Терезы Тораньской.

Якуб Берман родился в Варшаве в 1901 г. в семье служащего торговой фирмы. Отец и старший брат Бермана погибли в концлагере Треблинка. Младший брат, которому удалось бежать из варшавского гетто, был участником еврейского Сопротивления в оккупированной Польше, а после войны уехал в Израиль, где стал депутатом кнессета от коммунистической партии.

Политическая карьера Я. Бермана началась в Варшавском университете, где он изучал право, а позднее защитил диссертацию на кафедре истории общественных формаций. Студентом он примкнул к левым молодежным организациям и вступил в компартию. После нападения нацистской Германии и Советского Союза на Польшу Берман перешел на советскую сторону и летом 1941 г. прибыл в Москву, был преподавателем на польских курсах при школе Коминтерна, участвовал в восстановлении польской компартии (распущенной в 1938 г. по указанию Сталина), в которой, однако, не занимал сколько-нибудь заметных постов до 1948 года. Затем он вошел в состав польской делегации на совещании Информбюро коммунистических и рабочих партий, где было принято решение о коллективизации сельского хозяйства в странах народной демократии и осуждении Тито. С этого времени Я. Берман — член Политбюро, секретариата и Оргбюро ЦК Польской объединенной рабочей партии; его "епархии" — идеология, пропаганда, культура и просвещение, а также иностранные дела и, наконец, служба безопасности. Вместе с Б. Берутом и членом Политбюро Г. Минцем он входит в руководящую тройку.

Смерть Берута (март 1956 г.) повлекла за собой и крах Бермана. Его выводят из Политбюро, а в следующем году исключают из партии вместе с бывшим министром госбезопасности Ст. Радкевичем. Он работает редактором в книжном издательстве, дожидаясь выхода на пенсию. Встречи с Т. Тораньской относятся к двум последним годам жизни Бермана (он умер глубоким стариком в 1984 г.). Текст беседы был им просмотрен и утвержден.

— Скажите, пан Берман, вот вы десять лет были вторым человеком в Польше. Вы были мозгом партии, высшим авторитетом. Потом вас обвинили в самых тяжких преступлениях, в предательстве и вычеркнули отовсюду. Как вы считаете: это нормальное явление?

– Нормальное. Человек проклят – значит его нет. Когда я находился у власти, меня поместили даже в советскую энциклопедию, а потом мое имя исчезло. Они там всегда манипулировали историей. Эти тоже – следуют тем же законам. Гомулка, который все это начинал, не проявил ко мне великодушия, не мог простить, что именно я в числе других заставил его выступить в 48 году с самокритикой. Я считал его человеком рассудительным, способным управлять своими чувствами... Радкевичу, которого исключили вместе со мной, Гомулка прислал партбилет в больницу. А мне не простили. Исключение из партии было для меня страшным ударом, я почувствовал, что со мной поступили крайне несправедливо.

– А что вы чувствовали, когда в СССР коммунистов убивали тысячами в 37 и 38 годах?

– Я считал, что чистки – это поиски выхода из тяжелой международной ситуации, в которой оказался тогда Советский Союз. Возможно, террор был вызван болезненной подозрительностью Сталина, граничившей с психическим заболеванием; возможно, он стоил ему самому тяжких терзаний. Я не пытался, впрочем, оправдывать репрессии. Просто принимал их как некое трагическое стечение обстоятельств. Но мне частенько приходилось разъяснять на собраниях смысл этих событий. Как-то раз я даже сказал: "Вспомните роман Толстого "Воскресенье". Когда Катерину осудили, Нежлюдов из чувства вины едет за ней. Между ними происходит тяжелый разговор, и внезапно она восклицает: полюби меня черненькой – беленькой меня всякий полкобит!" Короче говоря, я не верил, что вокруг все – предатели. Единственное утешение было, что когда-нибудь правда выйдет наружу и несправедливость будет исправлена.

– Каким образом?

– Ну... казненных реабилитируют.

– Как вы отнеслись к советскому вторжению в Польшу 17 сентября 1939 года?

– Официальное сообщение потрясло нас... Но мы понимали, что это необходимо. Заклучив пакт о ненападении с Гитлером, СССР действовал не из любви к этой сволочи, а чтобы как можно дольше продлить мир с немцами. Сталин понимал, что он еще не готов к столкновению с немецкой военной машиной. Я тогда еще был скромным инспектором по труду в Белостоке. Выступал, произносил речи...

– О чем, по какому случаю?

– В основном по случаю предвыборной кампании. Надо было выбрать Народное собрание Западной Белоруссии, а оно должно было принять решение о присоединении к СССР.

– Ну и как прошли выборы?

– Я бы не сказал, что с большим энтузиазмом, но все же. По-разному. Одни шли голосовать по убеждению, другие без убеждения.

– Шли, потому что боялись?

– Некоторые боялись. В общем люди понимали, что так надо. Считали, что надо быть в порядке, чтобы потом к ним никто не привязывался. Сам я считал, что нужно голосовать "за" без всяких вычеркиваний. Да иначе и невозможно было. Во Львове, говорят, можно было зайти за занавеску, прежде чем бросить бюллетень в урну, а у нас в Белостоке никаких занавесок не было.

– Скажите, а белорусы там были?

– Были, но немного. Может быть, в деревнях было больше.

– Вот я тут выписала данные из энциклопедии. До 1939 года в Белостокском воеводстве проживали 1 миллион 4370 поляков, 169 тысяч евреев и 119 тысяч 392 белоруса. В самом Белостоке было 39602 еврея, 35832 поляка и тысяча с небольшим жителей других национальностей. Белорусы, таким образом, составляли весьма малое меньшинство. Правда, эти пропорции стали быстро меняться, поляков массами сажали в тюрьмы и возили в лагерь...

— Это верно. Но я должен сказать, что в предвидении войны с немцами Советы хотели очистить территорию от ненадежных элементов.

— Когда началась война, вы переехали в Минск?

— Да, а потом я переехал в Москву. Мы, то есть группа бывших членов распушенной компартии, выступили с инициативой создания вооруженных формирований из польских коммунистов. Но советские власти колебались. Нас принял Ян Дзержинский, сын Феликса. Он был функционером Коминтерна. Симпатичный человек. Прекрасно говорил по-польски. В семье Дзержинских всегда говорили по-польски.

— Насколько я знаю, вы, пан Берман, занимались в России подготовкой кадров будущей польской коммунистической партии. Когда возникла школа Коминтерна, в которой вы преподавали?

— Весной сорок первого года, еще до начала войны. Школа находилась в Пушкине под Москвой.

— Помните ли вы Ванду Василевскую?

— Еще бы. Но Ванда уже тогда была депутатом Верховного Совета СССР и членом ВКП(б). Мы, естественно, радовались, что у нас есть такая поддержка наверху. Ванда была единственной среди всех поляков, у которой был личный телефон-”вертушка”, она могла по нему связываться с самим Сталиным. Сталин высоко ценил ее творчество. Хотя, конечно, такая дружба требовала мужества. Но мужество у нее было; я думаю, побольше, чем у членов компартии Польши, которым привычка к сверхдисциплине часто сковывала уста. Впрочем, Сталин всегда ценил людей, которые могли ему пригодиться. У Василевской были и другие влиятельные друзья — например, Хрущев, который был тогда первым секретарем компартии Украины.

— Что было с вами потом?

— Потом эвакуировались в Башкирию. Это было в сентябре 41 года. Школа разместилась в селе Кушнаренково, в 80 километрах от Уфы. Я стал руководителем польских курсов, мы готовили людей для заброса в оккупированную Польшу. У меня было высшее образование, и я был лучше других подкован по части марксизма-ленинизма и рабочего движения... К сожалению, заброс прошел неудачно: сразу после взлета самолет упал. Вдобавок возникли разногласия в руководстве группы. Если не ошибаюсь — по вопросу о том, кто должен быть в Польше наверху: военные или партия. Военным руководителем намечался Болеслав Молоец, он и уехал туда с заданием создать Гвардию, а затем Армию Людову. А первым секретарем партии должен был стать Новотко. При неудачном взлете он сломал ногу. Но в конце концов группа отбыла, и мы в Кушнаренкове пять месяцев не имели от нее никаких известий. Потом оказалось, что во время прыжка с парашютом Новотко опять сломал ногу. Радистка потеряла передатчик. Между Молойцем и Новотко нарастал конфликт, и кончилось дело трагедией: в ноябре 42 года брат Молойца Зыгмунт убил Новотко.

— По чьему приказу?

— Это для меня до сих пор загадка. Но я не верю, что кто-нибудь из них был агентом гестапо. Короче говоря, после смерти Новотко Молоец объявил себя первым секретарем партии, никаких выборов, конечно, не было... Гомулка написал обширный доклад о том, что Зыгмунт Молоец, — он был начальником разведки Гвардии Людовой, — получил от Болеслава Молойца распоряжение убить человека, с которым он должен был встретиться. Зыгмунт не знал Новотко и выполнил приказ. Потом ему вынесли за убийство смертный приговор. Потом застрелили самого Болеслава... Вообще мы мало знали о том, что происходит в Польше. Постепенно созрела мысль о формировании официального представительства — Польского национального комитета. Мы готовили почву для создания будущего правительства страны.

— А как же Лондонское правительство?

— Оно не в счет. Сталин с таким правительством никогда бы не примирился. Новое

правительство Польши должно было быть чистым, как стеклышко, не враждебным к Советскому Союзу.

— То есть должно было согласиться с тем, что русские отняли у нас чуть ли не половину страны? С убийствами и депортацией наших граждан?

— Что за чушь! А кто после Первой мировой войны угрожал молодому советскому государству? Кто двинулся на Киев, не пан ли Пилсудский?

— Прошу прощения у пана: а зачем Ленин пошел на Варшаву?

— Ну, знаете... Надо знать тогдашнюю обстановку. Польша была мостом в Германию, а в Германии назревала революционная ситуация. К сожалению, под Варшавой наступила катастрофа. Одним словом, Сталин хотел, чтобы после Второй мировой войны страна, которая будет граничить с Россией, — ведь Польшу не сотрешь с карты Европы, — была страной дружественной.

— Приходилось вам встречаться со Сталиным?

— Да, первый раз я увидел его в самом конце 43 года. Я был тогда секретарем комиссии по организации Польского национального комитета. Накануне создания комитета был устроен прием для поляков в Кремле. Сталин был для меня воплощением победы. Он нес на своих плечах всю тяжесть войны с фашизмом, он был надеждой для Польши. С его именем на устах миллионы людей шли в бой.

— Если не ошибаюсь, и в Сибирь.

— А что вы хотите? Конечно, были внутренние разногласия. Но ведь это все неважно. Сталин сокрушил Гитлера, вот что главное. История это оценит.

— Гм, гм... А как он выглядел?

— Он был низкого роста, на лице следы оспы. Откровенничать он не любил и... не всегда был искренен. В общем, умел управлять своим поведением. Говорил с сильным акцентом.

— Занимался спортом?

— Не думаю. Правда, на его дачах были разные спортивные снаряды. Мы играли там в кегли... вели веселые разговоры, шутили.

— На политические темы тоже?

— И на политические темы. Вообще-то Сталин в наших развлечениях не участвовал, появлялся только за ужином и во время демонстрации кинокартин. Для нас специально показывали кино. Он любил американские фильмы, и чтобы было много политики. Увлекался, делился впечатлениями. За ужином тоже бывал очень весел. Много ел и пил. Потом, правда, врачи ему посоветовали ограничить питье, — у него было что-то с печенью. Он стал разбавлять вино водой. Водку тоже разбавлял. Каждое наше посещение заканчивалось ужином, потом — кино. Ужин начинался поздно вечером и продолжался далеко за полночь. А какие кушанья! Помню великолепное медвежье жаркое. Превосходные напитки в неограниченном количестве. Меня всегда приглашали с Берутом. Иногда бывали социалисты: возникла мысль о создании единого фронта коммунистов и социалистов, Сталин хотел добиться их расположения. Рядом со Сталиным всегда сидел Берут, за Берутом — я. Сталин провозглашал тосты, сначала — "за товарища Берута", потом "за товарища Бермана", правда, уже не с такой сердечностью. Потом ставил пластинки, в основном с грузинской музыкой: очень ее любил. Однажды, это было уже после войны, кажется, в 48-м, я танцевал с Молотовым.

— Вы хотите сказать — с Молотовой?

— Нет, Молотовой, то есть Жемчужиной, не было: сидела в лагере. Я танцевал с Молотовым вальс или даже что-то совсем простенькое, я в танцах не разбираюсь, — так, ногами двигал. А Молотов танцевал неплохо. Он меня вел, иначе у меня ничего бы не получилось.

— И Сталин танцевал?

– Нет, что вы. Он заводил патефон. Ставил пластинки и смотрел, как мы танцуем; не отходил от патефона.

– Весело было?

– Весело-то весело. Но с внутренним напряжением. Кто по-настоящему веселился, так это Сталин. Для нас эти танцы были удобным случаем, чтобы поговорить друг с другом о вещах, которые обсуждать вслух не полагалось. Молотов, например, предупреждал меня против связей с враждебными организациями. Это называлось дружеским предостережением; специально для этого пригласил на танец. Так, бросил мимоходом несколько многозначительных слов. Я ничего не ответил, но, конечно, принял к сведению.

– Бывали ли на этих приемах женщины?

– Никогда. В окружении Сталина вообще женщин не было. Сталин очень заботился, чтобы о нем не ходило никаких сплетен...

– А кто вас обслуживал?

– При мне были официантки, одетые в обычную одежду. Однажды какая-то девушка, подавая чай, замешкалась возле нас. Сталин вдруг взорвался: "Чего она тут подслушивает!" Никогда не видел его таким.

– Я бы хотела задать пану несколько вопросов касательно тогдашней советской политики по отношению к Польше. Если не ошибаюсь, она преследовала двойную цель: не только изолировать Лондонское правительство, но и вбить клин между созданным в Москве Центральным бюро польских коммунистов и воссозданной на территории Польши Крайовой Радой Народовой. На этом фоне возник Польский комитет национального освобождения. Кажется, вы написали для него манифест?

– Да, текст был составлен мною.

– Его нужно было обязательно согласовать со Сталиным? На таком высоком уровне?

– Конечно. Я не понимаю, чему вы удивляетесь. Сталин не мог не интересоваться ситуацией в Польше, и речь шла о том, чтобы растолковать Сталину, вообще всему советскому руководству эту ситуацию и нашу точку зрения, не совпадавшую с их жизненным опытом. Они, понимаете ли, жили воспоминаниями молодости. Свою аграрную реформу, то есть коллективизацию, считали образцом, достойным подражания. Они требовали, чтобы было объявлено, что землей будут наделены не только бедняки, но и середняки. В Польше для этого не хватило бы земли. Но они уперлись на своем... Ведь у них было много кулацких земель и вообще огромная территория. В конце концов мы нашли решение: в текст "Июльского манифеста" был включен параграф о наделении землей многолетних середняков.

– Да, но ведь вы же провозглашали, что Польша станет независимой.

– А причем тут независимость? Согласование манифеста и аграрной реформы – это одно, а независимость – совсем другое! Они ведь нам только советовали, они заботились о нас и хотели, чтобы и в Польше произошла такая же революция, как у них, которую они считали самой лучшей, потому что они победили. А чтобы Польша была независимой, – этого они хотели так же, как и мы. Сталин заявил об этом еще в мае 43 года, в ответах на вопросы корреспондента "Нью-Йорк таймс".

– Мне снова придется просить прощения у пана: до войны с Германией Сталин этого вовсе не желал. 31 октября 1939 года Молотов гремел на заседании Верховного Совета: "От этого уродливого детища Версальского договора ничего не осталось, продолжать войну под флагом восстановления польского государства бессмысленно..."

– Минуточку, пани Тереза. Не надо торопиться... Это правда, что еще даже в сорок втором году, даже в начале сорок третьего проталкивалась идея 17-й союзной республики. Ее, между прочим, поддерживала Софья Дзержинская. Однако сам Сталин, хотя и стремился к тому, чтобы Польша была связана тесной дружбой с Советским Союзом,

вовсе не настаивал на идее, что Польша должна войти в него. Он был достаточно сообразителен, чтобы понять, что этот лозунг нецелесообразен. Интересы антигитлеровской коалиции требовали гарантии каждому народу права на самостоятельное существование. Дело Польши было делом не только Советов, но и всего мира.

— Почему Берут ничего не ответил на призыв Миколайчика о помощи гибнущей Варшаве, в августе 44-го года?¹

— А что он мог ответить? Что было важнее: спасти Варшаву, — то есть предпринять сверхчеловеческие усилия, стягивать рассредоточенные войска, — или перечеркнуть далекоидущие планы Черчилля, который хотел вторгнуться на Балканы и отхватить пол-Европы? Это вам сейчас легко рассуждать... Гомулка вел себя точно слепой. Мы лучше знали, как надо в этих случаях разговаривать с советскими товарищами, но наше давление с целью помочь Варшаве ничего бы не дало. Хоть головой об стенку бейся — ничего б не вышло.

— Но ведь вы и не пробовали.

— Проще пани! Откуда такой вывод?

— Трагедия Варшавы была выгодна и для Советского Союза, и для вас. Руками немцев вы ослабили Армию Крайову, то есть потенциального противника коммунистической партии. А кроме того, это был замечательный аргумент против польского правительства в Лондоне, которое организовало восстание и тем самым погубило тысячи людей и самый город.

— Да, мы, во всяком случае, к восстанию не призывали. Нас даже не предупредили. Мы отдавали себе отчет в том, к каким последствиям приведет то, что мы вступили в союз с такой мощной державой, как Россия. Мы должны были примириться с тем, что ее перевес над нами будет очень велик. Но тогда, в 44—45 годах, главное было выиграть войну. Ясно было, что при определении будущих границ помощь Сталина будет неоценимой. Мы хотели ее использовать для блага страны.

— Отдать Вильнюс и Львов?

— На другие восточные границы, кроме тех, которые предлагал Сталин, не было никаких шансов...

— А кто вам, собственно, дал право распоряжаться польскими землями?

— Пани Тереза, вы оперируете фикциями. Планы, которые можно было строить после Первой мировой войны, после Второй стали абсурдом. Дело не в праве, а в реальности. Реальностью были соглашения Большой тройки в Тегеране и Ялте.

— Безусловно, но я хочу напомнить пану, что эти земли вы отдали еще в 39 году. И вы не только не поддержали польское правительство в его драматических усилиях сохранить хотя бы часть этих земель, но и, мягко говоря, препятствовали этому...

— Чепуха! Какое значение имело наше согласие или несогласие? Потерю восточных земель предрешил ход войны. Дискуссия по этому вопросу в 1944 и 45 годах была бы антиисторической. Конечно, мы понимали, что, как любой политик, Сталин будет исходить прежде всего из интересов собственной страны. Но они совпадали с нашими интересами, ибо мы стремились к признанию за Польшей западных земель, к достижению исторических целей Польши. Был, например, спор с немецкими товарищами из-за Щецина, они хотели оставить его за Германией. Но решила все позиция Советского Союза.

— И в итоге получилось, что Польша, которая все-таки выиграла войну, — не так ли? — стала меньше довоенной на 22%, а Германия, проигравшая войну, стала меньше на 18%.

— Расчеты эти произвольные и наивные. Мы получили земли богаче тех, которые оставили. Получили много фабрик...

¹ О разгроме польского восстания 1944 г. см. воспоминания ген. Бур-Коморовского "Гибель Варшавы" ("Страна и мир", 1984, №№ 8—9) и материалы, помещенные в № 9, 1984.

— А сколько из них было вывезено в СССР?

— Вы что, не понимаете, что шла война?.. Но я еще раз подчеркиваю, что Сталин нас хорошо понимал и помогал нам. Вот вам один пример: когда наши вошли в Хелм и Люблин, генерал Жуков — не тот Жуков, а другой, из НКВД, — отдал приказ польскому населению сдать все радиоприемники. Потом, когда Минц встретился со Сталиным, он рассказал ему об этом. Сталин произнес только одно слово: "Убрать!" И Жукова мгновенно сняли. Послали его в Новосибирск, в управление госбезопасности.

— Почему польских граждан отправляли в советские лагеря?

— Верно, отправляли. Но только в порядке самозащиты, и притом в первые горячие месяцы.

— Могу сообщить пану, что по лондонским источникам, вывезли сорок тысяч человек. Среди них был мой отец.

— Сожалею. Он вернулся?

— Да, через три года. Я могла бы вам привести факты невероятной жестокости...

— Не знаю я никаких фактов...

— ...но лучше процитирую книгу Кристины Керстен "Политическая история Польши 1944—1956 гг.". Послушайте, что она пишет: "Размах репрессий был огромным и лишь отчасти был вызван сопротивлением, с которым столкнулись власти. Репрессии распространялись не только на людей, выступавших с оружием в руках, но и на тех, кто занимался политической деятельностью, не выходящей за рамки свобод, какие были гарантированы ялтинскими соглашениями. Особенно пострадало сельское население". Она приводит цифры: 50, а перед выборами в сейм — 100 смертных приговоров ежемесячно. Объявления о них печатал "Глос люду" рядом с ценами на лук и картофель. Сто, а по более поздним данным польского МВД, сто пятьдесят тысяч человек сидело в тюрьмах и подвалах Управления госбезопасности.

— Глупости она пишет. Мне эти цифры неизвестны. Но давайте рассуждать добросовестно. Во-первых, в Польше происходила революция. У революции всегда есть жертвы. Вспомните Французскую революцию. Вы, конечно, скажете, что во Франции революцию поддерживали широкие слои, а у нас — нет. Это неправда. У нас тоже были сторонники. Во-вторых, мы, коммунисты, пришли к власти в сложной и шаткой обстановке, мы вели гражданскую войну. В нас стреляли, и мы стреляли. Много активистов партии погибло. Мою жену, кстати, тоже однажды задержали.

— Но отпустили.

— Ну и что! Одних отпускали, других нет. Вопрос стоял так: или мы, или они. Я не отрицаю идейного запала у тех молодых парней, которые воевали в лесах. Но они воевали за неправо дело, заведомо проигранное.

— Этих парней, пан Берман, было 20 тысяч, причем в лесах — едва ли несколько тысяч. В кого же вы стреляли?

— Сколько их было, я не знаю. А стреляли мы, потому что ничего другого не оставалось. Что нам было делать: дать перестрелять себя? Или поднять руки? Вот это действительно привело бы к катастрофе. Вошли бы советские войска и раздавили бы всех. Всех! Вам это понятно?

— Почему вы не обнародовали правду о результатах выборов в сейм?

— Потому что у нас не было выбора. Мы должны были остаться у власти любой ценой. Поэтому мы не могли и не можем исходить из критерия большинства. Нам некому было уступить власть, и сейчас некому ее уступить. Даже если бы захотели.

— Не понимаю.

— Ах, вы не понимаете. Так я вам скажу. Кому мы должны были передать власть? Может быть, Миколайчику? Или тем, кто еще правее? По-вашему, это неуважение к демократии; ну и что? Кому нужна такая демократия? Даже теперь мы не можем провести свободных выборов, теперь еще меньше, чем десять или двадцать лет назад, — про-

играем. В этом я не сомневаюсь. Так какой же смысл?.. Вы хотите, чтобы мы выглядели этакими сверхджентльменами, чтобы мы сняли цилиндры, поклонились и сказали: "Пожалуйста, забирайте власть, а мы удаляемся!"

— Ну...

— Что "ну"?

— Так и надо было поступить, именно так, пан Берман.

— Вы так думаете? Мне не хочется употреблять грубых слов...

— Тогда я их скажу. Вас тут ненавидят.

— Проще пани, политика — дело неприятное, ею занимаются не для того, чтобы вас любили. Да, дела у нас сейчас неважные. Но есть, по крайней мере, какая-то перспектива. И мы найдем выход из положения, уверяю вас. Польша не погибнет.

— Но ведь именно вас считают причиной всех несчастий, которые обрушились на народ. Неужели вы этого не видите?

— Да поймите вы, наконец: нельзя мыслить категориями прошлого века! Возникли две сверхдержавы, со своими сферами влияния. Мы оказались в советской сфере... Люди у нас, несомненно, перегружены комплексами, каких нет ни у чехов, ни у румын, ни даже у венгров. Но надо же понимать, в каком мире мы живем. Польша не может оставаться такой, какой она была до войны.

— Скажите, а вы не могли бы перехитрить Советский Союз?

— Почему мы должны их обманывать?

— Чтобы не обманывать нас.

— Мы никого не обманывали.

— Ах вот как. Вы никого не обманывали. А что вы писали в вашем "Июльском манифесте"? Я цитирую: "Польский комитет национального освобождения торжественно провозглашает возвращение всех демократических свобод, равенство всех граждан без различия расы, вероисповедания и национальности, свободу совести, печати, политических и профессиональных организаций".

— Вы не учитываете момента, когда был опубликован этот документ...

— Позвольте мне продолжить. Годом позже, в сорок пятом, в Москве шли переговоры с Миколайчиком о том, чтобы заменить Крайову Радун Народову Временным правительством национального единства. Вы тогда согласились, что в правительство войдут четыре партии довоенной коалиции, обещали, что крестьянская партия получит треть постов, обещали выборы в сейм на основе всеобщего тайного, равного, прямого и пропорционального голосования. Ничего из этого не было выполнено. Вы объявили амнистию для солдат Армии Крайовой, чтобы выявить их и арестовать. Вы дали обещание, что Красная армия, а с ней и все учреждения иностранных государств уйдут из страны, — и тоже его не сдержали.

— Что вы, собственно, хотите доказать?

— Что вы лжете, беспрерывно лжете.

— Пани Тереза, мы говорим о разных проблемах и о разных временах. Но наша цель, цель всех коммунистов, была всегда одна: создать новую Польшу, национально однородную, единую, грамотную, с современной промышленностью, с высоким уровнем цивилизации, который откроет возможности социального развития для миллионов людей.

— Да, и чтобы достичь этой цели, вам понадобилось сжечь в селе Вонвольница Пулавского уезда 300 дворов, вам понадобилось пытаться узников в Бохне, бить по пяткам заключенных в Кракове, Лодзи, Рыбнике! В 45 и 46 году на вашей стороне было 300 тысяч солдат Красной Армии, 250 тысяч карательных войск госбезопасности, 120 тысяч — милиция, 200 тысяч — ваша армия и 350 тысяч членов партии. Против вас 24-миллионный народ, измученный оккупацией, но еще не покоренный, Крестьянская партия Миколайчика — 800 тысяч, социалистическая партия — 200 тысяч и, наконец, католическая

церковь, поддерживаемая девятью десятыми населения. Вы говорите, что ваша цель — создать единую, новую и справедливую Польшу. Для этого в сентябре 45 года комендант управления безопасности в Бохне убил городского голову, председателя крестьянской организации, директора молокозавода, застрелил члена местного исполкома Крестьянской партии Шидловского, причем перед смертью ему вырвали язык, вырвали ногти, раскаленной кочергой выжгли глаза. Старосту села Сарнаки служба безопасности убила на глазах односельчан и сожгла его дом...

— Злоупотребления были, конечно, но главным образом в первый период. Угроза рождает страх, что же вы хотите.

— Кстати, о крестьянах. Могу ли я спросить пана, как он относится к коллективизации?

— Мы не хотели проводить коллективизацию по советскому образцу, то есть принудительно и под угрозой репрессий. Конечно, можно понять, почему в СССР коллективизация приняла такой характер... Мы не хотели этого повторять. Мы понимали, что колхозы для наших крестьян — это пугало. Но ведь в Венгрии, Чехословакии, ГДР крестьяне как-то смирились с этим. Чувство собственности — это не то, без чего невозможно жить, чего нельзя в себе переломить...

— А зачем ломать?

— Чтобы лучше жить! Мы хотели, чтобы крестьянин сам убедился, что труд в производственном кооперативе создает ему лучшие условия жизни.

— Значит, семь, или сколько там, миллионов крестьян в СССР уморили голодом ради заботы о человеке?

— Будем откровенны, крестьянин тоже может взять нас за горло. Как заставить его отдать хлеб?

— Но на Западе он отдает.

— Там другой уровень производства.

— Сколько кооперативов вам удалось создать?

— Немного. Кооперация охватила не больше 13% крестьян, но в пятьдесят шестом году почти все они самораспустились.

— У меня вот какой вопрос, пан Берман... Кто планировал строительство лагерей для "космополитов" на Мазурских болотах в 50 году?

— Я что-то слышал об этом, но позже. Может быть, это был просто слух.

— А о строительстве тюрьмы для "космополитов" вы слышали?

— Нет, нет, это слухи.

— Возможно, вам просто не сообщили об этом?

— Возможно. Я ведь и сам был под подозрением. Но надо сказать, что Берут проявил твердость характера и до конца защищал меня, хотя Сталин сильно нажимал на него. Беруту пришлось испытать весьма жестокие формы нажима.

— Какие?

— Этого я вам не скажу.

— Берут не испугался?

— М-м, у него были минуты слабости... Но я не хочу говорить об этом. В целом, конечно, борьба с космополитизмом в Польше велась. Приходилось следовать советскому образцу... Идея падала, впрочем, на хорошую почву, польское общество в массе своей настроено весьма антисемитски.

— И это говорите вы?

— Что же делать, это, увы, правда. Моей дочке не раз говорили в школе, что от нее воняет селедкой.

— Вас это удивляло?

— Как и Берут, я был против того, чтобы евреи скапливались в определенных

сферах, но считал это неизбежным злом, на которое нас обрек бойкот польской интеллигенции после того, как мы пришли к власти.

– Вам известно, что зимой 1948–49 года были арестованы члены Совета помощи евреям "Жегота", созданного когда-то при Армии Крайовой?

– Да. Но волна арестов охватила все организации, так или иначе связанные с АК.

– Пан Берман, подумайте, что вы говорите: управление безопасности, где почти все начальники отделов были евреями, арестует поляков за то, что во время оккупации они помогали евреям, а вы утверждаете, что все поляки – антисемиты.

– Конечно, это было очень плохо. Таких людей было немного, но они проявили истинную самоотверженность, помогая евреям, несмотря на смертельную опасность. Я сам знал женщину, которая вытащила из гетто больше десяти еврейских детей. Мой брат Адольф тоже был активистом "Жеготы".

– Он эмигрировал в Израиль? Как вы к этому отнеслись?

– Конечно, меня интересовало, что там происходит, и брат меня горячо убеждал уехать. Израиль, вероятно, заслуживает внимания и интереса, но я от этой экскурсии отказался. Взвесил все за и против и решил, что нет смысла.

– Поговорим немного о вашей повседневной жизни. Вы жили на Кленовой улице.

– Да, нижний этаж занимал я, а выше была квартира Берута. У меня было четыре комнаты и просторный холл. В 54 году мне предоставили дачу. Она была рядом с дачей Радкевича и напротив дачи Берута. Жизнь я вел в общем спокойную. Вставал в половине восьмого или в восемь. Завтракал, потом мы с женой ехали на работу. Я в ЦК или в Совет министров, а она – в Институт ревматологии. Была у нас работница. В министерстве безопасности был отдел охраны правительства, он устраивал нам отдых, служебные поездки, присылал работниц и охрану. У меня лично было четыре-пять охранников, все имели определенные задания и находились при мне посменно круглые сутки.

– Кто их назначал?

– Мне об этом не докладывали. Конечно, они собирали информацию обо всех, кого они опекали. Когда и где я бываю, кто ко мне приходит.

– Ваши беседы подслушивались?

– Не думаю. Между тремя и четырьмя я возвращался домой, обедал с женой и дочерью и возвращался в ЦК. Иногда заезжал домой поужинать, но чаще всего питался бутербродами, которые приносили мне в кабинет. Кабинеты, один в Совете министров, другой в ЦК, были большие, больше этой комнаты. Два телефона, один обычный, городской, другой – ВЧ, специальный, по которому можно было заказывать разговоры с Москвой... С шести вечера до часу ночи все ждали телефона от Сталина. В воскресенье устраивались товарищеские встречи с другими членами Политбюро, я в основном общался с Минцем и Берутом. Ходили друг к другу обедать, ужинать, выпить чаю. Летом было свободнее, можно было гулять на даче, но недалеко, в пределах нашего закрытого участка. Надо признать, возможности общения были у нас небогатыми.

– Говорили ли вы между собой об арестованных товарищах?

– Не говорили, но понимали, что опасность растет. В 52 году прошли страшные процессы: дело "космополитов" в Москве – 23 смертных приговора, процесс Сланского и Клементиса в Праге и другие. 14 января 1953 г. было объявлено о раскрытии заговора кремлевских врачей... Однажды ко мне пришел Зыгмунт Модзелевский по поводу группы Комара... Слушай, сказал я ему, сейчас ничего не могу сделать: сам понимаешь – ситуация не та. Но я тебе обещаю, через год-полтора мне удастся их вытащить. И удалось.

– Насколько я понимаю, самое худшее началось после 5 марта, когда перестало биться сердце вождя человечества и лучшего друга польского народа? Хотя началось вроде бы невинно: например, сменили 7 марта название Катовице на Сталиноград.

– По глупости. Я воздержался при голосовании...

— А затем расстреляли 19 офицеров из числа приговоренных к смертной казни еще при жизни Сталина.

— Не будем об этом, пани Тереза... Дело скверное и выставило бы в плохом свете Берута, который был человеком благородным и благодаря которому я сейчас имею возможность беседовать с вами...

— Наконец, пришла очередь Церкви: 28 сентября вы арестовали примаса Вышинского.

— Что было делать? Я противился этому, но повлиять на решение не мог.

— Как вы оцениваете роль Гомулки?

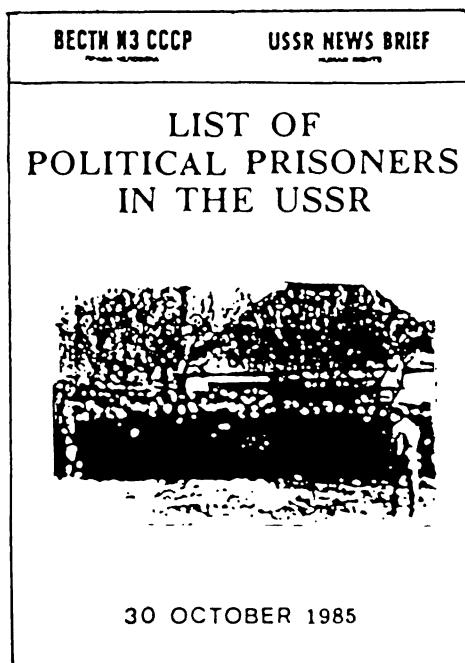
— Гомулка в конце концов понял, что только иллюзии сплотили вокруг него поляков. При этом он мыслил узко, был слишком самоуверен, организаторских способностей никаких... И вот поднялась волна этих настроений, движение за независимость. Эту волну надо задержать любой ценой, иначе она поглотит нас.

— Сколько же вы намерены с ней бороться?

— Сколько надо, столько и будем бороться. Хоть сто лет!

— Но ее не удалось подавить и за сто пятьдесят лет.

— Удастся. Народ должен в конце концов принять новое государство. Должен! ●



Издательство "Страна и мир" выпустило в свет на русском и английском языках "Список политзаключенных СССР", выпуск 7 (по состоянию на 30 октября 1985 г.). В списке приведены основные биографические сведения о 837 политических заключенных, известных поименно, указано место заключения, сообщаются сведения о семье. Даны фотографии многих политзаключенных.

К списку приложен справочный материал: таблица статей Уголовных кодексов союзных республик, применяемых к политзаключенным, фотографии и планы основных мест заключения, таблицы официальных индексов мест заключения, сведения о режиме содержания заключенных.

Стоимость "Списка" — 30 н.м., вне Европы 12 долл. (включая пересылку авиапочтой), в Австралии и Новой Зеландии 13 долл.

ДВА ПИСЬМА ИЗ ПАРИЖА

1. Неожиданный лауреат

Среди кандидатов на Нобелевскую премию 1985 года было много сильных писателей. Из французов можно назвать двух женщин: Маргариту Юрсенар, единственную женщину, избранную во Французскую Академию (недавно в СССР вышли два ее послевоенных романа), и Натали Саррот (собственно Наталию Ильиничну Черняк), автора романов "Планетарий", "Золотые плоды", "Между жизнью и смертью", также более или менее известных советскому читателю. Из других, которым могла быть присуждена Нобелевская премия, обсуждались Жоржи Амаду (Бразилия), Хорхе Луис Борхес (Аргентина), Гюнтер Грасс (ФРГ), Чингиз Айтматов (СССР). Нобелевский комитет принял решение, удивившее многих: награды удостоен Клод Симон, семидесятидвухлетний французский прозаик.

Французская пресса, недоумевая, все же ликовала. Франция была отмечена Нобелевской премией в последний раз более двадцати лет назад: ее присудили Жану-Полу Сартру, который, однако, тогда же, в 1964 году, отказался от звания лауреата. Знаменитый философ, драматург и прозаик выразил негодование по поводу того, что премия еще не присуждалась Михаилу Шолохову (то был момент марксистско-маоистских увлечений Сартра); что же, Нобелевский комитет свое упущение наверстал; в следующем, 1965 году лауреатом стал Шолохов, поставив Комитет в трудное положение: появились данные о том, что рукопись "Тихого Дона" украдена или во всяком случае не принадлежит ее официальному автору. Так или иначе, два десятилетия французов обходили; они к этому не привыкли: ведь именно француз получил самую первую Нобелевскую премию — в 1901 году (Сюлли-Прюдом), а затем лауреатами были М.Метерлинк (1911), Р.Роллан (1915), А.Франс (1921), А.Бергсон (1927), Р.Мартен дю Гар (1937), А.Жид (1947), Ф.Мориак (1952), А.Камю (1957), Сен-Жон Перс (1960); перерывы редко превышали десятилетие. После Сартра прошло более двадцати лет, да и то премия как бы недействительна, выходит — 25 лет. Что случилось? Неужели так измельчала и ослабела французская словесность? Куда делись ее силачи? Между тем и в этот период во Франции были неплохие писатели: Арагон, Эрве Базен, Морис Дрюон, Ален Роб-Грийе, Веркор, Симона де Бовуар, Робер Мерль, Жан Ануй, еще кое-кто; но, конечно, это не тот уровень, который был прежде свойственен французской литературе, — за исключением разве что Арагона, блистательного поэта и превосходного прозаика, который, к сожалению, безнадежно запачкал свою репутацию многолетней сознательной ложью во имя и в защиту компартии.

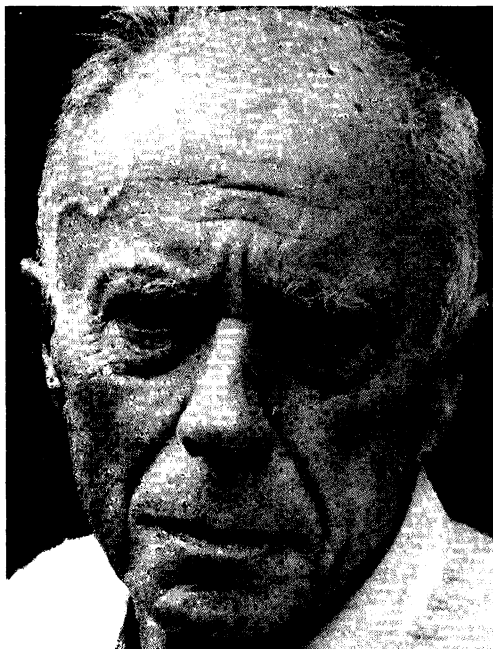
Премия Клоду Симону прежде всего удивила. Многие французы никогда о нем не слышали. Бывало, что задавали вопрос: "Мужчина это или женщина?" (Имя Клод может быть и женским и мужским — сравни русское имя Клавдий.) В весьма подробном "Словаре авторов всех времен и стран" издательства Лафон (1980, 4 тома) есть на "С" статья о Сименоне, о Манесе Шпербере (Спербере), Анне Зегерс, Леопольде Сенгоре, Игнацио Силоне, Солженицыне и даже о Сергееве-Ценском, — Клод Симон там не упоминается. Он писатель малоизвестный. Он очень сложен, читать его приходится с трудом, очень медленно. Тем не менее выбор Нобелевского комитета понять можно: Симон — подлинный открыватель новых путей во французской, да и мировой прозе.

Клод Симон, уроженец Мадагаскара, в то время французской колонии, познал немало невзгод, на которые так щедро наше столетие: был на войне в Испании, попал в

плен к немцам в начале Мировой войны, бежал из лагеря, принял участие в Сопротивлении. Начал печататься сразу после войны: в 1946 году появился его первый роман "Шулер", за которым последовали "Натянутая нить" (1947), "Гулливвер" (1952), "Весна священная" (1954), "Ветер" (1957), "Трава" (1958), "Дорога Фландрии" (1960), "Где поет лес" (1961), "Отель Палас" (1962), "Георгики", "Фарсальская битва" (1969) и другие. Писатели и исследователи присматривались к нему с любопытством и вниманием: он с самого начала работал по-новому и интересно.

Главная идея Клода Симона сформулирована им самим со ссылкой на Л.Н.Толстого, которого он считает своим учителем: в "Войне и мире" Толстой замечает, что здоровый человек усваивает, вспоминает, воображает бесчисленное множество вещей **о д н о в р е м е н н о**. Намерение Симона — передать эту одновременность переживаний, воспоминаний и мыслей. Как этого добиться? Ведь язык линейен: слово следует за словом, фраза за фразой, сменяя друг друга во времени; передать синхронность событий язык, строго говоря, не в состоянии. Клод Симон пришел к необходимости преобразовать язык, то есть по возможности лишить его линейности — ликвидировав привычный синтаксис, убрав искусственно членящую речь пунктуацию, перемешав фразы между собой. В одном из недавних интервью он вновь утверждает необходимость показывать множество мыслей и внутренних событий, протекающих одновременно; вот что он говорит: "Единственная подлинно реалистическая живопись — это кубизм синтетического периода; мы воспринимаем окружающий нас мир крохотными фрагментами, которые соединяются в нечто целое посредством нашего рассудка и наших привычек, — именно это помогает нам преодолеть ужас раздробленности... Не думайте, — продолжает Симон, — что только война ужасна; катастрофа ощутима и в повседневном быту." Клод Симон — из числа тех немногих (а может быть, и не столь уж немногих) писателей, которые сознательно опираются на продуманную философскую основу. С его философией можно не соглашаться, но нельзя не видеть ее цельности и независимости. В систему симоновского мировоззрения входит, например, решительное отрицание причинности и хронологической связи событий — двух принципов, определяющих композицию классического реалистического романа. Впрочем, термин **р о м а н** Клод Симон тоже отвергает: еще Мопассан говорил, что если одно и то же слово "роман" относится к "Принцессе Клевской", "Кандиду", "Дон-Кихоту", "Пармской обители" и "Госпоже Бовари", то это слово теряет вообще всякий смысл. Кл.Симон видит свою задачу не в сочинении романов, а в том, чтобы "упорядочить хаос". "Писание, — говорит он, — похоже на игру в мяч, когда его ударяешь ракеткой об стену; он всегда возвращается самым неожиданным образом, — ведь поверхность стены покрыта шишками, буграми и щелями." Интересно и его оценка языка: язык лжет, когда прикидывается правдивым; всякое слово — метафора. Писатель, полагающий, что он "реалист", жестоко обманывает себя и других; реальность — это удивительная и загадочная смесь объективно существующих вещей, субъективных воспоминаний из разных эпох жизни и воображенных, фантастических картин. Трудно отъединить настоящее от истории, невозможно определить момент, когда настоящее уходит в прошлое, чтобы стать историей.

Шведская академия отметила на этот раз не писателя-гражданина, каким был, к примеру, Ромен Роллан, не социального критика, как Роже Мартен дю Гар, не моралиста и автора философских притч, как Альбер Камю, или творца космических поэм, как Сен-Жон Перс. Она увенчала Нобелевской премией писателя, достигшего пределов индивидуалистического сознания, отказавшегося от всего, что общепринято: от логики до языка. Нобелевский лауреат этого года — писатель, не похожий ни на кого из своих предшественников и современников. В этом смысле выбор Нобелевского комитета представляет резкий контраст с советскими принципами отбора. В СССР господствует критерий общепонятности, то есть традиционной привычности. В решении Нобелевского комитета очевиден иной принцип: признание абсолютной ценности индивидуального художественно-философского мира.



Кл. Симон



Ф. Бродель

2. Фернан Бродель

На исходе только что закончившегося года Франция потеряла одного из своих крупнейших ученых и мыслителей: 28 ноября умер в возрасте 83 лет Фернан Бродель, глава современной исторической школы, известной под названием "Школа Анналов". Влияние Броделя распространилось далеко за пределы Франции, в Америке он прославился раньше, чем у себя на родине: в Нью-Йоркском университете давно существует научный центр имени Фернана Броделя. Его сочинения переведены на многие языки, без упоминания о нем не обходится ни одно солидное историческое исследование. Фернан Бродель был человеком исключительных способностей и неправдоподобной памяти. Свое первое и, пожалуй, важнейшее сочинение "Средиземноморье и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II" — он написал в немецком лагере для военнопленных в районе Майнца, а потом в окрестностях Любека, где провел в общей сложности пять лет, с 1940 по 1945 год. В лагере, разумеется, не было ни библиотек, ни даже вообще каких-либо книг, не было ученых собеседников, справочников и архивов. Были знания, накопленные за предыдущие годы, — Бродель попал в плен зрелым человеком, ему уже было под сорок, — и была колоссальная память, хранившая бесчисленные факты из множества областей. Эту диссертацию он защитит в 1947 году, а в 1949 году она выйдет книгой. В том же 1949 Фернан Бродель будет избран профессором Коллеж де Франс, — более высокого признания научных заслуг Франция не знает. Тридцать пять лет спустя, в 1984 году, Броделя изберут членом Французской Академии — на этот раз не только как ученого, но и как писателя: его историческая проза признана лучшей после Мишле и Токвиля.

Фернан Бродель написал не так много: первую его книгу я уже назвал; вторая озаглавлена "Материальная цивилизация. Экономика и капитализм XV—XVIII вв."; это трехтомное исследование появилось в 1979 году, через 30 лет после первой книги. Тридцать лет! Все это время Фернан Бродель писал свое сочинение о капитализме, ускорить работу он не мог. Его исторический метод требует времени. Историографию Броделя

иногда называют т о т а л ь н о й историей; Бродель привлекает к изучению эпохи, помимо того, что принято называть собственно историей, еще и географию, геологию, социологию, экономику, лингвистику, культурологию, историю верований и церквей, антропологию, даже биологию и медицину, не говоря уже о философии, литературе, фольклоре и этнографии. С его точки зрения, следует сразу отбросить два типа историографии как явно ненаучные. Во-первых, это развлекательные исторические сочинения, повествующие о жизни монархов или иных знаменитостей, о сражениях, переворотах, бракосочетаниях, убийствах; все это может быть интересным, но составляет лишь поверхность, пену истории. Второй не удовлетворяющий требованиям науки тип произведений — абстрактные труды, сосредоточенные на общих закономерностях и проходящие мимо конкретной жизни людей; таковы, в частности, многие марксистские исследования. Незадолго до смерти Ф.Броделя было опубликовано интервью, которое он дал одному канадскому журналисту. Ученому был задан вопрос: "Ваш подход к истории — материалистический?" Бродель ответил с резкостью: "Нет и нет! Я не сторонник исторического материализма. Я материалист, но совсем в ином смысле, чем это понимают марксисты. Я сторонник философии, различающей базис и надстройку. Но вот в чем разница между мной и последователями Маркса: я не думаю, что базис определяет надстройку. Надстроечные структуры по крайней мере столь же весомы и значительны. Для меня капитализм — это надстройка, это культура, это образ жизни..."

О своих принципиальных расхождениях с марксизмом Бродель говорил не раз, — это казалось ему тем более важным, что одни оппоненты причисляют его к марксистам, другие — к "американцам". На его чуждость марксизму указывали не раз французские историки-коммунисты, которые несколько десятилетий подряд всячески поносили Фернана Броделя, обличая его "ползучий эмпиризм" и мнимую буржуазность. В том же интервью Бродель заметил: "Недавно я, перелистав книгу о французской компартии и интеллигенции, обнаружил, что коммунисты нападали на меня в десять раз больше, чем я думал. Я этого не знал. Но, признаюсь, я к этому более чем равнодушен."

Исторический метод Броделя основан на учете трех различных временных форм; в соответствии с этим и его "Средиземноморье" разделено на три части. В первой части Время почти не движется; здесь речь идет о взаимоотношениях человека с окружающей его географической средой: горами, лесами, островами, пустынями; изучается оседлый и кочевой образ жизни, жилище, все виды отношений человека и климата. Во второй части Время более динамично; здесь идет речь о социальных отношениях: рассматриваются экономика, демография, денежная система, цены, торговля, транспорт, отношения между мусульманами и евреями, капитализмом и войной. Третья часть посвящена традиционной истории: здесь повествуется об отречениях Карла V от престола, о войне с турками, о сражении при Лепанто, о смерти Филиппа. Этот событийный слой имеет для Броделя смысл лишь постольку, поскольку он опирается на два нижних слоя; в этом верхнем слое истории Время течет стремительно и бурно. У Броделя история движется по-разному, тремя разными темпами, которые, однако, взаимодействуют, влияя друг на друга, как вообще все и вся в его книгах. В них не бывает сухих абстракций, потому что любое обобщение сохраняет связь с повседневной жизнью людей и имеет в виду реальную множественность событий. Вместе с тем эта история не вырождается в фактологию, у Броделя нет раздробленности, засилья несущественных мелочей, потому что бесчисленные детали освещены целесообразностью общего развития.

Своими учителями и предшественниками Фернан Бродель считал Люсьена Февра и известного русскому читателю Марка Блоха, расстрелянного нацистами во время оккупации, так как он был еврей. Однако и Блох, и Февр были склонны подчинять историю все гуманитарное знание, им был присущ своего рода империализм, или, как говорит Бродель, оба стремились превратить другие науки — социологию, экономику, географию — в колониальные владения истории. Намерение Броделя противоположно: не

устанавливать над гуманитарными науками опеку истории, а скорее подчинить историю гуманитарным наукам, создать некую меж- или сверхнауку (*interscience*), которая вобрала бы в себя историю и все другие дисциплины. "Меня, — признавался Бродель, — страстно увлекает именно эта проблема связей и соединений." Может быть, одна из причин многолетнего игнорирования Фернана Броделя во Франции — в том, что здесь давно и прочно царил антиисторизм структуралистов, между тем как с точки зрения Броделя вне истории не существует ни одной гуманитарной области: ни социальной психологии, ни социологии, ни экономики, ни даже политики.

В последние годы Ф.Бродель писал "Историю Франции", — из трех намеченных томов он успел закончить один. Но и те отрывки, которые увидели свет вслед за кончиной автора, говорят о большой актуальности этой его последней книги — что, однако, не повредило ее научности. Предсмертный труд Броделя выйдет под заглавием "Национальное самосознание Франции" (*L'Identité de la France*). Историк размышляет, в частности, над тем, что так волнует сейчас французских правых: не грозит ли нации опасность раствориться в наводнивших страну инородцах? Бродель провозглашает терпимость как главный принцип существования современной нации. К тому же, говорит он, не кто иной, как инородцы, ставшие французами, позволили нам подчас достичь наивысших успехов: Мария Склодовская, родившаяся в Варшаве и ставшая Марией Кюри, Аполлинер, польское имя которого было Аполлинарий Костровицкий, голландец Винцент Ван-Гог, испанец Пабло Пикассо, итальянский еврей Амедео Модильяни, румын Эжен Ионеско, еврей из Восточной Европы Марк Шагал и Хаим Сутин, да и мало ли кто еще... Бродель комментирует этот список: "Если эти люди нам дороги, то не только потому, что их слава делает нам честь, но и потому, что они согласились войти в наш круг, стать французами в такой же мере, в какой ими являются самые блестящие из наших соотечественников." Фернан Бродель говорит, далее, об обогативших Францию русских, бежавших сюда после 1917 года, об итальянцах — беженцах от фашизма или голода, об испанцах, спасшихся от гражданской войны. "Их происхождение, — утверждает Бродель, — уже ничем не отличает их от массы французов; оно существует только в семейных преданиях." Бродель затрагивает и еврейский вопрос. Он рассказывает о профессоре Страсбургского университета, который заявил: "Я не еврей, я француз." Приведя этот ответ, Бродель замечает: "Мне хочется выразить ему свое полное одобрение. Однако более прав Серж Костер, когда он отвечает в одной анкете: Франция — моя родина, страна моего языка и моих симпатий. Но к Израилю, который не является моей страной, я питаю чувство безоговорочной привязанности."

Человек необычайной терпимости, Фернан Бродель был склонен оправдывать даже тех, чей ригоризм ему претил. Обсуждая книгу Натаниэля Вегля "Karl Marx, a Racist" (*Arlington House, 1980*), Бродель не может не согласиться с тем, что Маркс был, как он пишет, "esclavagist" (сторонник рабовладения) и колониалист, но тут же оговаривается: "О чем это свидетельствует? О том, что нельзя безнаказанно жить в ту или иную эпоху, даже когда ты Карл Маркс... Что невозможно было жить безнаказанно в Лондоне, тогдашнем центре мирового империализма." Бродель великодушен, мягок, но и беспощаден, ибо он справедлив.

ПОПРАВКА

В № 12 за 1985 г., в статье Р. Шеттака "Из огня да в полымя" на стр. 57 внизу вместо фразы "Газета 'Монд' писала" следует читать: "Издаваемый А. Барбюсом 'Ле Монд' писал" — и далее по тексту.

ЮРИЙ ЛЮБИМОВ ГЛАЗАМИ ЗАПАДНОГО ЗРИТЕЛЯ



Отклики печати

После целой серии оперных и драматургических спектаклей в Италии, Франции, Англии, Германии Юрий Любимов поставил на сцене Бургтеатра в Вене "Мертвые Души". Прославленный русский режиссер остался верен антинатуралистическому, анти-тоталитарному и антимузейному искусству, которое он культивировал в московском Театре на Таганке. Он стремится вывести это искусство за рамки собственно театрального мастерства, хочет быть современным и злободневным. Его "Фиделио" внушает зрителю, что торжество свободы — малоподходящая тема для нашего века лагерей и психиатрических тюрем. Инсценировка "Преступления и наказания" напоминает о том, что тоталитарная пропаганда способна вытравить у тех, кого она призвана обработать, самый инстинкт справедливости.

И вот теперь — "Мертвые Души". Собственно, это не пьеса в обычном смысле слова, а коллаж, пестрый хоровод сцен, в которых, кроме самого рассказ о похождениях Чичикова, использованы мотивы некоторых гоголевских повестей, а также диалоги, заимствованные из "Театрального разезда"; на подмостках появляется и сам Гоголь, который рассуждает о принципах сценического искусства. Но ни на какую аргументацию, ни на какой образ у постановщика не хватает времени. На сцене все бурлит и спешит, все крутится и несется, все кричит, жалуется и хохочет. Музыка Альфреда Шнитке удваивает эту вакханалию. Можно представить себе, какой фурор произвел бы этот более чем экстравагантный спектакль в Москве, где чуткая публика жадно ловит всякий намек на неисцелимую тупость русской бюрократии и умеет перевести его на сегодняшний, сиюминутный язык, одновременно наслаждаясь замешательством чинуш.

Но что происходит, если адресат этого искусства отсутствует, если вместо советских зрителей на актеров взирает терпимый, либеральный, вежливый и доброжелательный, но отчужденный венский партер, — это мы видели на вчерашнем спектакле. Отсеченное от своей непосредственной цели и объекта, искусство Любимова как таковое, искусство как искусство — не тянет, и парадоксальным образом театр, который стремится стряхнуть с себя музейно-классическую пыль, — оказывается музеем, точнее паноптикумом. Таким был у нас прогрессивный театр 50-х годов, так играли тогда Ионеско, хотя, на мой взгляд, "Там, за дверью" Борхерта или инсценировки романов Кафки были удачей. С венской публикой произошло нечто, напомнившее мне рассказ о том, как Пушкин слушал чтение "Мертвых Душ". Говорят, сначала он смеялся, но потом стал мрачнеть и, наконец, проговорил со вздохом: "Боже, как грустна наша Россия!" Но о том, что она грустна, мы знали до Любимова.

Иоахим Кайзер (Мюнхен)

В Штутгарте, в государственном Оперном театре с немалым успехом идет "Фиделио". Режиссер-постановщик — шестидесятивосьмилетний Юрий Любимов, бывший главный режиссер московского Театра на Таганке.

Поднимается занавес, и зрители видят решетку. Скучно освещенная сцена загромождена неясными сооружениями, не то камерами, не то коридорами. Весь спектакль построен на антитезе: утопия свободы, равенства и братства — и действительность наших дней. Действие оперы Бетховена, написанной 180 лет тому назад, перенесено в наши дни; метафора супружеской любви и верности, освобождение узника, достигнутое ценой самопожертвования, — выражает солидарность со всеми узниками, освобождение всех людей, внутреннее и внешнее, духовное и политическое.

Напомним вкратце каноническое либретто, принадлежащее Ж.-Н.Буйи. Смелый борец за правду Флорестан брошен в темницу за выступления против тирана. Начальник тюрьмы дон Писарро хочет уморить его голодом. Переодетая в мужское платье жена Флорестана Леонора проникает в тюремное подземелье и спасает мужа.

Режиссер обошелся с этим сюжетом достаточно смело, уплотнив его и сведя действие к теме политического судилища (отчего, несомненно, пострадала и атмосфера зингшиля в начале оперы, и столь важная для Бетховена лирическая струя, и эмоциональная многослойность произведения в целом). Абстрактно-гуманная весть, какую представляет собой единственная бетховенская опера, конкретизирована, и если угодно, заземлена. Смысл этой конкретизации становится ясен уже при взгляде на программу спектакля. Вместе со знаменитым эссе Эрнста Блоха о "Фиделио" здесь помещены тексты и фотографии, переданные театру международной организацией защиты политических заключенных Amnesty International: о тюрьмах в Советском Союзе, в Турции, в Южной Африке, на Гаити, во множестве других стран и районов мира, о преследовании малых этнических групп, о поруганной человечности. Вот душа бетховенской музыки, — хочет сказать режиссер, — вот в чем состоит суть и пафос его творения в нашем мрачном столетии.

Сценическое воплощение оперы (художник Стефанос Лазаридис) поражает холодностью и трезвостью, каким-то намеренным антиромантизмом. Костюмы певцов — серая будничная одежда наших дней, солдатские шинели, шапки-ушанки, сапоги. Действие начинается с того, что кучка бедно одетых женщин идет по мосткам из зрительного зала на сцену: жены арестованных добиваются свидания с мужьями. Луч прожектора рыска-



ет по темным подмосткам. Становится жутко, когда портьеры, скрывающие пожарные выходы из зала, раздвигаются, — в дверях стоят вооруженные люди, подручные палача Писарро. Зал оцеплен; теперь уже все мы, сидящие на своих местах, оказываемся заодно с заключенными. Переодетая Леонора (ее партию исполняет замечательная певица Жаннина Альтмайер) появляется в шинели рядового внутренних войск КГБ.

Все это, как мы понимаем, достаточно рискованно. Кульминация спектакля — неожиданный финал, который представляет собой наиболее дерзкое насилие над замыслом героико-романтической оперы прошлого века и вместе с тем производит неизгладимое впечатление. Собственно говоря, это даже два финала. Сначала — ликующий хор освобожденных узников "Heil sei dem Tag" ("Да будет славен день..."), финал оперы Бетховена. Затем — любовный финал. Оркестр играет начало третьего варианта увертюры, написанного для венской постановки 1806 года ("Леонора № 3"). Само по себе это еще не нарушает — или почти не нарушает традицию: со времен Малера установился обычай исполнять увертюру "Леонора № 3" перед финалом оперы. Но оказывается, что ликование было преждевременным. По распоряжению свыше отпущен на волю лишь единственный привилегированный арестант Флорестан, прочие остаются в тюрьме. Вцепившись в решетку, женщины провожают глазами мужей, исчезающих в глубине сцены-застенка. Они зажигают свечи, расставляют их вдоль рампы. Визг и грохот закрывающихся ворот прерывают музыку. Занавес.

Вольфганг Шрайбер (Штутгарт)



ПОСЛЕ МОСКВЫ

"Я постарался рассказать правду, — пишет автор на последней странице этой книги. — Правду о стране, которую я полюбил, и о режиме, который я узнал и возненавидел". Чувства, по-видимому, искренние, но каков же итог этого пятистраничного рассказа?

В 1978 г. Аркадий Шевченко попросил политического убежища в США. Он был в то время заместителем Генерального секретаря ООН по делам Совета Безопасности, а до этого принадлежал к кругу личных советников министра иностранных дел А. Громыко. Шевченко служил в министерстве иностранных дел с 1956 г., сначала

в Москве, затем в советском представительстве в ООН в Нью-Йорке.

Автор книги "Разрыв с Москвой" был самым высокопоставленным советским дипломатом среди советских перебежчиков послевоенного периода. Известно, что еще до своего окончательного разрыва с советским режимом он сотрудничал в течение ряда лет с американской разведкой. Тем не менее он не считает себя предателем или шпионом в собственном смысле слова. Решив сотрудничать с американскими властями, он сделал это, по его словам, ради того, чтобы помочь американскому правительству лучше понять цели и образ действий советского режима. Именно с этим режимом, с этой системой он решил порвать, — не с Россией, которую он любит. (Объяснение в любви к России не мешает ему в другом месте заявить, что он гордится тем, что он — украинец.)

Книга содержит немало любопытных сведений об образе жизни советской элиты и о ее взгляде на мир. Наряду с ними в изобилии приведены слухи, сплетни, догадки. Книга написана беспорядочно, ценные сведения тонут в ненужных подробностях и перемешаны с малоинтересным материалом. "Мне... свойственно растекаться мыслью по древу", — признается автор. В предисло-

Arkady N. Shevchenko. *Breaking with Moscow*. N. Y., A. Knopf. 1985.

Аркадий Шевченко. *Разрыв с Москвой*. Авторизованный перевод с английского. N. Y., Liberty Publishing House, 1985.

вии он говорит, что хотел написать "американскую" книгу. Лучше бы он этого не делал. Пострадала не только стройность изложения, но, что хуже, ее достоверность. В частности, трудно принять на веру дословное воспроизведение бесед, которые автору приходилось вести 20-25 лет назад. Этот прием, очевидно, используется для того, чтобы придать картине живость и подлинность. Но на сколько-нибудь вдумчивого читателя он производит скорее обратное действие.

Есть и другой серьезный недостаток. А. Шевченко перешел на Запад весной 1978, а книгу свою закончил (по-английски) осенью 1984 г. Все эти шесть лет он внимательно читал то, что писали западные, в первую очередь, американские советологи о событиях, в которых ему приходилось участвовать. Следы этого чтения оставили отпечаток на его книге. Уж слишком по-современному звучат некоторые темы в описаниях событий, происходивших чуть ли не три десятилетия тому назад. В книге, претендующей на документальную точность, отсутствует четкая граница между пережитым и прочитанным. Суждения, выдаваемые автором за собственные, в действительности являются повторением оценок западных наблюдателей. Ряд других сведений, которые, как можно было бы подумать, основаны на непосредственном знакомстве с людьми из советского руководства, попросту совпадает с тем, что о них написано в официальных советских источниках, и, очевидно, оттуда и позаимствован. С другой стороны, когда автор, например, делает вид, что знает о мыслях Громыко через несколько лет после его, Шевченко, разрыва с Москвой (стр. 215 русского издания) или когда он уверенно рассказывает о причинах смещения маршала Огаркова (стр. 227), то это просто вещи, о которых автор "Разрыва" знать ничего не может.

Мемуары А. Шевченко, естественно, стали сенсацией. Когда о них и их авторе читаешь статьи в западной прессе, создается впечатление, что Шевченко сидел бок о бок с Брежневым и другими руководителями СССР и, следовательно, посвящен в тайны Политбюро, знает, как принимаются решения в этом ареопаге. Но раскрыв книгу, испытываешь разочарование. Кое-какие мелочи позволяют догадаться, что фактически Шевченко лишь два-три раза, да и то недолго, присутствовал на заседаниях Политбюро в начале 70-х годов (см., напр., стр. 214). То, что он может рассказать об этих заседаниях, не так уж увлека-

тельно: они проходят "спокойно, упорядоченно и методично: сидя за столом, уставленным бутылками минеральной воды и вазочками с печеньем, государственные мужи стараются раздвигаться со своим официальными обязанностями в как можно более быстром темпе" (стр. 293). Хочется спросить: ну и что?

Сказанное, конечно, не означает, что книга Шевченко вовсе неинтересна и незначительна. Беда в том, что, как мы уже говорили, в ней перемешаны шелуха и зерна. Читая ее, словно бредешь по пустыне, где иногда можно встретить оазис.

Ценное в книге можно разбить на две категории. Во-первых, это описание жизни, которую ведет привилегированный советский класс — и у себя дома, и за границей. Во-вторых, некоторые новые сведения об образе мыслей этого класса, его верхнего и его среднего слоя, — к последнему принадлежал автор. Остановимся на этом подробнее.

Главный герой книги, если не считать самого автора, — министр иностранных дел СССР Андрей Громыко, занимавший этот пост почти тридцать лет, с 1957 по 1985 г. Шевченко испытывает к нему смешанные чувства. С одной стороны, он восхищается профессиональными способностями Громыко, с другой стороны, ему отвратительны цинизм и лицемерие, которые он наблюдает у своего шефа — мастера двойной игры. Видя, как было встречено предложение о ядерном разоружении ответственными чинами политического и военного руководства страны, Шевченко убедился, что Советский Союз не желает вести серьезные переговоры о разоружении. Вместо этого продолжалось стремительное наращивание вооружений, к которому приступили еще в начале 60-х годов. Предложение 1972 года, которое СССР представил на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН, Шевченко характеризует как "наше хитроумное предложение".

Хитроумие заключалось в том, что это предложение выглядело как запрет ядерного оружия, но вместе с тем позволяло Советскому Союзу применять ядерное оружие против Китая. Его истинный смысл разъяснил государственный секретарь США Г. Киссинджер: две сверхдержавы должны согласиться о неприменении ядерного оружия друг против друга. В то же время они сохраняют за собой право применить это оружие, в случае конфликта, против других — китайцев

или даже европейцев. Американцы, естественно, отклонили это предложение.

Другой пример двоямыслия — одобрение членами Политбюро активности советских подводных лодок у шведских и норвежских берегов непосредственно после того, как шведский премьер-министр Пальме побывал в Москве и получил заверения советских руководителей в том, что они хотят дружить и сотрудничать со Швецией.

Впрочем, это частности. Каковы внешнеполитические цели Советского Союза в целом? Шевченко решительно отвергает представление о том, что у Кремля есть тайный план завоевания всего мира. Однако это не значит, что СССР не хотел бы доминировать на земном шаре и не борется за расширение сфер влияния. В этом устремлении Политбюро едино. Верить, что

там есть "голуби", значит дать себя одурачить. Автор книги считает, что "борьба" СССР за рядку — лишь тактический маневр. Мир, с точки зрения советских руководителей, есть арена борьбы между двумя противоположными системами, и все они — старые и молодые, политики и военные — верят в "победу социализма в мировом масштабе".

Бывший советский дипломат полностью согласен с американским советологом Ричардом Пайпсом: пока советская система будет оставаться такой, какова она была и есть, говорить о безопасности в мире не приходится. И дело не в том, какой человек оказался наверху. Дело именно в системе и образе мыслей, который она навязывает и самим правителям, и их подчиненным.

Бент Енсен (Дания)

ЛЕТОПИСЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ

Существуют три версии советской истории. Одна — официальная, сочиненная казенными историками: история непрерывных побед советского народа под руководством коммунистической партии. Другая, изложенная в работах, которые появились главным образом в послевоенный период, — история борьбы за власть на кремлевском Олимпе, история интриг, убийств, дворцовых переворотов, соперничества различных группировок партийной верхушки. Эта вторая история пыталась представить истинную картину жизни партийных верхов, вскрыть механизмы власти, расшифровать технологию принятия решений. Долгое время эта история принималась, особенно на Западе, за подлинную историю страны, будучи едва ли не единственным противовесом официальной развесистой клюкве.

Лишь в последние два десятилетия инакомыслящая интеллигенция поставила перед собой задачу сохранить для будущего действительную историю страны и населяющих ее народов. Уже сейчас накопилась громадная литература: художественные произведения, мемуарные свидетельства, монографические работы, статьи. Этот

обширный и чрезвычайно разнородный материал — основа, на которой когда-нибудь будет воссоздана научная история нашей страны. В меньшей степени, однако, будущим исследователям понадобятся сухие факты, проверенные цифры, статистические данные. Книга Людмилы Алексеевой несомненно окажет им в этом смысле большую услугу.

В своем труде Л. Алексеева попыталась собрать, проанализировать и обобщить массу сведений по истории правозащитного движения, а также национальных и религиозных движений в СССР за последние 15–20 лет. Насколько удалось ей осуществить этот замысел?

Книга состоит из двух частей: первая посвящена движению за права человека, во второй описаны национальные и религиозные движения в Советском Союзе. Автор удачно вводит читателя в историю зарождения борьбы за права человека в СССР, описывает атмосферу периода десталинизации, рассказывает о том, из каких источников возникла и на какой почве развивалась правозащитная деятельность. Следует отметить прекрасное владение фактическим материалом: сотни имен и событий находятся в поле зрения исследовательницы и практически впервые введены в общий контекст, становятся неотъемлемой частью единого исторического процесса. Тем не менее список фактов не полон. В частности, Л. Алексеева не упоминает о происходившей во многих городах борьбе за право на временный

выезд из СССР по профессиональным, экономическим или иным соображениям. Борьба эта, как правило, заканчивается поражением, в результате которого тысячи людей, в том числе крупнейшие представители русской культуры, вынуждены бежать за границу или эмигрировать из страны навсегда. Нет в книге сведений и о борьбе за право на брак с иностранцами, за право объединения супругов, о деятельности Комитета раздельных семей.

Вообще говорить о полноте картины, представленной Л. Алексеевой, можно только в рамках инакомыслия, зафиксированного не столь уж широко и не столь долго существующим правозащитным движением. Представляется, что огромное множество фактов, имен, деталей борьбы за права человека в нашей стране остались неизвестными. В этом отношении особый интерес представляет провинция. Но именно русская провинция представлена слабее всего. Автор считает, что "культурная прослойка там меньше и, соответственно, меньше людей с гражданскими устремлениями". С этим трудно согласиться. В таких городах России, как Горький, Свердловск, Новосибирск, Омск, во многих других городах существует не менее значительный — по отношению к массе населения — слой культурных и просвещенных людей, чем в обеих столицах. Соответственно и вклад их в правозащитное движение был серьезней, чем можно подумать, читая книгу Алексеевой. Назовем, в частности, дело Владимира Немелкова (Свердловск, 1957 г.), несколько процессов в Новосибирске, — о чем в обсуждаемой книге нет ни слова.

Людмила Алексеева нарисовала достоверную и в целом достаточно полную картину, но это — описание лишь видимой части айсберга. Его подводная, невидимая часть — это значительно более широкая, глубокая и разнообразная борьба советских людей за гражданские права, за либерализацию и демократизацию советского общества. Она пока скрыта от глаз историков. И только отдельные факты и события, всплывающие иногда с большим опозданием то тут, то там, сигнализируют о происходящих в стране процессах.

Большинство документальных книг, издаваемых в эмиграции, страдает излишней обстоятельностью. Книге Людмилы Алексеевой, напротив, вредит чрезмерная сжатость. Это особенно чувствуется во второй части, посвященной, как уже

сказано, национальным и религиозным движениям. Если правозащитное движение — явление относительно новое, начавшееся в постсталинский период практически с нуля, то национальное и религиозное движения непрерывны и уходят своим корнями вглубь истории. Их невозможно осмыслить и оценить, лишь перечислив несколько десятков фактов, событий и имен.

Уже само по себе объединение под одной крышей, в качестве равнозначных составляющих, правозащитного движения с национальным и религиозным неправомочно. Ведь национальное и религиозное движения, по существу, нельзя назвать "инакомыслием", ибо современный украинец, литовец, армянин, участвующий в этих движениях, мыслит и действует вовсе не иначе, а именно так, как мыслили его отец, дед и прадед. Этим людям, в отличие от действительно инакомыслящей интеллигенции, в отличие от большинства правозащитников, не приходилось освобождаться от идеологических догм, от чужды ли не с молоком матери впитанных норм и законов, навязанных режимом. Они родились украинцами, литовцами или армянами, они хотя и ими остаются, хотя бы их дети не стали "советскими гражданами литовской или армянской национальности".

У автора "Истории инакомыслия" есть склонность романтизировать эти движения: они представлены более либеральными и демократическими, чем были на самом деле. Например, в разделе о литовском национально-религиозном движении много места уделено так называемым футбольным демонстрациям, в которых якобы участвовали и русские. Об этом, по мнению Алексеевой, свидетельствует то, что в числе арестованных значился человек с русской фамилией. В числе лозунгов, которые, по сообщению Л. Алексеевой, выкрикивали демонстранты, были такие, как "Долой конституцию оккупантов!", "Свободу политзаключенным!", "Свободу Пяткусу!", "За нашу и вашу свободу!". Я был свидетелем демонстрации в Вильнюсе 10 октября 1977 г. Ее участники размахивали советскими литовскими флагами и дружно скандировали: "Лайсва Летува!" ("Свободная Литва"). Других лозунгов я не слышал. Основную массу демонстрантов составляли парни и девушки 16–19 лет — школьники и учащиеся профтехучилищ. Демонстрация носила стихийный, но не агрессивный характер. Выбитых витрин, сорван-

ных плакатов я не видел. Напряжение создавали лишь насмерть перепуганные, метавшиеся по тротуару (толпа шла по мостовой) сотрудники КГБ. В толпе, возможно, находились и русские. Но если газета "Вечерние новости", сообщившая об этом инциденте, сочла нужным упомянуть среди участников человека с русской фамилией, то это был явный тактический ход: нужно было затушевать национальный характер выступления молодежи. Демонстрация была представлена как вылазка хулиганов.

Следует, правда, указать, что представители национальных движений нередко использовали в своих целях различные формы и правозащитной, и религиозной оппозиции. Например, можно привести немало случаев присоединения людей, преследующих исключительно национальные цели, к Хельсинкским группам или иным демократическим, правозащитным и религиозным группировкам. Эти люди оказали сильное влияние на деятельность этих движений. Стоит вспомнить случай в Грузинской Хельсинкской группе, которая подготовила документ в защиту террориста Владимира Жвания, виновного в гибели человека. Наши жаркие дебаты в Тбилиси не смогли убедить членов Группы в том, что такой документ совершенно противоречит духу и букве Хельсинкского движения. Только в Москве Е. Г. Боннер, если не ошибаюсь, удалось убедить членов Группы не распространять этот документ. Ярко выраженный националистический характер носила деятельность Армянской Хельсинкской группы.

Велика пропасть и между отдельными национальными движениями. Так, хотя отдельные еврей-отказники принимали участие в работе Хельсинкских групп и других правозащитных организаций, в целом, в среде евреев-отказников в СССР, а тем более в Израиле, среди бывших отказников, сотрудничество с правозащитным движением и с другими национальными движениями в той или иной степени осуждается.

С другой стороны, бросается в глаза, что правозащитные организации на Украине, в Литве, в Грузии не издали ни одного документа об антисемитизме, преследованиях евреев, еврейской культуры, тех или иных формах ущемления религии в их республиках. А главное, правозащитные организации в республиках не выступали с инициативой национального примирения, решения межнациональных конфликтов с правовых,

демократических позиций. В то же время они слишком часто выдвигали требования националистического и даже территориального характера. Некоторым исключением была лишь Литовская Хельсинкская группа.

Конечно, история сопротивления режиму знает примеры и другого подхода к общему делу. Об одном таком случае, происшедшем в Вильнюсе в 1975 году, во время процесса над московским правозащитником Сергеем Ковалевым, Л. Алексеева рассказывает в своей книге. Это был пример удивительного сплочения совершенно разных по взглядам и убеждениям людей. На процесс приехали литовские католики из разных городов Литвы, московские правозащитники, ленинградские ученые и еврей-отказники, были там представители литовской интеллигенции и молодежи, студенты и учащиеся, простые люди, вообще ни в каких движениях не участвовавшие, но слышавшие по зарубежному радио, что в их городе судят русского ученого, который защищает литовских ксендзов и свободу религии. Конечно, огромную роль сыграло то, что на процессе присутствовал акад. А. Д. Сахаров. Все понимали, что судят не "русского" – судят правду, а правда в этот момент была для всех общая – и для литовцев, и для русских, и для евреев.

К великому сожалению, таких эпизодов было немного. И в целом использование национальными движениями правозащитных методов, сотрудничество с правозащитниками и т. п. отнюдь не означает, как хочет убедить читателя Л. Алексеева, что национальные движения в СССР стоят на правовой и демократической основе. Увы, это не так. Основой этих движений был и остается призыв к национальному чувству, сопровождающийся изрядной долей шовинизма, нелюбви и даже ненависти к русскому и другим народам, которые могут стоять на пути к реализации национальных целей. С другой стороны, Л. Алексеева права, говоря о том, что героическая борьба выдающихся русских правозащитников оставит след и в истории борьбы нерусских народов за их национальные права.

Труд Людмилы Алексеевой заслуживает высокой оценки. Ею составлен единственный в своем роде справочник по истории борьбы советских граждан против режима за два истекших десятилетия. Когда-нибудь появится и энциклопедия нашего Сопротивления.

Эйтан Финкельштейн

СТО ГРАММОВ ГОЛЛАНДСКОГО СЫРА С ЗЕМЛЕЙ, или Искусство хавать хаванину

Небольшой сборник рассказов Юрия Милославского, писателя, который приобрел несколько скандальную известность вышедшей лет пять назад повестью "Укрепленные города", завершается цитатой из Библии: "От шума всадников и стрелков разбегутся все города..." Откроем Книгу пророка Иеремии, глава четвертая, и прочтем все это место.

4.27 *Ибо так сказал Господь: вся земля будет опустошена, но совершенного истребления не сделаю.*

4.28 *Восплачет о сем земля, и небеса помрачатся вверху, потому что Я сказал, Я определил, и не раскаюсь в том и не отступлю от того.*

4.29 *От шума всадников и стрелков разбегутся все города: они уйдут в густые леса и влезут на скалы; все города будут оставлены, и не будет в них ни одного жителя.*

4.30 *А ты, опустошенная, что станешь делать?..* — И так далее.

Фраза, отсылающая читателя к этому тексту, подытоживает, как можно догадываться, смысл всей книги. Вместе с тем она как будто должна дать понять, что в иных случаях писатель имеет право быть безжалостным. Писатель вправе и даже обязан говорить правду. Не его вина, если эта правда ужасна. Сказано было: земля придет в запустение, и сказано это о нашей земле, о России. Он не виноват, что предсказание сбылось. Правда есть правда, и ничего не поделаешь.

I.

Первая новелла сборника называется "Сын Людмилы Ивановны".

"В пределах Краснограда нарушило климат. С начала ноября небо стало цветом в язву-волчанку, и с него пошла пыль — черная, а потом бурая; земляной порошок, измельченный до взвеси. Как в Донецке: нельзя было выйти на улицу в светлом — вещи сразу темнели, а стирать — так где сушить вешать? На дворе — невозможно, но и в комнатах стояла мгла. Ветер пробивал щели. Кушанья за окно поставить — поешь после сто граммов сыру голландского с землей, пятьдесят граммов масла сливочного несоленого — с землей, мясопродукты — не отмоешь. Пробовали держать скляночки-баночки-сверточчки между рамами — все равно, насквозь брало их летучим грунтом. Сообщали, что в центральных областях снесло чернозем.

Бились в стены домов окурки пополам с пылью. Один окурочок — сигарета "Орфей" болгарского производства, другой окурочок — папироса "Прибой", простой табачок, 25 шт. — 12 коп. Третий окурочок, — примерно четверть сигареты "Чайка", табачная ф-ка "Дукат", без фильтра, — ударил в щеку учительницу средней школы № 103 Людмилу Ивановну: такое сильное движение воздуха!

Людмила Ивановна была строгая учительница — с умением застыть большим белым лицом над глупою головою нерадивого учащегося-убоища. Та голова склонялась все ниже и ниже вплоть до открывания продезинфицированной настойкой йода вавки в запылочной впадине.

— Дети должны подчиняться требованиям, — говорила Людмила Ивановна, и с нею соглашалась мать Ленки Исаева, председатель родительского комитета, жена начальника районного отделения милиции. Она, жена, сильно изменилась с тех пор, как Ленка ее учился в первом классе.”

Остановимся, прежде чем перевернуть страницу, и переведем дух. Первое, что бросается в глаза, — странный, ненатуральный язык этой прозы. “Небо стало цветом в язву-волчанку”, “где сушить вешать”, “ущащегося-убоища”, “та голова”, “вплоть до открывания продезинфицированной настойкой йода вавки”, “она, жена”... Начиная с первой фразы, как будто списанной у Андрея Платонова, ничто не сказано в простоте. Стремясь быть как можно менее книжным, подделываясь под разговорную, уличную речь, автор впадает в манерность, изъясняется искусственно и натужно — и как будто не замечает этого.

Далее, с первых же строк вас не оставляет ощущение какой-то нарочитости всего, о чем идет речь. Пыльная буря налетела на город словно нарочно для того, чтобы выставить напоказ его убожество. Ветер носится по улицам не просто так, но с художественным заданием — показать читателям, каковы эти улицы. Ясно, что ничего доброго на этих улицах произойти не может. Окурки “бьются в стены” очевидным образом тоже не ради пустого времяпровождения. Каждый окурочек автор спешит подобрать, определяет марку, цену — и швыряет в лицо учительнице Людмиле Ивановне. Они должны напомнить ей о папиросах, которые учительница — мы узнаем об этом в следующем абзаце — отнимает у учащихся.

И наконец, еще одно: прочитанное производит впечатление несомненной серьезности намерений писателя. Он не хочет быть приятным и легковесным беллетристом. Чистописане ему прегит. Кажется, ему вообще не по душе обыкновенная русская речь. Писатель как будто хочет сказать: уродливый мир иначе как уродливыми средствами не опишешь. В том, что этот мир отвратителен, сомневаться не приходится: это, собственно, известно заранее — еще до того, как берется в руки перо и пишется рассказ. И в этом, кажется, состоит важная особенность творчества молодого автора. Он не ищет способов понять мир; его поиски идут в другом направлении. Он судорожно ищет свою манеру, свой собственный стиль: ищет и не находит.

II.

Строгая Людмила Ивановна ловит курящих учеников в мужском туалете, где ей однажды “написали на синее платье”, прибегает на крик учительницы географии, “когда та, с головы до ног заплеванная жеваной бумагой, старалась выбраться вниз через малую форточку”. Но ее собственный сын Вовка, четырнадцатилетний подросток, оказывается, еще чище: он арестован за участие в нападении на школьницу возле городского катка. Людмилу Ивановну вызывают в милицию. Там выясняется, что вина Вовки в общем-то не доказана, — его просто заставили дать нужные показания. “Людмила Ивановна жакнула кулаком по столу, топнула ногой, — забыла, бедняжка, что это не на уроке родной литературы...” Однако в городе Краснограде “пачками пошли ломать мохнатые сейфы” — участились групповые изнасилования, и власти принимают меры. Высшая справедливость этих мер выражается в том, что взломщики сейфов, попав в лагерь, — как объясняет автор, — “сами неизбежно становились жертвами половых сношений в проход”.

Людмила Ивановна обращается за помощью к отцу одного из учеников (о нем уже упоминалось), начальнику районного отделения милиции майору Исаеву. За столом майор обильно выпивает, мешая красное с белым, — “ему без разницы”, — и комментирует случившееся. Если бы Вовка с самого начала попал к нему в отделение, он бы разделался с ним по-свойски. “Я б им, сволочам, ноги, простите, из жопы повыдергивал,

руки пообламывал! У меня по несовершеннолетним Маслова Ольга Николаевна: она б им яйца, простите, повыкручивала! Не можешь, подлец, свою цюцюрку в штанах удерживать, так теперь терпи!" Но сейчас, к сожалению, уже ничего не поделаешь: делом занимается горком. Готовится показательный суд. Судья Медников, "пузырчатый плешак", получает инструкции, как вести процесс. О том, что это за судья и как он вершит правосудие, мы узнаем из краткой ремарки автора. Медников "выначивался, спрашивал у обвиняемых на процессах: "Ну что, гондон, лопнул-высморкался?" Весь зал хохотал".

Дело, в котором замешан "сын заслуженной, партийной, долгостажной учительницы", получает огласку; в двух словах автор описывает реакцию общественности:

"Этих целочников народ бы голыми руками растерзал, кабы органы милиции их у себя под охраной не держали до суда... Судить засранцев еще приходится, в газетах упоминать, чистое имя города пачкать! Сунуть бы их под ноги второй смене, когда та с завода выходит: работяги злые, как собаки, они б их на пироги мясные своим бабам отнесли по кускам."

Неприятная история грозит испортить деловую репутацию Людмилы Ивановны в школе. Энергичными мерами она восстанавливает свой авторитет.

"... И когда вошла Людмила Ивановна в свой класс после урока анатомии и увидела на неубранной таблице с человеком в разрезе дорисованный мужской детородный член, рванула она таблицу, разнесла ее своими круглыми руками на клочья... Рейку-подвеску расшибла одним ударом о спинку стула. Обломки полетели в рожу многогодника Филатова:

— Выйди с класса!!!"

В конце концов начальник отдела дознания городского управления милиции Бутенко ("затвердевшая углами сметана, колодезной неподвижности лиловые глаза") нажимает на следователя, и тот перекраивает дело. Вовке снижают наказание до двух лет. Поэтому о нем можно не упоминать в местной газете. Служебное положение Людмилы Ивановны спасено, и больше ей делать в рассказе нечего. Видимо, этим объясняется то, что автор, так подробно описавший все ее злоключения и эмоции, вдруг забывает о ней. Зато появляется Вовка, о котором до сих пор почти ничего не было известно: он отбыл срок и вернулся в город. К сожалению, наше знакомство с ним оказывается крайне непродолжительным.

В воскресенье Вовка идет с приятелем гулять в парк. Там знакомятся с девушками и стреляют в тире. Знакомая Вовки не может попасть в мишень. Тогда Вовка "отвел сорочку, прирасстегнув ее до ключицы", приставил ружье подруги себе к сердцу, — очевидно, расположенному под ключицей, — и подруга спускает курок. Вовка убит. Ну и что? — спрашиваете вы, испытывая некоторое обалдение. Да, собственно, ничего.

III.

В рассказе "Вуляры" говорится о семье, проживающей на проспекте Свердлова, — там живет и автор. Старший Вуляр расстрелян за людоедство, младший занимается уличным грабежом, средний возвращается из заключения. "А дома у него, кроме брата и двух сеструх-писюх... была мать. Мать звали Нинка-..." (следует общеизвестное прозвище). Эта Нинка по утрам выходит во двор голая и развешивает белье. "А мы, — продолжает рассказчик, — только что кружок "Умелые руки" не составляли, глядя из-за деревьев... и грудьяка у нее стояла: тянуло ее весом вниз, да сосок не пускал — бил в горние. Нинка давала сразу двоим..." и т.д. Гостей она принимает вместе с подругой по имени Кукуруза. Участковый уполномоченный Сашка забывает Кукурузе в причинное место пустую четвертинку, вокруг ползают малолетние "сеструхи-писюхи", а сама Кукуруза в это время распевает частушки.

Немного устав от подобных описаний и в надежде найти что-нибудь не столь реалистическое, перелистываем книгу и натываемся на рассказ "Скажите, девушки, подружке вашей" — вторую из двух вещей под этим названием. Кажется, нам повезло: действие на этот раз происходит в более культурной среде. Почитатели таланта Юрия Милославского с ней знакомы; это тот же мир, который художественно воссоздан в повести "Укрепленные города". Да и рассказ, если не ошибаемся, уже печатался однажды в журнале "Двадцать два".

Уехавший на Запад автор вспоминает старых друзей и знакомых. Некого приятеля, любителя семиотики, которого он ласково называет "говнина интеллектуальная"; бывшего сокурсника, работающего в КГБ, где он "помелькивал" в дверях с замечательными хлорвиниловыми папками в руках, — когда-то автор мечтал иметь такие же, но теперь, за границей, они ему не нужны: "канцпринадлежностей у нас достаточно, жопой ешь"; наконец, вспоминает девушку, которая и является героиней рассказа. Автор просит друга-семиотика сообщить ему адрес девушки, но тот боится, ибо "его освежаемое только суходрочкой подсознание полагает, что я шпион".

Вместе с рассказчиком мы разглядываем фотографию девушки, выслушиваем его горькую исповедь, его поздние сожаления, переживаем вместе с ним драму его жизни.

"Морда твоя кругла, уста твои — перемежка дитятиной младенческой заплачки-засмешки с определенностью афродитской... Ты думаешь, — почему я тебе целку не ломанул, от рыцарства? От страха. Чтобы твой родителя меня в тюрьму не посадили... А так — наглоталась ты, захлебывалась... запивала меня портвейном" (пропустим полстраницы). "И застала нас мама твоя в ресторане "Отдых", и при всем народе звякнула тебя по морде... Р-раз! А я сижу, брют допиваю, скептически усмеживаюсь... Ух, как я тебя наказывал, как фенделячил с оттяжкой — да по твоей любви, по твоей непостижной отчаянности, по твоим материальным, мандавошка малая, возможностям... В это лето повезли тебя на Советский Кавказ в какое-то Потти, а ты удрала оттуда ко мне. Тебя подвезли на "Волге"... Ты сказала им, что невинна, — и твою невинность пощадили. Любили тебя в траки и в ротик..." (еще пропустим). "Напрягусь — и достану я твой адрес, доберусь до тебя, сманю от мужа... Я-то в гладком великолепии: японская платиновая оправа со стеклами, меняющими цвет... Я за любовь твою цепляюсь, льну к ней..."

Хватает за душу, не правда ли? "А я сижу, брют допиваю..." Почти как у Вертинского: "А я пью горькое пиво, улыбаюсь глубиной души."

IV.

В рекламной аннотации, которую издательство Ардис поместило на обложке сборника "От шума всадников и стрелков", неизвестный рецензент сообщает о жестоком мире рассказов Милославского и о том, что его прозу отличает "изыщенный и точный диалог, стилистическая вязь". Последнее замечание, конечно, может вызвать только улыбку. Пожалуй, более едкого комплимента сделать было невозможно. Неизвестно, однако, подписался ли бы сам автор под такой характеристикой. Ведь, как уже сказано, его главная забота — не поэзия, а правда.

Писатель, который не страшится взглянуть в лицо жизни, хочет рассказать о ней так, как она того заслуживает: ее собственным языком. Хочет воспроизвести ее не в мраморе, не в глине, не в папье-маше, а в том материале, из которого, по его убеждению, она главным образом и состоит; не будем уточнять, в каком. Короче говоря, писатель хочет быть не изычным, а правдивым. Но что такое правда? Чьими глазами нам предлагают на нее взглянуть?

Действующие лица рассказа "Стебанутые" — слабоумные нищие. Слабоумный мужчина насилует на пустыре слабоумную женщину. Их застает патруль — "ментяра" с двумя подручными. Все трое, по-видимому, тоже слабоумны. Они избивают друг друга, ни-

щего и женщину. После того, как мы уже несколько попривыкли к "жестокому миру" литературных изделий Юрия Милославского, такую ситуацию можно считать нормальной.

Рассказ начинается с пробуждения на пустыре: "Спать на земле, пусть и с травой, он — всю жизнь городской — не умел: подпирало его мелкими комками, покалывало сухим и островатым; раздавился некий сочный росток — и ткань рубы, на лопатках, в локтях, увлажнилась. Он перелег, — но тогда зашекотала его невидимая живность. Озясь, он крутнулся всем туловищем, растирая кого-то насмерть. Тонко хрустнуло — и правый бок ему пробило ужалом, мгновенно распространилось в кольцо, кипящее вередением. Он вскочил и затопал по темноте, стремясь отомстить — то ли жужелице, то ли медведке. Топал до тех пор, куда голову не повело.

Тричетвертная луна в мандроле, заслоенная облаками, светила самой себе..."

Стоп: кажется, мы набрали на разгадку. Эта "мандрола" (вместо мандорлы), этот слышанный где-то звон, — ставит все на свои места. До сих пор мы еще могли думать, что живописный стиль автора "Всадников и стрелков", все то, что добродушный рецензент (по-видимому, не давший себе труда прочесть книжку) называет "стилистической вязью" и что на самом деле представляет собой безостановочное, безудержное и беспардонное издевательство над русским языком, — до сих пор мы могли думать, что это, так сказать, художественный прием, что рассказы о людях дна написаны как бы изнутри и самой своей фактурой должны передать умственное убожество, хаотические эмоции и дикие инстинкты действующих лиц. Однако речения, подобные тем, которое мы только что привели, герою рассказа "Стебанутые" принадлежать не могут. Не может этот герой самовыражаться стилем, как две капли воды похожим на знаменитые пародии Архангельского. "Дряблый подлесок смердел сырým углем. Валялись зубристые жестяные обрезки, какая-то сальная ветошная пучня, покоробленные щепастые фанерины с мазками покраса..." И далее бесконечные подробности о том, как герой мочится, закуривает, харкает, "но плевков, не отделяясь от рубезка нижней губы, закачался на удлинняющейся под собственной тяжестью густине. Он свел каплю пальцами, стряс, — и глядел, как серопузые лесные мухи собирались многоконцевой звездочкой..." и т.д. Нет, это не язык действующих лиц. Это — "литература".

Впрочем, по большей части автор и не старается ввести нас в заблуждение. У него есть собственный взгляд на вещи, собственное мировоззрение, и ему незачем прятаться за спиной у героев.

"Секрет ресторанной пищи — не в ее усложненном, по сравнению с домашней, виде, не во вкусе — безособенностном, терпимом для любых едоков, не в запахе — едва вяловатом, неделимом, скажем, на мясо, картофель, лук — хаванина и все тут, но в ее разреженности, словно мало дали, недовесили, обокрали. Потому и кричит, что блюдо, мол, с ущербом, — или "Вы из моего бифштекса цистерну борща сварили на дневные обеды!" — однако нет, ошибочно! — не богуют на наших обедах директора, мэтры и нахалюжная подавальщица; быть может, какая отверженная посудомойка ломоть говядины в промежуток закопает, что загодя учитывается... есть источники, есть способы, о которых — не мне базлатъ, я рестораны не посещаю..."

Секрет ресторанной пищи ("хаванина, и все тут"), секрет прозы Юрия Милославского, — прост. Не герои изъясняются языком этой чудовищной прозы, а сам автор. Это его способ видеть мир и выражать свои впечатления о мире. Это он сам богует, фенделячит, усмеживается, базлат, хаваёт хаванину и запивает ее брютом, выначивается и выблажается, он, а не его герои, кокетничает, ломается и выдает себя за блатаря. Короче говоря, мы имеем дело не со стилизованным персонажем, а со *стилизованным автором*.

V.

У читателя, терпение которого подверглось серьезному испытанию, давно уже вертится на языке вопрос: зачем? Зачем так долго распространяться о книге, которая очевидным образом не заслуживает обсуждения, которую не стоило издавать, не стоит читать, о которой в лучшем случае можно было упомянуть как о литературном курьезе? На это можно ответить, что явление Юрия Милославского — отнюдь не курьез. Он совсем не исключение. При этом, в отличие от многих собратьев, Милославский относится к своему писательскому труду серьезно, ощущает себя в литературе; его первая книга, как бы к ней ни относиться, привлекла внимание; он печатался в журналах, о нем писали. Постараемся и мы, сделав над собой усилие, отнестись к автору сборника "От шума всадников и стрелков" всерьез.

Стоит сказать два слова о направлении, которое он представляет. Натурализм — болезнь молодых писателей, почти неизбежная, как корь, и, подобно кори, она время от времени дает эпидемические вспышки. Легко заметить, что такой эпидемией охвачена значительная часть свободной русской словесности. Со своим матом, цинизмом, пристрастием к якобы разоблачительным сценам, нарочитой вульгарностью и полным отсутствием чувства меры Милославский опоздал: можно назвать десяток литераторов, в том числе довольно известных, которые с упоением предаются художественным упражнениям в точно таком же роде. По-видимому, эта словесность все еще находится в том возрасте, когда вкус, культура и сдержанность воспринимаются как путы, мешающие писателю развернуться; очутившись на вольном Западе, он смело отшвырывает их прочь.

Полтора года назад выходящий в Нью-Джерси журнал "Стрелец" напечатал интервью с Юрием Милославским, в котором можно найти немало наивных и даже комических откровений, но одновременно высказаны соображения, важные для понимания художественного кредо этого писателя. Он полагает, что в СССР а priori невозможно появление хороших книг, так как искусство уничтожено идеологией и цензурой, и упрекает авторов, порвавших с советской литературой, в том, что они не могут освободиться от некоторой отрицательной зависимости от советской власти. Приводится пример с писателем имярек, живущим в СССР и публикующимся на Западе: вся его книга — "... как бы советская литература наоборот. Автор как бы говорит: нельзя писать об этом, а я напишу". Тут так и подмывает взять человека за пуговицу и спросить: а сам-то ты?..

И все же мы не думаем, что пафос творчества Юрия Милославского сводится исключительно к желанию покуражиться над социалистическим реализмом и отомстить советской литературе за ее ханжество. Если это творчество и представляет собой род мести ("литература — это сведение счетов", — сказал Арман Лану), то не столько советской идеологии, до которой автору, прожившему за границей двенадцать лет, вероятно, уже нет никакого дела, сколько тому, что трудно определить и что не поддается исцеляющему действию времени и пространства, — советской жизни, собственному прошлому, образам детства и юности, террору харьковских окраин, улице и ее обитателям, дикому зверю, который когда-то именовался народом. С этой жизнью, с оставшейся по ту сторону страной — литератор сладострастно сводит счеты. Может быть, этим объясняется патологический привкус, присущий прозе автора "Всадников и стрелков".

VI.

Но зато, скажут нам, она правдива! Она, эта проза, вдохновляется мужеством Иереми, который не побоялся сказать своему народу: согрешили — пейте воду с желчью. Ешьте голландский сыр с землей, курицу — с перьями и содержимым кишечника, ха-

айте хаванину! И читайте рассказы Милославского. Читайте от начала до конца, ничего не пропуская, — ибо правда не терпит купюр, — читайте, не морщась и не отворачиваясь, как врач не морщится при виде крови и гноя. Ибо *такова жизнь*. Все эти Вуляры не выдуманы. Сознаться: бывают в жизни, той жизни, которая обступала нас в России со всех сторон, такие Нинки, такие Акульчики, Толики Правотуровы, одноногие Фомы с тагуировкой на груди "то-то и куда-то Ленину и Сталину", монстры, подобные учительнице Людмиле Ивановне, подростки, похожие на гиен? Еще бы. Мерзость жизни бездонна, и никакая литература не в состоянии вычерпать до конца эту выгребную яму. Я мог бы рассказать вещи и похуже — хотя хуже, кажется, некуда. Но таков человек: сколько бы его ни раздевали, всегда найдется что-то, что можно еще с него сорвать. Вам мало было оставить его в нижнем белье, что ж, стащите с него кальсоны. Но оказывается, что и этого недостаточно. Разденьте его до мышц, до костей. Нечто подобное совершает автор разоблачительных рассказов, не замечая, что от человека, собственно, уже давно ничего не осталось.

В том-то и дело, что функции литературы не совпадают ни с задачей анатома, ни с ремеслом ассенизатора. Вместе с исчезновением человека ничего не остается и от искусства. И происходит странная вещь. Читая эти — или подобные им — рассказы, испытываешь что-то вроде угрызений совести. Не оттого, что жизнь *там* так ужасна, а ты тут сидишь в теплой комнате среди книг и рассуждаешь о литературе. Нет, совестно становится за свою бесчувственность. Ибо перед тобой демонстрируют ужасную изнанку жизни, а ты подавляешь зевок. Тебя изо всех сил пугают, а тебе не страшно. Ужасы не ужасают. Помойная правда не производит никакого впечатления.

Справившись с первым абзацем и поняв, что дальше все будет в этом же роде, вы вдруг замечаете, что нить повествования то и дело ускользает от вас. Не дочитав один рассказ, вы наугад заглядываете в другой. Вы уже не читаете, а переворачиваете страницы. В книжке чуть больше ста страниц, но добраться до конца нелегко. Отталкивает и угнетает однообразный в своей манерности слог, искусственный вопреки своей "подлинности" язык. Герои не вызывают никакого интереса. Какая разница, что с ними случится дальше? Все "стебанутые". Все одинаково плохо. Вам становится неловко за автора, который все-таки потратил время на свои изделия, за издателя, попавшегося на удочку мнимой разоблачительности, за рецензента, которого заставили рекламировать этот товар. Книжка, где вас так щедро потчуют самой что ни на есть натуральной правдой, невыносимо скучна.

Странная и почти кощунственная мысль приходит вам в голову. Автору, который убежден, что подцензурной литературы вообще не может быть (так озаглавлено, с двумя восклицательными знаками, упомянутое выше интервью), — быть может, совсем не помешал бы строгий редактор. Небесполезной, увы, была бы для него и цензура. Вот ведь до какого парадокса мы дожили: приходится сожалеть об отсутствии цензуры, — точнее, того особенного рода литературной цензуры, который называется тактом и безгласностью.

В былые времена в стране, где, по уверению нашего автора, никакой литературы нет и не может быть, существовало представление о мастерстве. Или скажем проще: о литературном ремесле. Об умении построить фабулу, найти нужные слова, вычеркнуть лишнее, чрезмерное, само собой разумеющееся или нарочитое. Это умение начисто отсутствует в произведениях Юрия Милославского, и прежних, и нынешних, но я опасюсь, что катастрофа вызвана не только недостатком профессионализма. В цитированном выше интервью писатель, говоря о своих литературных взглядах, называет Германа Гессе. Этот автор, как и вся новая западная литература, вызывает у него скуку. Дело вкуса. Но, кажется, имя упомянуто неслучайно. Юрий Милославский — писатель, бесстрашно глядящий в лицо жизни. Он не боится показаться вульгарным. Он ничего не боится — кроме м ы с л и. ●

НЕЗАВИСИМЫЙ АД

Русское и советское в англоязычных романах Набокова

Владимир Владимирович Набоков, родившийся в 1899 году в Петербурге и с 1922 года живший на Западе, представляет собой уникальное явление в литературе как единственный (насколько мне известно) автор, писавший на двух языках — русском и английском. (Многие русские писатели и поэты баловались сочинениями на французском, но это было именно баловством, упражнением, а не частью их настоящего творчества). Набоков принадлежит в одинаковой мере и русской, и американской литературе. С конца 40-х годов он писал почти исключительно по-английски; на этом языке написаны некоторые из лучших его романов — не только нашумевшая "Лолита", но и "Пнин" (1957), "Бледный огонь" (1962), "Ада" (1969).

Замечу, кстати, что с моей точки зрения, русский читатель (не знающий английского) до сего дня по-настоящему не имеет доступа к англоязычному наследию Набокова — да и вряд ли когда-нибудь будет иметь. Осмелюсь даже сказать, что русский перевод "Лолиты", осуществленный самим писателем, мне представляется явной неудачей. Читая этот перевод, дивишься: где сверкающий, великолепный русский язык автора таких книг, как "Дар" и "Приглашение на казнь", — и что стало с не менее блистательным английским оригиналом? Романы "Пнин" и "Бледный огонь" в переводе на русский язык были выпущены в 1983 году издательством "Ардис" (США). "Пнин" прекрасно переведен Геннадием Барабтарло, но даже в самом лучшем переводе роман неизбежно теряет значительную часть своей прелести: пропадает особый колорит, который придаёт оригиналу то и дело вкрапленные в английский текст фразы на русском языке и ломанный английский Пнина. В "Бледном огне" (перевод Веры Набоковой) трудностей еще больше из-за уникальной структуры романа, построенного как поэма с комментариями. В.Набокова избрала, видимо, единственно возможный путь и перевела двуступица поэмы прозой; нечего и говорить, что это само по себе сильно обедняет шедевр Набокова. "Ада" не переведена на русский язык до сих пор и тоже представляет собой для переводчика весьма тяжелый случай — не только из-за того, что роман обильно пересыпан русскими и французскими фразами, но и потому, что в "Аде" чрезвычайно сильны эротические мотивы, а переводить эротику на русский язык, не переходя при этом в похабщину, — очень трудно.

Вообще переводить Набокова — задача нелегкая. Набоков прежде всего — блестящий мастер стиля и слога; язык писателя, нередко говорил он, должен вызывать почти органическое "эстетическое наслаждение", "зуд в позвоночнике". Набоковская проза полна непереваемой игры слов, причем игра эта — не побочная "приправа", а необходимый элемент общей атмосферы романов.

Тем не менее романы В.В.Набокова интересны русскому читателю не только как великие произведения *зарубежной* литературы, но и как книги, где в большей или меньшей степени всегда присутствуют русские темы. Как во многих своих русских романах Набоков опирается на традиции западной литературы, так и в свои англоязычные произ-

ведения он постоянно вплетает темы России, русской культуры и — совсем в ином ключе — советской России.

Из крупных романов Набокова меньше всего русских мотивов, несомненно, в "Лолите", где их практически вообще нет, если не считать брака героя с русской эмигранткой Валерией. Следующую книгу Набокова — "Пнин" — можно, напротив, считать самой "русской" в его англоязычном творчестве. В центре романа — русский эмигрант Павел Тимофеевич Пнин, в котором соблазнительно усматривать автобиографическую фигуру. Пнин не только русский изгнанник в Америке, как и Набоков, но и преподает, подобно автору, в американском университете (В.В. читал лекции по русской и европейской литературе в Корнельском университете в городе Итака; его герой преподает русский язык в вымышленном "знаменитом Уэйнделл-колледже"). Тем не менее между автором и героем больше различий, чем сходства: Пнин одинок; Пнин говорит на комически-ломаном английском и при всей своей любви к Америке чувствует себя все время изгнанником. Писатель явно не желает, чтобы его героя отождествляли с ним, и поэтому время от времени вводит в повествование, которое ведется от третьего лица, авторское "я". Сначала это делается изредка и почти незаметно; но в последней главе романа "я" неожиданно выходит на первый план как рассказчик ("известный русско-американский писатель"), который, как выясняется, в прошлом имел роман с женой Пнина Лизой и к которому Пнин питает не лучшие чувства. Роман завершается своеобразным "бегством" героя от рассказчика. А в пятой главе в разговоре между Пниным и его другом профессором Шато упоминается уже, кажется, явно не кто иной, как сам Набоков:

— Жаль, здесь нет Владимира Владимировича, — заметил Шато. — Он бы нам рассказал об этих восхитительных насекомых.

— Мне всегда казалось что его энтомология — просто поза."

Набоков, как известно, был знатоком энтомологии. Но вот есть ли какая-нибудь связь между рассказчиком последней главы и "Владимиром Владимировичем"? На это, возможно, указывает слегка враждебный тон ремарки Пнина; но больше ничего о "Владимире Владимировиче" мы не узнаем. Это лишь один пример постоянной набоковской игры в прятки с читателем.

Проведя четкую грань между автором и Пниным, можно смело сказать, что в то же время Пнин, один из самых обаятельных, симпатичных, живых, самых трогательных персонажей во всем творчестве Набокова, во многом выражает настроения самого автора, и прежде всего его вечную преданность наследию русской культуры. Речь идет не только о русской литературе (свой "роман" с которой Набоков увековечил книгой "Дар"). Через всю свою жизнь Набоков пронес — как показывает его переписка с американским писателем и критиком Эдмундом Уилсоном — теплое, почти благоговейное чувство к дореволюционной русской интеллигенции с ее нравственной неподкупностью и служением высоким идеалам. Быт этой интеллигенции олицетворяют покойные родители Пнина: доктор Павел Пнин в чеховском пенсне и его жена Валерия, которые то и дело появляются на протяжении всего романа — начиная с первых его страниц — в наплывающих вдруг на Пнина воспоминаниях. Вот (в главе третьей) Пнин наталкивается в эмигрантской газете на объявление, что сдается комната в "небольшом тихом семействе", — "... и вдруг без всякой особенной причины, с горячей и абсурдной ясностью, читавший увидел своих родителей — д-ра Павла Пнина и Валерию Пнину, его с медицинским журналом, ее с политическим, сидевших в креслах один против другого в небольшой, весело освещенной гостиной на Галерной, в Петербурге, сорок лет назад."

Идеализированные образы родителей Пнина — картинки из жизни российской интеллигенции начала века — проходят через книгу как своего рода лейтмотив, возникающая в памяти Пнина и потом, в последней главе, появляясь в повествовании рассказчика. Эти картины создают как бы постоянный фон — мир, из которого вышел Пнин.

Может быть, именно благодаря этому русскому фону "Пнин" выделяется среди англоязычных произведений Набокова какой-то особой теплотой, пронизывающей книгу. Своего Тимофея Павловича Пнина романист пишет с любовью и сочувствием — хотя и, разумеется, не без примеси блестящей набоковской иронии. В "Лолите", в "Бледном огне", в "Аде" эта ирония, однако, гораздо явственнее, язвительнее и холоднее, и гораздо заметнее эмоциональная отстраненность автора, дистанция между ним и его персонажами.

Однако ни в коем случае нельзя забывать, что набоковская Россия весьма специфична: это Россия петербургской интеллигенции, Россия "западническая" и европейская, ни в коем случае не славянофильская Русь. Эмигрантская ипостась Руси "кондовой, избяной, толстозадай" предстает перед читателем в едко-сатирическом портрете соотечественника Пнина, уэйнделлского художника Олега Комарова, которого бесит "антикварный либерализм" Тимофея Павловича:

"Этот Комаров, сын казака, был коротенький, коротко остриженный человек с ноздрями, как у черепа. Они с Серафимой, его крупной, радушной москвичкой-женой... время от времени устраивали "русские" вечера, с "русскими" закусками и гитарой и более или менее фальшивыми народными песнями... и, встречаясь после таких пирушек с неприветливым Пниным, Серафима и Олег... бывало, бормотали, дивясь собственной щедрости: "Господи, сколько мы им даем!" — разумея под "ними" темных американцев. Только другому русскому была понятна эта смесь черносотенства с советофильством, свойственная псевдокрасочным Комаровым, для которых идеальная Россия состояла бы из Красной Армии, помазанника-государя, колхозов, антропософии, Русской Церкви и гидроэлектростанций."

Впрочем, справедливости ради следует отметить, что пошлую имитацию петербургской России Набоков высмеивает не менее зло, описывая парижский литературный вечер в 1925 году, где "молодые поэты-эмигранты, покинувшие Россию в период своего бледного, неизбалованного созревания, нараспев читали ностальгические элегии, посвященные стране, которая для них была не больше чем печальная стилизованная игрушка, найденная на чердаке безделушка, хрустальный шар, который встряхиваешь, чтобы устроить внутри светозарную метель над миниатюрной елкой и избушкой из папье-маше". К этому кругу принадлежит кратковременная жена Пнина Лиза, пишущая бездарные стихи о любовном томлении и "о Петербурге (с легкой руки Анны Ахматовой)". На приводимые в романе стихи Лизы: "Я надела черное платье И монашенки я скромней; Из слонової кости распытье Над холодной постелью моей. Но огни небывалых оргий Прожигают мое забытье, И шепчу я имя Георгий — Золотое имя твое!" Ахматова обиделась не на шутку, и, по-моему, совершенно напрасно: ирония здесь явно направлена не на поэтессу, а на ее смехотворных подражательниц.

Россия, безвозвратно ушедшая от героя, и его тщетные попытки эту Россию удержать — вот одна из центральных тем романа "Пнин". Советская Россия, дает понять Набоков, ничего общего с той Россией не имеет, хотя в третьей главе Пниным и овладевает внезапный приступ ностальгии при просмотре "внушительной советской хроники, снятой в конце сороковых годов":

"Миловидные, нехоленые девушки маршируют на вековечном Весеннем празднике, неся полотнища с обрывками из старинных русских песен, вроде "Руки прочь от Кореи"... Сверкает огнями московское метро с его колоннами и скульптурами и шестью как бы пассажирами, сидящими на трех мраморных скамьях... Восемь тысяч граждан на Московском заводе электромоторов единодушно избирают Сталина кандидатом от Сталинского избирательного округа Москвы. Последняя легковая модель ЗИМа выезжает с семьей фабричного рабочего и еще несколькими пассажирами на загородную прогулку с обедом на вольном воздухе. А засим — не нужно, не нужно, ах, как это глу-

по, говорил себе Пнин, чувствуя, что слезные железы — безотчетно, смешно, унижительно — источают свою горячую ребяческую, неудержимую влагу.”

Сторонники биографического подхода к литературе (к которому сам Набоков, впрочем, относился весьма насмешливо) могут сказать, что этим эпизодом Набоков изживает свои собственные ностальгические чувства по отношению к ”новой” советской России.

Свою Россию — свой прекрасный русский язык, русскую культуру, русскую литературу — Пнин всегда несет в себе; поселившись в отдельном домике, он даже тешит себя мыслью, что ”если бы не было русской революции, ни эмиграции, ни экспатриации во Францию, ни натурализации в Америке, то все — и то в лучшем случае, в лучшем случае, Тимофей! — было бы точно так же: профессура в Харькове или в Казани, загородный дом вроде этого, внутри старые книги, снаружи поздние цветы”. Нечего и говорить, что чувство это оказывается иллюзорным — хотя бы потому, что здесь, в Уйнделле, Пнина окружают не любимые друзья, такие же, как он, до мозга костей русские интеллигенты, а пусть хорошие и симпатичные, но в конечном счете совершенно ему чуждые американцы, от которых его к тому же отделяет языковой барьер. Столкновение русской культуры Пнина с его американским бытом чаще всего оказывается комическим, и эта комичность передана, в первую очередь, через язык: говоря по-английски, Пнин пользуется русскими конструкциями и русским порядком слов, часто совсем не к месту дословно переводит русские выражения — и в результате из его безупречного русского языка получается смешной, ломаный английский. Не менее смешно выглядит Пнин, пытающийся вспомнить строчку из ”Гамлета” в переводе Венгерова и грустно размышляющий, что ”если вам нужно было зачем-нибудь справиться в английской версии, то вы никогда не находили той или другой прекрасной, благородной, звучной строчки, которую всю жизнь помните по Кронебергу в отличном Венгеровском издании.”

Единственный уголок ”настоящей” России, доступный Пнину, — это ”Кукова усадьба”, или ”Сосновое”, — загородный дом эмигранта Александра Петровича Кукольниковца (известного соседям-американцам как Аль Кук), старинного и любимого друга Пнина. ”Усадьба кишела русскими эмигрантами — либералами и интеллигентами, покинувшими Россию около 1920 года. Их можно было найти на каждом пяточке крапчатой тени, сидящих на деревенских лавках и обсуждающих эмигрантских писателей — Бунина, Алданова, Сирина...” Тут Набоков опять вводит в роман самого себя — на этот раз под своим эмигрантским литературным псевдонимом ”В.Сирий”, под которым вышли его романы на русском языке и под которым он был известен в эмиграции. (Таким образом, кстати, писатель ловко отмежевывается от ”я” рассказчика, которое промелькнуло всего двумя строками выше). Упомянув себя наряду с двумя весьма им уважаемыми писателями, Набоков как бы лишний раз дает понять, что это *его* мир. И только в этом мире Пнин по-настоящему дома, в своей, можно сказать, тарелке, тут он чувствует себя как рыба в воде. Но этот эмигрантский мирок, где, казалось бы, чудесным образом воссоздается мир дореволюционной русской интеллигенции, оказывается иллюзорным и эфемерным — и не только потому, что среди ”русских” березок Новой Англии попадаются экзотические американские колибри и дикобразы. Дети эмигрантов, съезжающихся на ”Кукову усадьбу”, совершенно отошли от всего русского: ”Казалось, они живут в Сосновом в совсем иной физической и духовной плоскости, чем родители”. В дореволюционный мир начала века, как будто оживший у Александра Петровича Кукольникова в Сосновом, неумолимо вторгается жестокая действительность — то, что пришло на смену этому миру. И не случайно пятая глава, целиком посвященная пребыванию Пнина на ”Куковой усадьбе” и его идилическим беседам со старыми друзьями, заканчивается на трагической ноте. Болтливая гостья напоминает Пнину о своей кузине Мире Белочкиной, которая когда-то в Петрограде была первой любовью Пнина и во время войны погибла в нацистском концлагере. Образ Миры ”с небывалой силой”

встает перед глазами Пнина, и "это разбередило его... Чтобы рационально существовать, Пнин приучил себя за последние десять лет никогда не вспоминать Миру Белочкину... потому что, положа руку на сердце, никакой совести, а значит, и никакому самосознанию нельзя было существовать в мире, где возможны были такие вещи, как Мирина смерть... потому что нельзя было примириться с мыслью, что эту вот милую, нежную, хрупкую молодую женщину... привезли в скотском вагоне в истребительный лагерь и убили..." Страшная реальность событий двадцатого века — того, что было в Германии, того, что было в России, которую Набоков именуется "другим застенком", вытесняет, разрушает мираж идиллической старой России и старой интеллигенции с ее наивной верой в добро и в человека.

Как все романы Набокова (хотя и не в такой степени, как "Дар", "Приглашение на казнь", "Лолита"), "Пнин" чрезвычайно сложен и многослоен. Но один из главных его слоев — это элегия о навек утерянной, "той" России, о России Набокова. Неслучайно Пнин — явно самый близкий автору из всех персонажей его англоязычных романов и наиболее, так сказать, выражает авторскую точку зрения (да простится мне затасканная формула).

Переходя к следующему роману Набокова, "Бледный огонь", мы попадаем из более или менее "реалистической" атмосферы "Пнина" в то ли бредовый, то ли фантастический, уникальный мир уникального романа. Интересно, однако, что взглядевшись, можно усмотреть в главном герое (если его можно так назвать) "Бледного огня" большое сходство с Тимофеем Павловичем Пниним. Как и Пнин, Чарльз Кинбот — изгнанник, эмигрант, преподающий свой язык в колледже Вордсмит. Но на этом сходство между обоими книгами кончается.

Говоря о "Бледном огне", нельзя пройти мимо весьма своеобразного построения романа. "Бледный огонь" написан в виде поэмы в тысячу строк (пятистопными ямбическими двустушиями), принадлежащей перу "знаменитого поэта" Джона Шейда, тоже преподававшего в колледже Вордсмит; это произведение комментирует друг поэта Чарльз Кинбот. "Комментарий" превращается в пространное повествование самого Кинбота о его дружбе с Шейдом и последних днях жизни Шейда, когда была написана поэма "Бледный огонь"; о свергнутом короле Зембли, родной страны Кинбота (постепенно становится ясно, что король Карл Ксавье и сам Кинбот — одно и то же лицо); наконец, о путешествии засланного цареубийцы Якоба Градуса (он же Жак Дегре и Джек Грей), который разыскивает короля-изгнанника. Эти три линии неуклонно сближаются и, наконец, сходятся в примечании к последней строке поэмы: Градус, нашедший, наконец, Кинбота-короля, стреляет и по ошибке убивает друга, Джона Шейда. Такова версия Кинбота. Однако из его же рассказа вырисовывается другая, "общепринятая" версия, которую он с презрением отмечает как фальсификацию, хотя читателю она кажется гораздо более правдоподобной и обоснованной: по этой версии Джек Грей был убийцей и маньяком, которого посадили в сумасшедший дом по приказу судьи Голдсворта, чей дом в отсутствие хозяев снимал Шейд. Грей сбежал с целью убить судью, за которого принял подхитившего к дому вместе с Кинботом Джона Шейда, причем целился именно в Шейда, а не в Кинбота. Набоков задает читателю неразрешимую загадку: что было "на самом деле"? На первый взгляд, ясно, что официальная версия смерти Шейда верна: Кинбот — сумасшедший, воображающий себя изгнанником-королем; можно найти аргументы и в пользу того, что никакой Зембли не существует и "Чарльз Кинбот" — на самом деле безумный русский эмигрант, профессор В.Боткин. В то же время повествование Кинбота по-своему не менее, если не более, реально, чем "настоящая" реальность, и тут, конечно, мы подходим к гораздо более сложным вопросам, обсуждать которые здесь не место: что значит "на самом деле" и т.д.

Из-за этой причудливой, полуфантастической структуры романа выделить в нем собственно русские темы довольно трудно, хотя вряд ли я ошибусь, если скажу, что

”Зембля” — это преображенная в сказочном плане Россия. Как разъясняется в ”исторических” экскурсах Кинбота, между Земблей и соседней Россией всегда существовали тесные связи: ”Когда я был ребенком, Россия была весьма в моде при земблянском дворе, но то была другая Россия — Россия, ненавидевшая тиранов и пошляков, несправедливость и жестокость, Россия дам и джентльменов, и либеральных устремлений. Прибавим, что Карл Возлюбленный мог похвастаться примесью русской крови”.

В описаниях просоветской земблянской революции, свергнувшей короля Карла, даже самым неискушенным глазом нетрудно усмотреть уничижающую насмешку над советской Россией с ее смесью ”застойности национализма и провинциального чувства неполноценности”. ”В современной России, — замечает Кинбот, — идеи — это нарубленные машиной одноцветные чурбаны, оттенки объявлены вне закона, промежутки застроены стеной, изгибы выведены грубыми зигзагами”.

Интересно, что в ”Бледном огне” снова появляется — мельком — ”профессор Пнии”, ставший главой русского отделения в Вордсмит-колледже; это лишенный чувства юмора ”комичный педант” и ”настоящий тиран по отношению к своим подчиненным”. С ”Бледным огнем”, в свою очередь, перекликается ”Ада”, где героиня переводит на русский и французский поэмы Джона Шейда.

”Ада” — самый длинный и, вероятно, самый сложный из набоковских романов. Мир ”Ады” по-своему еще более фантастичен, чем ”Зембля” ”Бледного огня” (в котором, по крайней мере, присутствует и реальная обстановка американского колледжа). В ”Аде” автор переносит читателя на другую планету, называемую ”Антитерра”, или ”Демония”, где о нашей Земле имеют смутное представление как о некоем потустороннем мире, который, возможно, существует лишь в воображении некоторых антитеррян.

”Ада” — это царство пародии, шутки, ловко завуалированных литературных и исторических аллюзий; чтобы расшифровать их, нужно быть чрезвычайно проникательным эрудитом. Набокковская игра в прятки, жмурки, кошки-мышки с читателем здесь достигает апогея. (”Ну и мастер пускать пыль в глаза этот старик В.В.!” — восклицает Владимир Владимирович якобы о герое ”Ады”, Ване Вине).

Уже первые строки романа — ”вывернутая наизнанку” цитата:

”Каждая счастливая семья счастлива по-своему; все несчастные семьи более или менее похожи”, — говорит великий русский писатель в начале знаменитого романа...”

Можно сказать, что в том же ключе продолжается вся книга — пародия на жанр семейной хроники. ”Ничто в мировой литературе, не считая, может быть, воспоминаний графа Толстого, не может сравниться по чистой радости и аркадской невинности с частью книги, действие которой происходит в усадьбе Ардис”. К этому времени, разумеется, читатель уже знает, что ”чистая радость и невинность” детства и отрочества героев, Ады и Вана, в усадьбе Ардис оборачивается страстной кровосмесительной любовью (Ада и Ван — официально двоюродные, но на самом деле родные брат и сестра). Как это часто бывает у Набокова, провести грань между пародией и серьезным, ”всамделишным”, нелегко. Инцест со всеми его перипетиями, с преувеличенно-безудержным развратом Вана и лесбийскими интерлюдиями Ады, завершается идиллией — чистой и подлинной любовью. И здесь уже трудно усмотреть насмешку. Подлинным трагизмом проникнуты и страницы, посвященные сводной сестре Ады и Вана, рыженькой Люсетте, которая любит Вана и, отчаявшись, кончает с собой.

Сейчас, впрочем, нас больше интересует другой аспект ”Ады” — русские мотивы в романе. Чтобы перечислить хотя бы основные реминисценции из русской литературы на страницах ”Ады”, понадобилась бы отдельная статья — или объемистый комментарий, что было бы в интересах американского читателя; пока что книга еще ждет своего комментатора. Сцена совращения Марины Дурмановой, будущей матери Ады и Вана, происходит в антракте спектакля, в котором без труда можно узнать едкий шарж на ”Евгения Онегина”; несколько ниже упоминается опера ”Тшчайкова” ”Онегин и Ольга”. Набоков весьма невысоко ценил оперу Чайковского, считая ее пошловатым иска-

жением пушкинского романа. К числу произведений, достойных осмеяния, относится, по мнению Набокова, и роман "Доктор Живаго", название которого обыгрывается в "Аде" несколько раз ("Мертваго").

Однако действие, как уже сказано, происходит на другой планете, где все земное отражено то в прямом, то в кривом зеркале. И тут, в истории и географии Антитерры-Демонии мы встречаем самое необычное претворение темы России, какое можно найти у Набокова.

Контраст между "той", старой Россией — Россией не столько царей, сколько либеральной интеллигенции, — и другой Россией, которую Набоков назвал в одном стихотворении "советская сусальнейшая Русь", Россией русофилов и большевиков, присутствовал, как мы уже говорили, еще в "Пнине" и "Бледном огне". В "Аде" же разрыв между двумя Россиями достигает предела: две страны на разных континентах. Советская Россия превращается в "Татарию" или "Совьетнамур" под управлением Хана Со-со — "независимый ад", простирающийся "от Курильских до Курляндских островов". Настоящая же Россия перемещена в Западное полушарие, по соседству с Соединенными Штатами, и названа "Эстотией". На Антитерре в открытии Америки участвовали русские, основавшие Эстотию. Поэтому на набоковской Антитерре есть такие пункты, как "Калуга, Чешир, США", и герои романа, Ада и Ван Вин, происходят из американо-русской семьи, где говорят на обоих языках, и старосветский быт русской усадьбы Ардис существует где-то совсем недалеко от небоскребов Манхэттена. Так Набоков подчеркивает родство, кровное единство *своей* России с демократическим Западом, нелепость ее отрыва от западного мира:

"Ибо в самом деле никто не может отрицать, что в самих конфигурациях, которые когда-то всерьез представляли как многоцветную карту Терры, есть нечто совершенно смехотворное. Ведь это же курам на смех, представить себе, что "Россия" — это не забавный синоним Эстотии, американской провинции, простирающейся от Арктического, уже не порочного, Круга до самих Соединенных Штатов, а на Терре — название страны, перенесенной, будто по мановению руки фокусника, через пустычок двойного океана в противоположное полушарие, где она расплзлась по всей нынешней Татарии..."

Помимо различных (большей частью пародийных) географических смещений, Антитерра отстает во времени от Терры примерно на 50 лет. Двадцатый век Антитерры безоблачен: "Англо-американская коалиция заведует одним полушарием, а Татария за своим Золотым Покровом таинственно правит другим".

Перенесение действия "Ады" на фантастическую Антитерру дает Набокову возможность не только посмеяться, путем причудливой аранжировки имен, названий и дат, над множеством исторических и литературных фигур (над кем зло, над кем добродушно), но и воссоздать еще раз свою Россию, надежно отделить "плохую" Россию от "хорошей".

И все же в "Аде", как и в "Пнине", Набоков не щадит никаких иллюзий и обнажает их призрачность. Не зря Ван Вин — специалист по "террологии". К концу романа автор напоминает о том, что сама реальность Демонии-Антитерры — не что иное, как "случайная иллюзия":

"Тропические страны означали не только заповедники, но и голод, смерть, невежество, шаманов, агентов из далекого Атомска. Наш мир *на самом деле* был в середине двадцатого века. Терра приходила в себя, испытыв дыбы и костры, хамов и зверей, которых неизбежно порождает Германия, когда берется осуществлять свои мечты о славе. Русские крестьяне и поэты не переехали много столетий назад в Эстотию... — они гибли сейчас, в этот момент, в татарских лагерях для рабов."

Став американским писателем, Набоков не отрекся и не думал отречься от русской культуры и от той России, которую считал единственно настоящей. И хочется верить, что если — или "когда"? — на месте "независимого ада" Татарии возродится эта настоящая Россия, она признает Владимира Владимировича Набокова одним из своих лучших, величайших сыновей. ●



Уважаемый г-н редактор,

не откажите в любезности поместить следующие замечания по поводу статьи г.Ефимова "Процесс Цинцинната Ц. и казнь Иосифа К.", напечатанной в августовской книжке Вашего журнала.

Если бы я взялся составить список неизлечимо искалеченных понятий, которыми населена статья, то я бы начал, по алфавиту, с "автора [стоящего] на стороне осужденного [Цинцинната]" (в особенном мире набоковской фикции эта фраза не имеет смысла); или с "антиутопии" — нелегального любительского термина, пользоваться которым все равно что надевать сапог на печную трубу, воображая, что это самовар; или с "артистической чести", загадочной формулы, будто бы применимой к Набокову (он, как и все порядочные люди, обходился обычной честью). Употребление этических инструментов в литературном исследовании и неизбежные при этом размашистые обобщения, к сожалению, широко распространены. Протестовать тут бесполезно, хотя порой и очень соблазнительно. Что, например, делать с такой вот апотегмой Ефимова: "Во всем, написанном Набоковым, вряд ли отыщется герой, который мучился бы проблемами добра и зла, греха и искупления. У него [у кого же — у героя? У Набокова?] другие ориентиры в жизни..."! Это недоброкачественное недоразумение, которое не хочется оспаривать, как иногда в теннисе колеблешься лупить по легкому мячику, повисшему над сеткой, звонким "смэшем". Так как Ефимов затем оперяет этот крылатый тезис цитатами из *Лолиты*, я хочу привести только одно сравнительно малоизвестное русской публике место из предисловия Набокова к английской версии *Отчаяния*, о Гумберте и Германне:

"Оба они психопаты и мерзавцы, и все же есть в раю зеленая аллея, по которой Гумберту позволено прогуливаться в сумерках раз в году; но Германна ад не отпускает на волю никогда."

В этой статье попадают там и сям дефекты и другого рода: например, Ефимов, как и многие другие неискушенные в энтомологии комментаторы, принимает, очевидно, жука Кафки за таракана. На самом деле он вовсе не "бескрыл", как думает Ефимов и горничная семейства Замза, — и Набоков специально подчеркивает это важное обстоятельство в своих Корнелльских лекциях о "Метаморфозе" (см. его *Лекции о Литературе*, стр. 258—260, где есть и его рисунки жука, и еще *Строгие Суждения*, стр.55). Нельзя по-русски сказать, что "бабочки — любимые существа" Набокова, и "наличие Процесса у Иосифа К." тоже безграмотно.

Но все это и многое другое в этом роде не заставило бы меня взяться за гуж, — в конце концов, такого разряда статьи и книги о Набокове появляются очень часто и не столько по-русски, сколько по-английски. Есть, однако, в статье Ефимова один серьезный и интересный изъян, который нельзя оставить без внимания, ибо он вводит в заблуждение читателей-монолингвистов.¹ Ефимов дважды ссылается на английские тексты Набокова и оба раза грубо ошибается. В романе *Пнин*, говорит он, "упоминается девица, которая пошла изучать русский язык лишь для того, чтобы иметь возможность прочесть в подлиннике «знаменитый роман писателя Толстоевского *Анна Карамазов*»". Ничего, кроме двух последних слов, в *Пнине* нет, — никакого Толстоевского (старый, заезженный кентавр), ничего подобного (этой студентке кто-то сказал, что она сможет читать этот "роман" в оригинале, как только выучит русскую азбуку). Тут надобно знать, что г. Ефимов набирал текст первой главы (откуда и девица) моего перевода *Пнина* для издательства Ардис и в этом наборе было много неоговоренной отсебятины, которую пришлось потом выпалывать и которая, вероятно, как-то осела в его памяти.

1 Автор имеет в виду читающих на одном (русском) языке. — Ред.

Труднее объяснить случай с *Адой*. В английском тексте романа, в главе, которую, очевидно, имеет в виду Ефимов (именно, сорок второй), нет никакого "сладострастного уничтожения прикованного к постели, безоружного соперника", — зато там имеется обыкновенный набоковский капкан, в который может попасться только случайно забредший в эту чащу беспечный читатель-дачник (но никогда — перечитыватель-егерь). На самом деле гордый и благородный Иван Дементьевич, который *намерен* был *вызвать* герра Рака (одного из любовников Аделаиды Даниловны), находит его умирающим на больничной койке в Калугано и даже не решается, из смеси жалости с безразличностью, произвести заранее приготовленной, действительно убийственной речи! Ефимову это место понадобилось для иллюстрации Ницшеанской безнравственности героев Набокова: "И снова: ни тени сострадания, ни проблеска мысли о правоте — неправоте [sic] своей. Слово таких понятий вообще не существует на свете."

Но *Ада* существует пока только в английском оригинале. Когда я ее, Бог даст, переложу по-русски, г. Ефимов убедится, я уверен, в моей правоте.

С совершенным почтением, *Геннадий Барабтарло*

Уважаемая редакция!

В письме Геннадия Барабтарло содержатся следующие замечания, которые можно отцедить (не без труда) из словесных винеток в стиле Набокова и добродушного ворчания в мой адрес (окрашенного мягкой снисходительностью к начинающему автору):

1. Автор статьи "Процесс Цинцинната Ц. и казнь Иосифа К." использует нелепые и неправомочные понятие вроде "антиутопия", "артистическая честь" и пр.
2. Автор неправ, утверждая, что "во всем написанном Набоковым вряд ли отыщется герой, который мучился бы проблемами добра и зла, греха и искупления".
3. Сам он, Геннадий Барабтарло, неплохо играет в теннис.
4. Ефимов же не силен в энтомологии и в русском языке.
5. Ефимов приписал Набокову остроуту, которой нет в тексте романа "Пнин".
6. Сцена из романа "Ада" представлена неправильно.
7. Этот Ефимов не первый раз пытается судить о том, о чем не имеет ни малейшего понятия, — о творчестве Набокова; он пытался редактировать его, Г.Барабтарло, перевод романа "Пнин", но получил достойный отпор.

Отвечаю по порядку:

1. "Утопия, антиутопия и реальность" — так назывался симпозиум, состоявшийся в Норвичском университете летом 1984 г., на котором обсуждаемая статья была представлена в виде доклада. Ни участники, ни слушатели не выразили недоумения по поводу термина "антиутопия". Насколько мне известно, он употребляется повсеместно уже с появления романа Орвелла "1984" (хотя романы Замятина, Хаксли и др., относимые теперь к этому жанру, появились еще раньше).

"Артистическая честь", то есть честь художника, в моем представлении, не вполне совпадает с "обычной честью". Так, по понятиям обычной чести, подражать всему хорошему и возвышенному — похвально, а по понятиям артистической чести, подражание даже самым высоким образцам — Пушкину, Достоевскому, Набокову — позорно. В обычной жизни мы с одобрением относимся к терпимости в человеческих взаимоотношениях, к поискам разумных компромиссов; но с презрением отнесемся к художнику, который станет переделывать свое произведение в угоду требованиям, идущим вразрез с его эстетическим чувством. В этом смысле поступок Алексея Цветкова — переводчика романа Набокова "Бледный огонь", тоже готовившегося издательством Ардис, — который предпочел снять свое имя с выпускаемой книги, то есть пожертвовал

несколькими годами труда, но не согласился сделать в тексте требовавшиеся от него (от переводчика) изменения, — представляется мне проявлением именно "артистической чести".

В свою очередь, должен сознаться, что мне непонятно употребляемое Барабтарло понятие "набоковская фикция", и я ни в одном русском словаре не мог найти загадочного слова "апотега". (Из Вебстера узнал, что оно вполне соответствует русскому слову "высказывание"; но ведь надо же и свою ученость показать.)

2. Проще всего было бы назвать каких-нибудь набоковских героев, "которые бы мучились проблемами добра и зла, греха и искупления". Мистер Барабтарло этого не делает. Используемый им способ аргументации напоминает мне реплику одного советского пропагандиста в разговоре с иностранцами: "Да что вы тут говорите, что у нас с сельским хозяйством неладит!? Вы вот сходите хотя бы на Выставку достижений сельского хозяйства — тогда убедитесь!"

3. В теннис, я к сожалению, не играю. Зато довольно силен в бридже. Но как применить это обстоятельство в литературном споре — ума не приложу.

4. На обширные познания в энтомологии не претендую и охотно принимаю разъяснения Набокова. Слово "бескрылый" имеет здесь лишь смысл "не летает". Что же касается приведенных примеров "безграмотности" — увы, не могу таковой в них обнаружить. Со своей стороны, должен заметить автору, претендующему на блестящее знание русского языка, что *оспаривать* пишется через "а" (в отличие от *оспорить*); но о русской грамоте речь пойдет ниже.

5. Каюсь, доверился памяти и не проверил набоковскую цитату. С благодарностью принимаю замечание и, в случае перепечатки статьи, непременно уберу "Толстовского". Хочу лишь заметить, что на суть высказанной мысли эта ошибка не влияет: Набоков действительно без большого почтения относился к Толстому и Достоевскому.

6. Соответствующая глава романа "Ада" (№42) начинается с того, что герой (Иван Дементьевич, Ван) почувствовал глубокую сердечную необходимость "уничтожить или хотя бы изувечить на всю жизнь" двух людей, виновных только в том, что его возлюбленная — "Ада, Адочка, Адова дочка" — одарила их (в длинном ряду других мужчин) своей благосклонностью. Ван отправляется на поиски первого соперника, в поезде наступает на ногу достойному старому джентльмену и грубит ему, затем на перроне из-за пустяка избивает другого джентльмена, ввязывается в дуэль с ним, получает пулю в бок и оказывается в больнице. Здесь он узнает, что разыскиваемый им соперник по "счастливому" совпадению обстоятельств тоже находится в той же больнице — в палате смертников. Что же наш благородный, по понятиям мистера Барабтарло, герой? меняет свои намерения? Нет, он вооружается тростью и приказывает отвезти себя к постели умирающего. Затем на полторы страницы дается речь, полная издевательств и смакования предстоящих сопернику страданий — на этом и на том свете. Лишь в конце речи одной строчкой читателю дается понять, что речь произносилась мысленно, но не из жалости, а просто потому, что больной был без сознания. Вполне удовлетворенный тем, что природа взяла на себя грязную работу и расправилась с объектом ненависти, Ван уже на следующей странице возвращается к своему излюбленному занятию — к соблазнению прекрасных девиц. Эмоционально и сюжетно весь эпизод является именно "уничтожением соперника". Используя свою абсолютную власть над персонажами, романист дает любимому герою ускользнуть и не заставляет его превращать отвратительное (и прекрасно описанное) намерение в поступок (это было бы слишком незлегантно); но принимать эту уловку всерьез значило бы как раз **п о п а с т ь с я** в набоковский капкан, упоминаемый мистером Барабтарло, и свести обсуждение литературного произведения на уровень уголовного разбирательства. То есть на тот уровень, на котором, например, герой романа Камю "Падение", обвинивший себя в том, что не спас бросившуюся в воду девушку, будет выглядеть просто идиотом.

7. Как это ни странно, только последнее замечание письма Барабтарло дает повод для принципиального разговора. Ибо все письмо написано ради этого последнего момента. Не отдельные ошибки в моей статье (мнимые и действительные) автор хочет исправить (на это хватило бы десяти строк), нет, он пытается доказать, что мне вообще не по чину судить о Набокове. Естественно возникает вопрос: на каком основании мистер Барабтарло пришел к подобному убеждению и кто же назначил его начальником всего набоковедения?

Действительно, пять лет назад, будучи редактором издательства Ардис, я позволил себе — отдав должное достоинствам перевода романа "Пнин", сделанного Г.Барабтарло, — высказать ряд стилистических замечаний. Все они были презрительно отвергнуты. Роман "Пнин" вышел по-русски в 1983 году. Прочитав его в окончательном варианте, я с грустью убедился, что при всей своей преданности и влюбленности в Набокова (увы, порой переходящих в подобострастие), при всех несомненных успехах в этой очень трудной работе, переводчик обошелся с русским языком еще более безжалостно, чем в рукописном варианте. Не было никакой нужды засорять авторский текст (не прямую речь героев, где это еще могло быть как-то оправдано) старомодными написаниями слов *фамилья*, *плэд*, *фильма* (в женском роде), *санатория*, *выдти*, *джампер*, *миньятюрный*. Часто эта тенденция доводится уже до искажения смысла: обычная застежка-молния (*zipper* в оригинале) названа "змеевидной застежкой" (стр.15); родильный дом — "родильным приютом" (стр.19); спортивные призы и кубки — "трофеями" (стр.52); холодильник — "ледником" (стр.85); теннисная ракетка — "ракетой" (стр.100); мелькают "выхоженный (в смысле ухоженный) ландшафт", "наемный (в смысле арендованный) зал". Есть фразы, неуклюжесть которых может быть объяснена трудным противоборством переводчика с оригиналом: "[она] расплылась в желе непривлекательного гоголя" (стр.14); "такие душевные состояния все время обрастают дополнительными сторонами" (стр.17); "она вышла... из... автобуса..., в котором он уже решил, что ее нет" (стр.51); "у Эриха твердый эмоциональный блок в отношении Виктора" (стр.54); "входная дверь отпахнулась" (стр.59). Но довольно густо идут и просто неграмотные обороты: "его любили не за его специальные квалификации" (стр.12); "закончил университетское образование" (можно закончить университет или получить образование — что-нибудь одно) (стр.33); "не присутствовал на экзаменах, которые за него давал Миллер" (дают концерты и пр., а экзамены принимают) (стр.38); "поденщица только что сделала постель" (стр.95); "деревянные бруски... подпрыгивают на воздух" (можно сказать: взорванная башня взлетела на воздух, но в данном случае должно быть "в воздух", ср. "кричали женщины "ура!" и в воздух чепчики бросали") (стр. 101).

Думаю, приведенных примеров достаточно, чтобы показать, насколько необоснованы претензии мистера Барабтарло на роль первого знатока и ценителя творчества Набокова. Хороший редактор ему необходим даже в большей степени, чем любому автору, пишущему оригинальные произведения. Плохая поэма, роман, статья никому большого вреда причинить не могут: они просто останутся за гранью русской культуры. Другое дело — переводы классики. В трудных условиях эмигрантской литературной жизни пройдут десятилетия, прежде чем кто-то решится выпустить роман "Пнин" — жемчужину набоковского творчества — в новом переводе. Для русскоязычного читателя останется перевод Г.Барабтарло со всеми его печальными огрехами и просчетами, которых так легко было бы избежать, если бы переводчик умел накидывать узду на свое безмерное самомнение. Зная условия, при которых готовилось издание этой книги, я не склонен всю вину возлагать на него. Но я пойму и читателя, который по прочтении вспомнит слова Сальери: "Мне не смешно, когда маляр негодный мне пачкает Мадонну Рафаэля..."

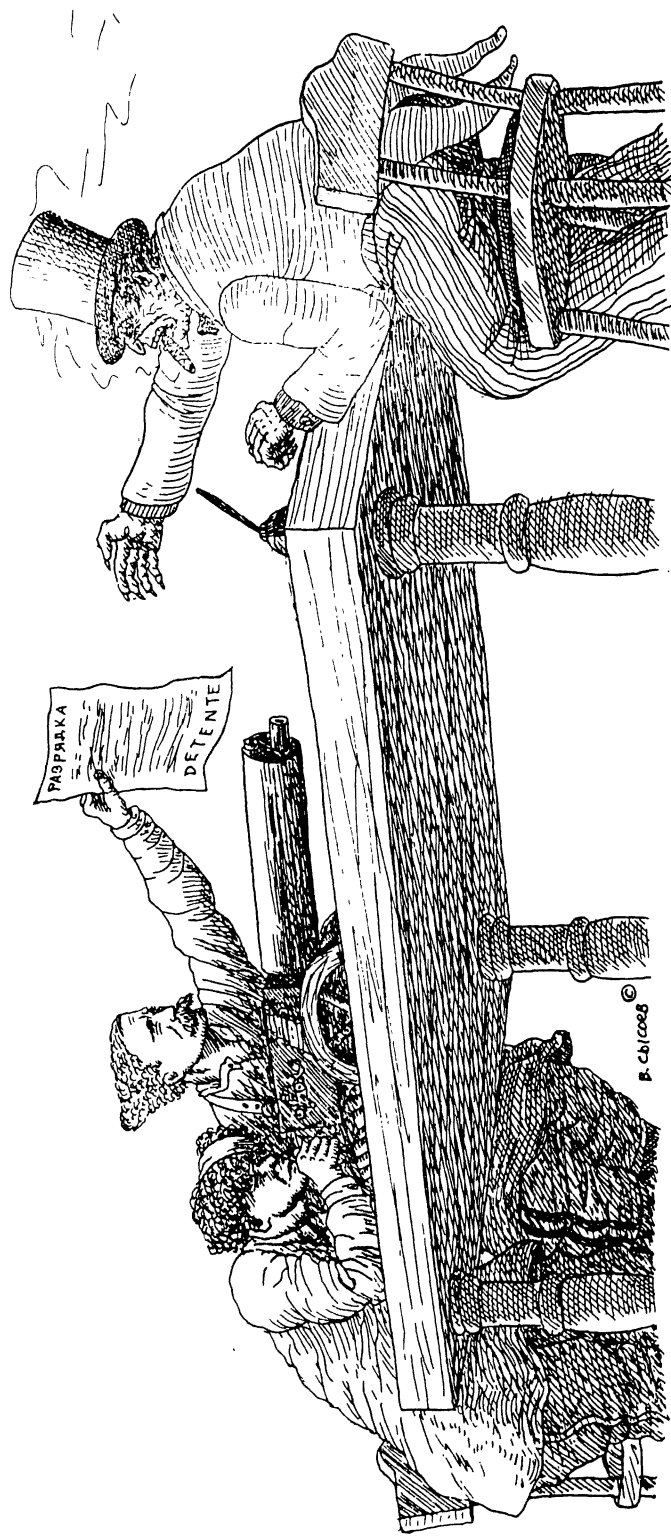
А ведь судя по письму мистера Барабтарло, на нас надвигается еще и перевод романа "Ада".

С неизменным почтением, *И.М.Ефимов*

Мы, русские, теперь в огромном большинстве своем, всем существом своим сознаем и чувствуем, что все то государственное устройство, которое держит, угнетает и развращает нас, не только не нужно нам, но есть нечто враждебное, отвратительное и совершенно лишнее и ни на что не нужное. Для всякого теперь в России не только мало-мальски мыслящего человека, но для самого мало-думающего, безграмотного человека совершенно ясно, что, кроме всех обычных бед, нарушающих спокойную жизнь человека, он непрестанно испытывает лишения и страдания, причина которых одна — деятельность правительства, которое с самых разных сторон с неумолимой грубостью и жестокостью, без всякой надобности, не переставая, мучает и давит его, если только он сам не поступает в число тех некоторых людей, которые давят всех. С одной стороны, русский человек нашего времени особенно живо чувствует это давление потому, что правительство, не встречая более препятствий, с полной бесцеремонностью и наглостью давит, душит, убивает, запирает, ссылает всех, дерзающих не то что противиться, но поднимать против него протестующий голос, с другой же стороны, особенно живо чувствуют русские люди жестокость, грубость и безудержный деспотизм правительства еще и потому, что в последнее время, поняв возможность более свободной, чем прежняя, жизни, русские люди сознали, хотя отчасти, себя разумными существами, имеющими право руководиться, каждое, в своей жизни своим разумом и совестью, а не волею случайно попавшего на место властвующего того или другого неизвестного ему человека. Насколько становилась жесточе, грубее и бесконтрольнее власть правительства, настолько усиливалось и уяснялось в народе сознание безумия, невозможности продолжения такого состояния.

Лев Толстой, "Пора понять" (1909 г.)

ВАЖНЕЙШЕЕ ИЗ ВСЕХ ИСКУССТВ —



В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ